

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ

И МАТЕРИАЛЫ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Статьи, исследования
и материалы

4

Под редакцией
профессора
Е. И. Покусаева

ИЗДАТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1965

Н. Г. Чернышевский...

Статьи, исследования и материалы

Редактор **И. А. Винникова.**

Технический редактор **В. В. Зенин,** корректор **Т. Н. Молева.**

НГ53339. Сдано в набор 11.II.1965 г. Подписано к печати 14.IX.1965 г.
Формат 60×92¹/₁₆. Печ. л. 17,75. Уч.-изд. л. 20,46.
Тираж 1000 экз. Заказ 1440. Цена 1 р. 38 к.

Издательство Саратовского университета, Астраханская, 83
Типография издательства «Коммунист», пр. Ленина, 94.

I. ИССЛЕДОВАНИЯ
И СТАТЬИ

М. Г. ЗЕЛЬДОВИЧ

**СТАТЬИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО О ПУШКИНЕ
В ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНОЙ БОРЬБЕ
50-х ГОДОВ**

1.

Новым словом в борьбе Чернышевского за передовую литературу и критику стал цикл его статей о Пушкине в связи с выходом знаменитого анненковского издания сочинений поэта. Во многих отношениях эта работа явилась как бы переходной к «Очеркам гоголевского периода русской литературы» и подготавливала их, в то же время оригинально продолжая предшествующие работы Чернышевского; причем, не только статьи об Авдееве, Евг. Тур, сочинениях А. Погорельского, «Об искренности в критике», но и трактат «Эстетические отношения искусства к действительности» и другие теоретические произведения.

Статьи Чернышевского о Пушкине обладают чертами резкого своеобразия¹. Методологические вопросы эстетики и критики ставятся в них не просто «в связи» с литературным процессом, как то было в иных из предыдущих выступлений Чернышевского. Если воспользоваться его собственными словами по другому поводу, можно сказать, что в статьях о Пушкине эти вопросы как бы погружены в самую гущу литературной борьбы, или точнее—стали самим ее содержанием. Такое положение затрудняет для исследователя «выделение» методологического аспекта проблематики и выводов Чернышевского. Кроме того, своеобразие статей Чернышевского—и в самом способе развертывания и решения их исторически и методологически актуальной проблематики.

¹ Характеристика этой работы дана в книге Е. И. Покусаева «Н. Г. Чернышевский» (М., Учпедгиз, 1960, стр. 106—116). Одновременно исследователь с полным основанием замечает, что «советское литературоведение далеко не все еще сделало, чтобы до конца раскрыть богатство мысли, богатство наблюдений, глубину конкретного анализа поэзии Пушкина, какие содержатся в трудах Чернышевского» (стр. 115).

Все эти статьи, казалось бы, исторического плана, отражают страстную и целенаправленную заинтересованность автора в современной ему литературе. Однако пафос современности выражен по-разному в первой и второй половинах цикла. Первую часть составляют первая и вторая статьи, опубликованные во второй и третьей книжках «Современника» за 1855 год. Вторую — третья и четвертая статьи, появившиеся после значительного перерыва в седьмом и восьмом номерах того же журнала.

Замысел первых двух (как, впрочем, и остальных) статей очень органичен для Чернышевского и вместе с тем закономерен по отношению к наследию Пушкина, которое ему предстояло характеризовать. Вопрос поставлен критиком так: что в творческом опыте поэта, создавшего «новую русскую литературу» (II, 428)¹, особенно поучительно для современности, в чем прежде всего состоит роль его традиций в решении насущных задач литературы в сложившихся обстоятельствах ее развития?

Чернышевский не был бы, однако, самим собою, если бы свел «уроки Пушкина» к некой сумме эмпирически найденных «наставлений» и «поучений». Нет, критик исходит из определенной концепции творческого наследия поэта и соотношения задач литературы эпохи Пушкина и эпохи самого Чернышевского.

Может быть, даже несколько неожиданно для читателя, знающего его последующие работы, Чернышевский подчеркивает: «Период, представителем потребностей которого был Пушкин, не совершенно еще окончился; и современная русская литература, много отличаясь от литературы 1820—1835 годов, имеет еще с нею гораздо больше общности, нежели различия по своему значению» (II, 474—475). Эта общность литератур двух эпох — в распространении идей гуманизма, в приобщении десятков тысяч людей к литературным интересам, которые помогают задуматься над жизнью, выработать свое самосознание. Но есть и другая черта общности, без которой, строго говоря, невозможна была бы и только что названная. Настоятельная необходимость обогатиться содержанием, отвечающим особенностям и потребностям национальной действительности, — вот задача, которая стояла перед литературой пушкинской поры; она же является центральной и в современной литературе. Чернышевский вообще считал одной из главных особенностей русского историко-литературного процесса постепенное овладение содержанием, которое проникло бы «до глубины существеннейших сторон общественной жизни» (II, 780). Эпоха Пушкина была в этом отношении пере-

¹ Цитаты приводятся по изданию: Н. Г. Чернышевский. Полное собрание соч., т. II, М., Гослитиздат, 1949; ссылки даются в тексте.

ломной, и самое его творчество, как признает Чернышевский, вопреки своему выводу о том, что «в его произведениях не должно искать главнейшим образом глубокого содержания, ясно сознанныго и последовательного», — «кипит умом и жизнью образованной мысли» (II, 475) и сохраняет это свое значение до сих пор. С другой стороны, известно, что именно за мысль, за содержательность ратовал Чернышевский, стремясь оздоровить литературу уже на исходе «мрачного семилетия», поднять ее до уровня «национального дела», каким она стала в России благодаря Пушкину.

Воспользовавшись выходом анненковского издания, пролившего свет на творческую историю ряда произведений Пушкина и на самый творческий процесс поэта, Чернышевский и ставит, в основном, те вопросы, которые особенно существенны для современности¹. Он входит в технологические подробности, касается сугубо специальных проблем (скажем, теории русского стиха), но все это освещено у него глубокой идейно-эстетической концепцией, подчинено выверенному литературно-критическому замыслу.

Можно утверждать, что, реализуя этот замысел, Чернышевский практически (или даже экспериментально) разрабатывает во второй статье о Пушкине ряд тесно взаимосвязанных вопросов, в совокупности образующих *проблему художественности*. Здесь, однако, сразу же потребуются существенное уточнение. Строго говоря, Чернышевский пока не ставит эту проблему во всем ее объеме (как показано Б. И. Бурсовым, первое развернутое понимание художественности высказано Чернышевским в статье о Толстом), он ограничивается, по его собственным словам, «самыми простыми условиями художественности» (II, 463). Чем вызван такой подход к проблеме? Прежде всего, конечно, состоянием литературы, в массе своей далекой в эти годы не только от подлинной художественности, но и от *стремления* к содержанию. Можно было и следовало говорить о том, что, не будучи свойственно литературе сегодня, все-таки достижимо для нее в более или менее близком будущем.

Нельзя, однако, пренебрегать и тем, что Чернышевского отнюдь не удовлетворяла та художественность, которую он усматривал в произведениях Пушкина. Ее своеобразие и ограниченность он видел в том, что «Пушкин по преимуществу поэт-художник, не поэт-мыслитель; то есть существенный смысл его произведений — художественная их красота» (II, 473—474). «У него художественность составляет не одну оболочку, а зерно и оболочку вместе» (II, 473). При всем этом, отчасти противореча самому себе, Чернышевский видел непре-

¹ Свой подход к пушкинским материалам, намерение высказать «некоторые мысли и применения», связанные с ними, Чернышевский считал необходимым и прямо декларировать (см. II, 450).

ходящие достоинства творчества гениального поэта, как раз связанные с содержательностью его произведений, и был убежден, что «вся возможность дальнейшего развития русской литературы была приготовлена и отчасти еще готовится Пушкиным» (II, 475).

Итак, речь в статье Чернышевского идет о самых простых, но вместе с тем и наиболее существенных условиях художественности. В чем же усматривает их критик?

Статьи Чернышевского о Пушкине—работа полемическая. Но подобно тому, как ориентация на современный литературный процесс проявляется в них по-разному в первой и второй частях, полемика также осуществляется по-разному и в связи с различными проблемами. В первых двух статьях именно о художественности и ведется спор. Причем противниками Чернышевского являются и «эстетическая» критика и эпигонская литература. Своими рассуждениями, подкрепленными творческим опытом Пушкина, он бьет и по критериям первой и по практике второй.

С самим понятием художественности Чернышевский обращается как мыслитель, хорошо различающий его истинное и ложное значение. Острые его критики и направлено против такого толкования «художественности» (Чернышевский в подобных случаях берет это слово в кавычки), которое сводит эту эстетическую категорию к чисто внешним признакам «отделанности» слога, «красивости» выражения, мнимой «поэтичности» описаний, составлявших у иных современных писателей главный предмет забот и усилий. В противоположность этому Чернышевский выдвигает мысль, содержательность как элементарное условие художественности и все свои суждения строит так, чтобы продемонстрировать роль мысли, содержания в литературном творчестве. Полемически остро формулирует критик тезис «о ничтожности наружной отделки сравнительно с мыслью» (II, 452), уничтожающе звучат его иронические рекомендации писателям со слабой «мыслительностью» избирать сюжеты, «не вызывающие на размышление» (II, 457).

Но суждения Чернышевского будут поняты поверхностно, если не учесть того особого содержания, которое он теперь вкладывает в понятие «мысль» применительно к художественному произведению. Чернышевский имеет в виду прежде всего продуманность произведения как целого, как внутреннего единства различных компонентов, а в конечном счете—выражение в нем замкнутой целостной концепции изображаемых жизненных явлений. То, что Чернышевский иногда называет «планом», и есть—пусть предварительное и неизбежно схематическое—выражение авторской концепции произведения. Вот почему, иронизируя над «подбиранием жемчужины к жемчужине» (словесных, разумеется) в произведениях писа-

телей, равнодушных к большой организующей мысли, он совсем иначе относится к тщательному, порою и очень длительному вынашиванию плана, и здесь сочувственно ссылаясь на пример Пушкина. «Если что требует внимательного обдумывания, то это план поэтического произведения»,—говорит Чернышевский. И вслед за тем дает такое определение плана, которое не оставляет никаких сомнений ни относительно объема, ни относительно значения этой категории в литературно-эстетической системе критика: «Прояснить в своем уме основную мысль романа или драмы, вникнуть в сущность характеров, которые ее будут проявлять своими действиями, сообразить положения лиц, развитие сцен—вот это важно» (II, 452; ср. на стр. 462 сочувственное замечание о произведении, задачей которого было «выразить общие воззрения автора на жизнь или одну из существеннейших сторон ее и на требования искусства...»). Речь идет, таким образом, о выверенности всех основных идейно-художественных компонентов произведения, об умении просматривать будущее произведение во всю глубину его замысла, во всей сложности художественных форм его реализации.

Оказывается, категория «мысли» в суждениях Чернышевского подводит к пониманию и другой категории, относящейся и к творческой работе художника, и к анализирующей деятельности критика. Речь идет, конечно, о *мастерстве писателя*. Обсуждая различные вопросы творчества, Чернышевский все время борется с упрощенным подходом к ним и утверждает их идейно-содержательное значение. И поэтому самое искусство писателя — мастерство — трактуется как понятие также идейно-целеустремленное. Причем опять на первый план в нем выдвигается продуманность дела в целом, умение, сообразно своим представлениям о задачах произведения, еще и еще раз «испытать» написанное и с максимальной требовательностью к себе взыскательно оценить его. «Естественнейший метод всякой работы, и ремесленной, и прозаической, и поэтической, состоит в том, чтобы ясно обдумать дело и потом исполнить его, а потом уже приниматься за пересмотр и исправление» (II, 457).

Художественность, как ее понимает Чернышевский в статьях о Пушкине, включает в себя требование концентрированности мысли и сжатости, лаконизма ее выражения. Конкретно-историческая значимость этого критерия очевидна: он обращен против экстенсивности, многословия эпигонской литературы 50-х годов и был, по существу, оборотной стороной основного программного положения Чернышевского о необходимости общественно важного содержания художественного творчества.

Таким образом, работа Чернышевского о Пушкине обращена и к литературе, и к критике: она «вмешивается» в лите-

ратурный процесс в его целостности и единстве. В частности, удар наносится не только по эстетскому толкованию художественности, но и по тем литературно-критическим принципам, которые выводились из него. С другой стороны, своим собственным пониманием художественности, опиравшимся в главном и существенном на традиции Белинского, Чернышевский утверждал в передовой критике иные, отвечавшие потребностям литературного процесса, эстетические критерии.

Нерасторжимо связывая «художественность» и «мысль», соотнося самый творческий процесс с мыслью художника (именно потому, что она для него органична и необходима), Чернышевский придает новую, сравнительно со своими предыдущими работами, остроту борьбе с эстетической критикой по тому вопросу, который стал поистине узловым в создавшейся общественно-литературной ситуации.

Споры по теоретическим проблемам всегда имеют свой ближайший и наиболее актуальный для данного времени практический смысл, хотя к нему обычно и не сводятся. В данном случае за полемикой о «мысли» и «художественности» стояло прежде всего различное понимание *задач* современной литературы, *средств* и *целей* ее совершенствования и обогащения. Революционно-демократическая критика обратилась прежде всего к тому, что вполне обоснованно считала определяющим для подъема литературы — к борьбе за содержание, за метод. «Эстетическая» критика проявила в эти годы по сути равнодушие к будущему литературы; больше того, встала на пути ее движения вперед, противодействуя своими теоретическими построениями и конкретными оценками идейному совершенствованию и общественной злободневности художественного творчества.

Собственно, уже статьи «Отечественных записок» 1854 года, направленные против работы Чернышевского «Об искренности в критике», в значительной степени примечательны именно этим. Но выступления «Отечественных записок» большей частью не возвышались над ординарным уровнем журнальной полемики и не могли претендовать на теоретическую постановку вопроса и убедительное его решение. Чернышевский усиливал свою активность, а либералы до поры до времени отвечали ему разрозненными нападками, не принимая попыток высказаться обстоятельно и, главное, по существу.

Эту миссию взял на себя П. В. Анненков, опубликовавший в начале 1855 года статью, специально посвященную злободневной теме — «О мысли в произведениях изящной словесности»¹. Думается, что эта работа, бесспорно, одна из основных

¹ «Современник». 1855. № 1. Отд. III. Критика, стр. 1—26. Впоследствии, когда эта злободневность проблемного названия была утрачена, Анненков перепечатал свою статью под нейтральным заглавием «Характер»

в критическом наследии ее автора, недооценена историками литературы как программное выступление эстетической критики и одна из самых ранних ее попыток «ограничить» гоголевское направление. Тем самым затруднялось и понимание ответных выступлений деятелей революционно-демократического лагеря.

Забота об убедительности побуждала Анненкова к тонкости аргументации. Отсюда и структура статьи, волнообразное чередование в ней фрагментов критических и теоретических: на этом должно основываться движение мысли, ее доказательность. Но на деле получилось иначе. Сближенность теории и критики в работе Анненкова делает очевиднее ее уязвимость как раз в том решающем вопросе, который так беспокоил автора. Теория Анненкова в главном *отслаивается* от конкретного анализа и предстает перед читателем как абстрактный тезис — провозглашенный, но не доказанный.

В чем же содержание и смысл этого тезиса?

Центральный вопрос статьи — о роли мысли в искусстве — с самого начала приобретает у Анненкова своеобразный и характерный поворот. Критика главным образом интересуется отношением *мысли* и *художественности*. Сразу же уточним: сама художественность трактуется Анненковым эстетски-односторонне и предвзято с большой заботой о форме образного воплощения жизненных явлений (что само по себе, как известно, еще ничего предосудительного не заключает), но с нескрываемым равнодушием к их общественному содержанию и значимости, к писательской позиции в их изображении (а это уже, как опять-таки хорошо известно, связано со спецификой «артистической» теории). Не жизнь, а художественность — вот ориентир Анненкова. По сути дела это означает, что художественность ставится *выше* жизни и наделяется в известном смысле самодовлеющей ролью.

В свою очередь, такая концепция накладывает печать и на понимание Анненковым «мысли» в искусстве, ибо понимание это подчинено им «художественности» как абсолютному и самодовлеющему началу. По Анненкову, «мысль» в искусстве обладает своими особенностями, и в их обосновании и заключается тот главный прием, с помощью которого критик пытается утвердить свою теорию. Поэтому вопрос о своеобразии мысли в искусстве — определяющий в статье Анненкова, а его решение преследует одновременно и методологические и тактические цели.

Отдельные формулировки Анненкова обманчивы. Однако в целом статья не оставляет сомнений относительно его представлений о характере и содержании «мысли» в искусстве.

ристики: И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой». См. П. В. Анненков. Воспоминания и критические очерки. Отдел второй. СПб., 1879.

В своих, казалось бы сочувственных, суждениях о мысли в художественном произведении, о бережном отношении критики к ней, даже если «счастливая мысль... является у писателя почти наголо»¹, Анненков, как и его единомышленники, отдает лишь посильную дань веяниям времени. Истинные же его убеждения незамедлительно выясняются, как только критик приподнимает завесу над сущностью самого понятия «мысль».

Прежде всего существенно, каково, по Анненкову, если можно так выразиться, происхождение мысли в художественном произведении. Эстетические достоинства критик склонен видеть главным образом в тех произведениях, которые «явились» «просто из созерцания жизни без всяких посредников»², т. е. без «предвзятого» отношения к фактам, без определенного представления об их сущности и взаимосвязи. В противном случае появятся произведения «несвободные», живущие в узах, «сплетенных и скованных для них еще раньше самого рождения их». Исключительная симпатия к «одному какому-либо литературному направлению» также пагубна, ибо ведет к односторонности уже в выборе, а затем и в изображении жизненных фактов.

Иначе говоря, Анненков советует писателю всячески избегать проявления своих симпатий и антипатий в художественном творчестве — ради самой художественности. На деле это, однако, означало, не только отрицание схематизирующей предвзятости, но заодно и вообще животворной силы передовых идей в художественном познании действительности.

Но остается еще неясным, как мог Анненков в этих обстоятельствах говорить о мысли в произведении искусства, хвалить, скажем, Толстого за «замечательную деятельность мысли», а Тургенева — за «крепость» и органичность мысли, да и вообще сочувственно принимать в искусстве «настоящую и глубокую мысль». Все дело, однако, в том, что «мысль», по Анненкову, возникает в художественном произведении стихийно, без специальных намерений автора, заранее предвидящего, хотя бы в общем, желаемый идейный результат своих творческих усилий.

Решающей предпосылкой и условием мысли в искусстве является художественность, образные, конкретно-жизненные картины действительности. С художественностью неотвратимо приходит и мысль, поэтому в искусстве возможна и по-настоящему даже единственно закономерна такая «самоприходящая» мысль. Она является функцией художественности и не нуждается в идейной целеустремленности писательской пози-

¹ «Современник», 1855, № 1. Отд. III, стр. 4.

² Там же, стр. 11.

ции. Таков внутренний смысл теоретических рассуждений и критических оценок Анненкова.

Однако и само содержание, сам характер мысли в искусстве трактуется Анненковым не просто своеобразно, но и весьма ограничительно. Внешне все обстоит благополучно. Критик ставит вопрос «о сущности мыслей», доступных художественному произведению. Этим он откликается на постоянные требования мысли в литературе со стороны общества, жаждущего поучения. Оказывается, однако, что подобные претензии нельзя обосновать свойствами искусства. Скорее наоборот: «большеею частью предъявляют требования не на художественную мысль, а на мысль или философскую, или педагогическую. С такого рода мыслями искусство никогда иметь дела не может...»¹.

На эти посылки Анненков и опирается в попытке определить специфику мысли в произведениях словесного искусства. Он практически ограничивает сферу мысли в литературе одной лишь психологией, наблюдением «душевных оттенков, тонких характерных отличий, игры бесчисленных волнений человеческого нравственного существа в соприкосновении его с другими людьми»². Где верно проанализирован факт, там уже есть «настоящая и глубокая мысль,— таков конечный вывод критика.

Ратуя за «специфику», порицая прямолинейную наставительность, Анненков на деле противопоставляет художественную мысль мысли философской, политической, а отчасти даже нравственно-этической. Что же касается собственно эстетики, то и здесь Анненков также допускает явное нарушение истины. Неправомерно сузив границы художественной мысли, он свел эту мысль только к психологии. Но это была всего лишь эстетская односторонность в понимании вопроса, а не выяснение подлинного существа художественной мысли, пафоса писателя, по терминологии Белинского. Своеобразие формы заслонило в сознании Анненкова многообразие поэтического содержания.

Принципиальное значение в литературной борьбе его статье придавало и то обстоятельство, что все важнейшие ее проблемы переключаются Анненковым в плоскость эстетических критериев. Поэтому выводы автора носят подчеркнута программный и, конечно, полемический характер.

Прежде всего Анненков решительно отвергает критерий «мысли» при оценке художественного произведения, ибо он якобы противоречит эстетической природе литературы. Анненков находит вредным те «постоянные хлопоты о мысли, кото-

¹ «Современник», 1855, № 1, Отд. III, стр. 17.

² Там же, стр. 18.

рыми занята не одна публика, но и критика» и которые приводят к «педагогизации» и «прозаизации» искусства, а нередко—и к предвзятости, тенденциозности. «Там, где определяется относительное достоинство произведения по количеству мысли и ценность его по весу и качеству идеи, там редко является близкое созерцание природы и характеров, а всегда почти философствование и некоторое лукавство»¹. Именно в противовес критерию содержательности, так последовательно вводившемуся в критическую практику Чернышевским, Анненков и выдвигает «психологическое» понимание мысли. Мы видим: тактически борьба идет не «по прямой»: «за» мысль или «против» нее, — она разворачивается вокруг толкования самого характера мысли. А уже из этого понимания делаются соответствующие выводы. По Чернышевскому, мысль — это общественно важное содержание, по крайней мере,—стремление к такому содержанию. По Анненкову, мысль в искусстве только и исключительно психологична. Отсюда и борьба Анненкова против мысли в том значении, которое придавал ей Чернышевский. И отсюда же использование самим Анненковым категории «мысли» в особом значении—факт примечательный для понимания внутренних противоречий эстетической критики и реальной сложности литературной борьбы уже в середине 50-х годов.

Вторая статья пушкинского цикла Чернышевского, в которой, как мы видели, разрабатывался вопрос о художественности и мысли в литературном творчестве, во многом и явилась ответом Анненкову². Однако в том же № 3 «Современника» за 1855 г., где опубликована эта статья Чернышевского, критик-демократ еще раз выступил против Анненкова, как и против других приверженцев эстетизма. Речь идет о пародийной рецензии Чернышевского «Новые повести. Рассказы для детей».

Долгое время эту заметку по поводу несуществующей книги считали выступлением только против безыдейной и салонной литературы, ограничивая мишени автора произведениями Авдеева, Евг. Тур, Григоровича (или его эпигонов) и других писателей той поры³. И только в 1949 г. в комментариях к собранию сочинений Чернышевского дано, пусть и суммарное, нерасчлененное указание, что в его рецензии нарисована «картина состояния эпигонской критики 50-х годов» (II, 866).

¹ «Современник», 1855, № 1, Отд. III, стр. 17.

² Объективно построениям Анненкова и его единомышленников противостояли также теоретические работы Чернышевского. Подробно см. в статье: М. Зельдович. Эстетический трактат Н. Г. Чернышевского и проблемы русской литературы 50-х годов. «Русская литература», 1962, № 2.

³ См., например, Б. Эйхенбаум. Лев Толстой. Книга первая, 50-е годы. Л., «Прибой», 1928, стр. 197—199; В. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбова. Л., Гослитиздат, 1936, стр. 34—35.

Уточнение в эту характеристику внесено недавно А. Лаврецким, обнаружившим в статье Чернышевского пародию на рассуждения Анненкова и Дружинина о вредности тенденции и рефлексии для развития художественного таланта¹. Однако и этими замечаниями расшифровка рецензии Чернышевского еще не разрешена.

Чернышевский предельно заостряет ситуацию уже тем, что поручает великовозрастным «гостям» всерьез обсуждать писания детей с применением всамделишных почтенных критериев, излюбленных либерально-эстетской критикой. В разоблачении литературно-эстетических критериев либералов вообще заключается характернейшая особенность тактики Чернышевского. Оно и понятно: идеология и эстетика либерализма через вырабатываемые ими критерии непосредственно связаны с литературной критикой и литературным движением в целом.

Какие же символы веры «артистизма» берутся под обстрел Чернышевским?

Есть все основания утверждать, что он сосредоточивает критику главным образом на эстетском толковании художественности в целом и различных аспектах этой проблемы в частности. Чернышевский высмеивает мелкотравчато-формалистское представление о художественности, низводящее ее до «прекрасного слога», «нежных, тонких штрихов». А это-то именно представление, которому, как мы видели, отдал щедрую дань и Анненков, хотя он и не опускается до невольного самопародирования. Чернышевский, далее, развенчивает эстетскую же теорию «непосредственности творчества», в угоду которой в произведении писателя не должно быть «и следа субъективных симпатий и антипатий», тем более «тенденции, затаенной мысли» (II, 658). Выводы Белинского, давно и плодотворно решившего эти проблемы, его преемник поддерживает оружием пародии. И опять в ряду ее адресатов приходится вспомнить Анненкова (хотя и в этом случае не исключительно его одного).

Это «приурочение» еще более правомерно в применении к другому аспекту проблемы художественности, который также привлекает внимание Чернышевского. Художественность и мысль — таков этот аспект. Острые критики направлены против теории, которую выдвигали Анненков и его соратники и которую можно для краткости назвать «теорией самоприходящей мысли». Да, буквально так. Ибо речь, как мы видели, шла о том, что мысль — это не предпосылка и условие полноценной, действительной художественности, а только лишь стихийное *следствие* художественности, отъединенной в процессе

¹ История русской критики, т. II. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 87.

творчества от мысли, от сознательной воли автора. И хотя Чернышевский, естественно, ни во что не ставит «мысли» обсуждаемых в его пародии сочинений, он не упускает случая предоставить избобляемым им критикам слово и по этому вопросу. Что же они оказываются в состоянии высказать? Прислушаемся к перепалке при разборе сочинений Ванички à la «Тамарин» М. Авдеева: «...едва послышалось выражение «мысль есть душа произведения», как двадцать голосов закричали: «а художественность? Она главная. Вы забываете художественность; мысль без художественности ничего не значит. *Художественностью произведения дается ему мысль*» (II, 659—Подчеркнуто нами.—М. З.). Это и был, в сущности, тот центральный тезис, который пытался, если не обосновать, то провозгласить и сделать авторитетным Анненков¹.

2.

Пушкинский цикл Чернышевского не обладает строгой структурной целостностью, по крайней мере внешней. В нем есть «излом», резко обозначившийся после второй статьи. Дело не только в том, что уже вторая статья дописывалась после получения известия о смерти Николая I и заканчивалась многозначительным призывом, для которого столь подходящими оказались слова Пушкина —

«Да здравствуют музы, да здравствует разум!»

Дело в перемене самого замысла, в переключении главного внимания Чернышевского в другую область — в область литературной критики 20—40-х годов. Как известно, именно суждения критики этой поры о Пушкине — основной предмет анализа в третьей и четвертой статьях Чернышевского о поэ-

¹ Впрочем, Достоевский был не единственный, кого прельстила теория «самоприходящей идеи». Сошлемся и на статью Н. Н. (Н. И. Тугубалин предполагает, что под этим криптонимом скрывался критик «Санкт-Петербургских ведомостей» Н. С. Назаров.—См. «Ученые записки» Ленинградского университета, № 261. Серия филолог. наук, вып. 49, 1958, стр. 25; там же, вып. 53, 1960, стр. 197—202) по поводу «Сочинений» А. Островского. Чтобы придать своим суждениям основательность, критик обращается «к некоторым общим вопросам о поэтическом творчестве». В их ряду незамедлительно возникает и следующий: «Что такое художественная идея? Как проявляется она в поэтическом произведении?» Для нашей цели достаточно просто воспроизвести «сердцевину» рассуждения критика: «Идея проявляется в произведении сама собою—она ему присуща, если только оно художественно. Осмысливая собою каждое явление действительной жизни, идея переходит с ним и в область поэзии, если только переход этот совершен по началам <...> самобытного творчества <...>. Придумывать идею, становлять вопрос, чтоб потом развивать его в своем произведении, вовсе не должен художник: пускай только поэтически воспроизведет он в стройной и целой картине живую действительность—идея скажется сама собою» («Отечественные записки», 1859, № 8, Отдел III, стр. 86, 87.—Курсив наш.—М. З.). Кстати, в отличие от хода мысли Достоевского, здесь явственно отголоски немецкой идеалистической философии. Частный случай творческого процесса (действительно возможный,—недаром его признавал и Добролюбов, но толь-

те. Первая половина работы ничем не предвещала такого поворота темы. Больше того. В рукописи первой статьи Чернышевский оговаривал, что само по себе интересное «сличение» «Материалов» Анненкова «с предшествующими статьями о Пушкине, разбросанными по разным журналам (и сочинениям)» (II, 904), по ряду причин не входит в его намерение. В печати, однако, эта оговорка не появилась. Перед Чернышевским, таким образом, возникла возможность экскурсов в критику 20—40-х годов, но в период работы над первой статьей своего пушкинского цикла он либо решил ею не воспользоваться, либо вовсе ничего не решил по этому поводу. Решение окончательное пришло позже, и оно не совпало с первоначальными мыслями. Не вызвано оно ничем специфическим и в содержании очередных томов сочинений Пушкина (в них были помещены произведения различных жанров — стихи, поэмы, художественная проза, журнальные статьи), вышедших после предыдущей статьи. Не лишено интереса в этой связи, что и современники обратили внимание на тематическую неоднородность цикла Чернышевского. Так, в «Журналистике» «Библиотеки для чтения» отмечалось: «Статьи о Пушкине, в отделе критики «Современника», окончены. Они не соответствуют обещанной рецензентом программе»¹.

Но, конечно же, Чернышевский менее всего заботился о формальной целостности цикла. И, отступая от нее, он не жертвовал целостностью внутренней, идейной, которая во всех четырех его статьях о Пушкине заключалась в ориентации на современность, в соотношении обсуждаемых вопросов с потребностями литературного движения в новых условиях. И как раз во имя этой своей главной цели Чернышевский и обновляет материал и проблематику третьей и четвертой статей. Это явилось его творческим откликом на ряд новых особенностей литературной ситуации в середине 1855 г.².

ко как частный случай) превращен Назаровым в норму, во всеобщую закономерность. Вместе с тем, отвергая ложные, с его точки зрения, идеи Островского, он отвергал и сознательную идейность художественного творчества вообще. Это свидетельствует, помимо всего другого, о заманчивости «теории самоприходящей идейности» для противников Чернышевского и Добролюбова, о настоятельной необходимости ее развенчивания и углубленной критики. Но уже Чернышевский не пренебрег при этом и язвительной пародией.

¹ «Библиотека для чтения», 1855, № 9, Отдел VI. Литературная летопись, Журналистика, стр. 16. Возможно, что автором отдела «Журналистика» в этом номере журнала был А. И. Рыжов. См. Б. Ф. Егоров. Критическая деятельность А. И. Рыжова (из истории литературной критики 1850-х гг.) — «Ученые записки» Тартуского университета, вып. 65, 1958, стр. 75.

² Поэтому представляется неточной та характеристика пушкинского цикла, которая дана в комментариях к «Полному собранию сочинений» Чернышевского. Проблематика его статей вводится там только лишь к «расширенному разбору» анненковского издания (II, 850). Содержанию третьей и четвертой статей такой вывод никак не соответствует.

Выход анненковского издания сочинений Пушкина заставил критика более четко самоопределиться в своем отношении к основоположнику новой русской литературы, а в сущности — и к ряду кардинальных вопросов художественного творчества, критики, эстетики. Поэтому статьи на «историческую» тему оказывались, иногда даже невольно, программными.

Но если, скажем, подчеркнуто охранительные выступления М. Погодина и К. Зеленецкого не могли оказать скольконибудь существенного влияния на литературный процесс¹, то иначе обстояло дело со статьей такого критика, как А. Дружинин.

Уже название статьи А. Дружинина — «Пушкин и последнее издание его сочинений»² — свидетельствовало о его намерении не ограничиться лишь разбором и оценкой труда П. В. Анненкова³. Это видно уже хотя бы из того, что пафос статьи Дружинина заключается в утверждении своих взглядов на пути развития русской литературы, а концепция творчества Пушкина, выдвигаемая им, занимает, в известном смысле, подчиненное место.

Но такая концепция Дружининым предложена, и из нее делаются важные выводы и прогнозы, касающиеся не только литературной практики, но и теории, эстетики, критики. Недаром статья Дружинина явилась едва ли не первым его про-

¹ М. Погодин опубликовал в «Москвитянине» (1855, июнь, стр. 1—4) своеобразный «лирический отклик» на новое издание сочинений Пушкина и Гоголя. Прославляя подвиг поэта, идущего тернистым путем, он ставит Пушкина и Гоголя в один ряд с «отцами церкви», адмиралом Нахимовым, царем Николаем I и его здравствующим преемником. В религиозно-«патриотическом» тумане терялись конкретные очертания творческого наследия великих русских писателей, общественная острота их идей и образов. В речи К. Зеленецкого «О художественно-национальном значении произведений Пушкина» (произнесена в 1854 г., тогда же вышла отдельной брошюрой, позже перепечатана в «Журнале министерства народного просвещения», 1855, ч. 85, № 3, стр. 217—246) особенно подчеркивалось умение поэта воссоздать русскую жизнь, в частности жизнь помещиков, в «идеально-благородных очертаниях», «эстетически прекрасно». Поэтому при чтении его произведений «душа ничем не возмущается», «сердце бьется теплее, а успокоенное чувство становится отраднее» (стр. 243). В сущности, критик усматривал «художественно-национальное значение» Пушкина в умиротворенности, в безоглядном принятии русской действительности николаевской поры.

² «Библиотека для чтения», 1855, №№ 3 и 4. Отдел III. Цитируем (с указанием страниц в тексте) по кн.: А. В. Дружинин. Собр. соч., т. VII, СПб., 1865; кроме того, Дружинин напечатал рецензию на III и IV тома анненковского издания Пушкина (см. «Библиотека для чтения», 1855, № 5. Отдел VI, стр. 1—14). Высказав ряд интересных и полезных советов с целью улучшить, главным образом, «Материалы для биографии Пушкина», Дружинин, однако, совсем не касался в ней принципиальных вопросов.

³ Этому не противоречит тот факт, что название предложено Дружинину редактором «Библиотеки для чтения» А. В. Старчевским (см. «Письма к А. В. Дружинину», М., 1948, стр. 298), призывавшим писать «О Пушкине, а не об Анненкове»: такой аспект как нельзя более отвечает планам самого критика.

граммным выступлением, совпавшим вдобавок с началом новой общественно-литературной полосы.

Хорошо известны главные идеи интересующей нас статьи Дружинина: фальсификаторское толкование творчества Пушкина как «чистого искусства» и противопоставление его критико-реалистическим принципам Гоголя. Но какое конкретное методологическое содержание вкладывается в эти идеи, с какими критериями они связаны?

Можно считать, что в статьях о Пушкине Дружинина в плане эстетико-методологическом больше всего интересуют два круга вопросов. Это, во-первых, отношение художественного творчества к действительности; во-вторых, правда и поэзия в художественном творчестве.

А. Дружинин «узаконивает» изображение «светлой» стороны жизни — как ведущую задачу писателя и «приветливое» принятие современной жизни, какова она есть — как главную особенность идейно-эстетической позиции писателя. Это и были основные признаки якобы подлинного «реализма», который противопоставлялся Дружининым «ложному реализму» Гоголя и натуральной школы и выдавался за «пушкинское направление» в русской литературе.

Концепция А. Дружинина могла лишь ослабить критический пафос русской литературы, увести ее от решения новых задач, которые требовали дальнейшего сближения с действительностью, понимания ее внутренних противоречий и непримиримого отношения к ним. Показательно в этой связи, какие жанры и темы пушкинского творчества Дружинин выдвигает в противовес гоголевскому направлению. Критик здесь конкретен: «Изучая прозу Пушкина, его «Онегина» — где изображен вседневный быт наш, как городской, так и деревенский, его стихотворения, внушенные сельскими картинами, сельским бытом, мы придем к началу того противодействия, той реакции, которая так нужна в текущей словесности» (VII, 59). Нетрудно заметить, что Дружинин прежде всего обращается к пушкинской прозе для того, чтобы противопоставить ее прозе гоголевского направления. Он затем подчеркивает (с тенденциозной целью, конечно, иначе в этом не было особой надобности) образцовый характер изображения Пушкиным «вседневного быта», чтобы и здесь указать на иные, чем у Гоголя, творческие принципы. Он, наконец, специально привлекает внимание к картинам сельской жизни у Пушкина (они уже оценены критиком как светлые и умиротворенные), чтобы посрамить путь жесткой правды «Записок охотника» и «Антон-Горемыки».

Но Дружинин — теоретик эстетизма — этим не довольствуется. Он ищет дополнительные аргументы в сфере собственно искусства. Так появляется в его рассуждениях категория «поэзии» в ее оценочном значении, которое можно счи-

тать близким понятию «художественности» (разумеется, в дружининском толковании). По существу «поэзия» призвана у Дружинина обосновать и освятить то отношение искусства к действительности, которое он отстаивает в своей статье. Поэтому понятие это у критика-эстета глубоко ущербно. Достаточно сказать, что оно, как и вся концепция Дружинина, противопоставляется критическому изображению действительности, «энергии негодования», скорбной, ищущей мысли писателя-гражданина, а в конечном счете — неподдельной правде жизни в ее подлинной сложности. Под флагом борьбы за поэзию Дружинин вновь излагает свое программное положение: «Нам нужна поэзия. Поэзии мало в последователях Гоголя, поэзии нет в излишне-реальном направлении многих новейших деятелей. Самое это направление не может назваться натуральным, ибо изучение одной стороны жизни не есть еще натура. Скажем нашу мысль без обиняков: наша текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением» (VII, 59—60).

В статье Дружинина выражено определенное понимание природы и задач литературы вообще и на её современном этапе в особенности, выдвинут ряд идейно-эстетических критериев, которые должны, по замыслу автора, стать руководящими и для критики и для художников, дана оценка творчества Пушкина и Гоголя, всем своим содержанием заостренная прежде всего против Белинского как эстетика, критика, организатора передовых творческих сил². И при всем этом выступление Дружинина имело целью воздействовать на современную литературу, определить пути, принципы ее развития в складывавшихся новых условиях³.

¹ Особенно отчетливо эта мысль выражена Дружининым в сравнительной характеристике Пушкина и Гоголя, которая, на взгляд критика, показывает, как преобразует действительность подлинная поэзия автора «Онегина», мир которого «тих, спокоен и радостен», который умеет извлечь красоту из тех же повседневных обычных вещей и явлений (дорога, зима, сельский пейзаж), что у Гоголя предстают в столь прозаическом и мрачном освещении.

² Любопытно, что не только Чернышевский, но и В. Гаевский в статье по поводу анненковского издания («Отечественные записки», 1855, № 6, стр. 31—70) счел необходимым сослаться на исчерпывающий анализ наследия Пушкина в работах Белинского. Дружинин же на сей счет «честно молчал», не решившись, как это бывало в аналогичных случаях, апеллировать к авторитету великого критика: слишком уж очевидной была противоположность их позиций. Чернышевский, сочувственно вспомянувший о ссылке В. Гаевского на Белинского (см. II, 477), не мог не заметить «молчания» Дружинина в этом, отнюдь не библиографическом, вопросе.

³ Далеко не все было высказано А. Дружининым прямо, хотя отношение к Пушкину и Гоголю охарактеризовано им достаточно откровенно. Письма Дружинина свидетельствуют, что он сознательно ставил перед собою цель — противодействовать идейно-эстетической линии Чернышевского и, под благовидным предлогом, «умерить» социально-критический пафос литературы.

Мог ли Чернышевский оставить такое выступление без ответа? Думается, в решении этого вопроса свою роль сыграла и реакция на статью Дружинина в литературном кругу «Современника». Нельзя забывать, что некоторые деятели журнала обнаружили сочувствие ряду положений Дружинина, а то и общей направленности его идей, в особенности суждениям о Пушкине. Иные писатели увидели в рассуждениях Дружинина намеки и указания на их художественные слабости и уже заговорили было о выводах из них для своей творческой практики... Даже Тургенев, усмотревший в статье Дружинина односторонность, порицавший «несправедливость» критика в отношении Гоголя,—даже Тургенев находил его статью «славной» и «самокритично» добавлял: «Многое из того, что он говорит, нужно нынешним литератором мотать себе на ус и я первый знаю, où le soulier de Gogol blesse <где жмет сапог Гоголя>»¹.

Еще знаменательнее отклик Некрасова. Перечитав по настоянию Боткина статьи Дружинина, он дал о них в письме к автору 6 августа 1855 г. отзыв не просто комплиментарный, а по-настоящему сочувственный. Достаточно напомнить, что Некрасов назвал автора статьи «Пушкин и новое издание его сочинений» «благородно мыслящим человеком», а затем признался: «Я ужасно жалел, что эти статьи не попали в «Современник», — они могли бы быть в нем и при статьях Чернышевского, которые перед ними, правда, сильно бы потускнели»².

Мнение Некрасова о статьях Дружинина не составляло секрета для Чернышевского: оно было высказано поэтом и в «Заметках о журналах за июль», опубликованных в августовской книге «Современника» 1855 г., а Чернышевскому стало известно, конечно, еще до выхода журнала, в котором была помещена последняя статья его пушкинского цикла.

Но дело, разумеется, не в отзывах Некрасова или Тургенева самих по себе, отразивших противоречия и трудности их идейно-творческого развития. Можно даже допустить, что эти отзывы не были известны Чернышевскому. Но и в таком случае он бы предвидел, «угадал» возможную реакцию, а глав-

¹ И. С. Тургенев. Письмо В. П. Боткину 17 июня 1855 г. Собрание сочинений, т. 12, М., Гослитиздат, 1958, стр. 179.

² Н. А. Некрасов. Полное собр. соч. и писем, т. X, М., Гослитиздат, 1952, стр. 230. Не исключено, впрочем, что последнее заверение сделано для того, чтобы подчеркнуть желательность сотрудничества Дружинина в «Современнике». Некрасов весьма дорожил им как опытным журналистом, и вслед за цитируемыми строками он прямо сообщал об этом своему корреспонденту: «Мне, Дружинин, весьма хочется возобновить ваше постоянное участие в «Современнике...» (там же).

ное — вероятный вред тех идей, которые внушались Дружининым в этот трудный переломный момент, когда очень еще влиятельны были «традиции» «мрачного семилетия» и творческое самоопределение оказывалось делом весьма сложным даже для больших писателей.

Одним словом, Чернышевскому предстояло выступить против Дружинина, его эстетической концепции и литературно-критических прогнозов.

Но и здесь для понимания статей Чернышевского надо учитывать его тактику. Чернышевский и в этом случае не решает основные для него вопросы непосредственно на материале современной «текущей» литературы. Причина не только в сложности положения нового критика «Современника», который еще не всегда имеет возможность в полный голос высказать свои убеждения, чуждые многим — и достаточно влиятельным — сотрудникам журнала. Еще важнее другое: сама литература той поры была бедна достаточно убедительным для подкрепления идей Чернышевского материалом, и ему пришлось бы вести бой, в основном, на творчестве писателей противоречивых, колебавшихся, отступавших от традиций Гоголя (именно этим обстоятельством и пользовалась «эстетическая» критика, надеясь повлиять на литературное движение). Это могло привести к нежелательным осложнениям. Иные писатели, чего доброго, сочли бы себя «подчиненными» «утилитаристской теории» (вспомним: третья статья Чернышевского о Пушкине появилась через два месяца после выхода «Эстетических отношений искусства к действительности»; что же касается откликов на эту работу — достаточно выразительных в своей враждебности новой теории, — то о них и напоминать нет надобности), «противопоставленными» Пушкину и чрезмерно «сближенными» с Гоголем... И то и другое было в то время нецелесообразно, ибо могло помешать творческому самоопределению писателей, осложнить дальнейшее проведение литературной линии Чернышевского, а значит — повредить и авторитету его эстетической теории и критической практики, делу «Современника» в целом.

И вот Чернышевский в третьей, а затем и в четвертой статьях своего пушкинского цикла предпринимает блестящий «обходной маневр», не разгаданный исследователями до сих пор.

Повод для этого маневра, как всегда бывает в подобных случаях, подал сам противник, т. е. Дружинин. В своей статье он сделал ряд обобщающих замечаний о критике 20—30-х годов и ее отношении к Пушкину, о современной оценке творческого наследия поэта. Дружинину эти экскурсы понадобились не как дань «академической» традиции, а ради подкрепления своей теории. Он утверждает, что в эпоху Пушкина «у нас не было... критики» (VII, 47), а та, которая существовала, не

смогла понять и по достоинству оценить произведения поэта, в особенности начиная с «Бориса Годунова» и «Полтавы» (VII, 30, 52). Нельзя не видеть, с какой предвзятостью подчеркивает Дружинин критическую деятельность Н. Полевого, Н. Надеждина. Однако дело не только в этой несправедливости, но и в тезисе, для подкрепления которого она прежде всего и призвана. Оценка критики 20—30-х годов связана у Дружинина с оправданием теории «чистого искусства», последователем которой, как известно, он энергично выставлял Пушкина. Раз критика не понимает поэта, тем более прав он, уходя от суждений общества, «решившись сделаться единственным¹ судьей своих произведений, высказывая в стихотворении «Поэт, не дорожи любовью народной» свой взгляд на труд поэтический» (VII, 48) — такова логика Дружинина¹.

Наконец, «историография» Дружинина имеет еще одну особенность. Обойдя молчанием статьи Белинского (хотя перифрастические упоминания о них были вполне возможны, чему доказательство — статьи Чернышевского и Гаевского), он сразу же обратился к своему времени, чтобы провозгласить сомнительный и лицемерный тезис: «около имени Пушкина давно уже смолкли все литературные несогласия,—и воцарилось величавое спокойствие...» (VII, 32). Получалось, что существует единое общее мнение о Пушкине и его глашатаем выступает критик «Библиотеки для чтения»... Концепция Дружинина рядилась в тогу непререкаемости.

Теперь становятся яснее причины обращения Чернышевского к прошлому русской критики. Но Чернышевский только на первый взгляд полемизирует с Дружининым по частному и, в данной ситуации, второстепенному поводу. В действительности он наносит сокрушительный удар по всей концепции противника.

Это доказывается уже самой постановкой вопроса. Чернышевский стремится охарактеризовать идейную эволюцию Пушкина в ее отношении к эпохе поэта и, в частности, к общественному мнению этой поры. Практически это означало анализ откликов современной Пушкину критики на его произведения, ибо Чернышевский, как и прежде, видит в критике «отголосок» «общественного мнения» (II, 477).

При этом Чернышевский ставит перед собою две задачи. Первая: исторически обосновать свое понимание творчества Пушкина и его места в русской литературе, показать преем-

¹ Однако, строго говоря, он доказывал не то, что хотел доказать. Ведь аргументы Дружинина объективно свидетельствовали (при всех натяжках в оценке критики 20—30-х годов), что на пушкинский цикл стихов о поэте и поэзии повлияло и такое сугубо частное, преходящее обстоятельство, как нападки и «требования» критики. Как известно, уже Г. В. Плеханов, а вслед за ним и советские исследователи, именно на этом пути сумели верно объяснить и истолковать соответствующие стихотворения Пушкина. В Дружинине же побеждала предвзятость.

ственную связь этой концепции с суждениями критики 20—40-х годов. Вторая задача — объективная оценка мнений о Пушкине современной ему критики и преодоление ошибочного, огульно отрицательного отношения к ней.

Обе эти задачи решаются на материале литературной критики 20—30-х годов (в третьей статье) и Белинского (в четвертой статье).

Чернышевский не скрывает, что полемизирует с Дружининым. Он прямо говорит о несостоятельности мнения, «будто критика, современная Пушкину, нисколько не умела оценить его» (II, 478), а в своей четвертой статье приводит на сей счет и цитату из Дружинина (см. II, 512)¹. Но объем полемики, ее конечный объект, ее истинное содержание читатель должен был определить сам. Чернышевский целеустремленно вел читателя к выводам всей логики своих рассуждений. А логика такова. Иные литераторы, — говорит Чернышевский, — считают критику пушкинской поры поверхностной, придиричливой, пустой. Но давайте возьмем лучшие статьи (ибо другие не стоили внимания Пушкина и не заслуживают его и сейчас) и разберемся в них.

Вот влиятельнейший журнал второй половины 20-х—начала 30-х годов «Московский телеграф». Каково же его отношение к Пушкину? Оказывается, — этот и все другие свои выводы Чернышевский подтверждает обильно цитируемым материалом, — отзывы «Телеграфа» о Пушкине до появления VII главы «Евгения Онегина» (статья о ней помещена в журнале в конце 1830 г.) проникнуты «удивлением и благоговением» (II, 480). Однако в конце 1830 г. «вместо прежнего энтузиазма волворилась сначала холодность, потом явный раздор» (II, 482). Чернышевский не упускает из виду обстоятельств привходящих — литературной вражды, журнального соперничества и т. п., во многом принимая здесь сторону Н. Полевого. Но главным он считает все-таки то, что «журналы (и в том числе «Московский телеграф») были только отголоском общего мнения огромного большинства публики» (II, 483). Эта мысль и становится одним из лейтмотивов статьи Чернышевского.

¹ Вызывает поэтому удивление отзыв Дружинина о работах Чернышевского в «Современнике», высказанный 23 июля 1855 г., после ознакомления с последними номерами журнала (очевидно, в их числе была и седьмая книга с третьей статьей Чернышевского о Пушкине, вышедшая в свет еще 1 июля). В письме к В. П. Боткину, не стесняясь в выражениях, Дружинин писал, что Чернышевский «кажется, держится на строгой привязи. Иначе и быть не может, еще за год назад я говорил в редакции, что этот халдей явно гнет к тому, чтобы перессорить журнал со всеми сотрудниками...» («Письма к А. В. Дружинину», М., 1948, стр. 38). Право, Дружинин недооценивал Чернышевского... Или он предпочел сделать вид, что не понял, в кого метит Чернышевский и почему он вдруг углубился в историю критики и «погряз» в старых журналах?

Он показывает, что «Московский телеграф» высоко ставил, например, «Полтаву» и пророчил Пушкину дальнейшее могущественное развитие. Но журнал не мог обойти молчанием равнодушие публики к поэме, хотя и был в этой тяжбе читателя и писателя на стороне Пушкина. И вот как Чернышевский излагает мнение «Московского телеграфа» о причинах непопулярности «Полтавы»: «Равнодушие публики к новой поэме, которая в тысячу раз выше прежних, объясняется тем, что публика жаждет живого направления, касающегося общественных интересов, а не шекспировского спокойствия, которое владычествует в «Полтаве»...» (II, 488.—Курсив наш.—М. З.). И далее, с еще большей категоричностью: «Критик («Московского телеграфа».—М. З.) видит истинную причину охлаждения публики, но еще поклоняется с прежним энтузиазмом великому поэту и клеймит, как тупоумных людей, тех, которые покинули его, когда он покинул область живых стремлений для областей холодной художественности» (II, 488). Одновременно Чернышевский приводит «очень справедливое», на его взгляд, объяснение на страницах «Телеграфа» причины восторженного увлечения прежними произведениями Пушкина, «изображавшими... мысль» современников, причем особую роль журнал отводил рукописным «мелким стихотворениям», т. е. «вольной поэзии» Пушкина.

Любопытно, что Чернышевский, во-первых, сопровождает вопросительным знаком эпитет «Телеграфа» «забытые» в отношении политических рукописных стихотворений Пушкина, а, во-вторых, не без колкости замечает, что это «факт, ныне забытый в свою очередь, но очень важный» (II, 488). Так еще раз подчеркивается особая значимость дерзких политических стихов Пушкина для понимания его творческой и гражданской судьбы.

Об отношении «Московского телеграфа» к «Полтаве» Чернышевский говорит наиболее подробно. Но и тогда, когда он оставляет выдержки из этого журнала вовсе без комментариев, достаточно отчетливо звучит мысль «Телеграфа» о неудовлетворенности содержанием пушкинских произведений — при общем чрезвычайно высоком мнении о творчестве поэта. Так, в статье о «Борисе Годунове»¹ трагедия оценивалась как «великое явление» в масштабах русской литературы, но неудовлетворительное в масштабах европейских.

Рассмотрев эти и другие факты, Чернышевский приходил к выводу, что несмотря на личные враждебные отношения Полевого с Пушкиным, «Московский телеграф» судил о его произведениях «с беспристрастием и отдавал полную справедливость его достоинствам» (II, 490; см. также 490—491).

¹ Автором статьи был Н. А. Полевой. См.: В. Г. Березина. Н. А. Полевой в «Московском телеграфе». — «Ученые записки» Ленинградского университета. Серия филолог наук, вып. 20, 1954, стр. 138.

Вслед за «Московским телеграфом» Чернышевский напоминает о статьях «Телескопа», выдвинувшегося в начале 30-х годов на авансцену журналистики и критики. Что же именно привлекало Чернышевского в статьях Надеждина о Пушкине? Свое отношение к Надеждину Чернышевский обнаруживает иным способом, чем отношение к Полевому. Там он цитировал, рассуждал, оценивал. Здесь ограничивается почти одной только цитацией. Но сделана она так, что читатель должен понять скрытую за ней логику.

Чернышевский приводит три основных положения из статей Надоумко-Надеждина. Три цитаты — три тезиса, три звена единой логической цепи.

Первая выдержка направлена против романтических эффектов, против псевдобайронизма русских подражателей (хотя и в самом авторе «Чайльд-Гарольда» Надеждин с огорчением констатирует односторонность: его душа «не просветлялась ясным взором на вселенную и не согревалась кроткою теплотою братской любви к своим земным спутникам»).

Вторая — свидетельствует о бедности русской литературы 20-х годов, в чем повинны, возможно, и романтический субъективизм и подражательность.

Наконец, третья уже непосредственно посвящена Пушкину и его роману «Евгений Онегин». Но предыдущие выдержки (сила «монтажа»!) уже ввели тему о Пушкине в перспективу движения всей русской литературы, в частности, соотнесли «проблему Пушкина» с проблемой романтизма и борьбой за богатство, содержательность современной литературы.

Последняя выписка как бы синтезирует всю эту проблематику и развивает различные аспекты ее. Начинается цитата традиционным для критики тех лет мотивом: «бывало время», когда каждый стих Пушкина считался сокровищем, а «теперь—какая удивительная перемена! Произведения Пушкина являются и проходят почти неприметно». Причину этого надо искать не в прихотях моды, а в самих произведениях поэта. В дальнейшем выясняется, что применительно к VIII главе «Онегина» (строго говоря, и к роману в целом) дело заключается, на взгляд Надеждина, в легковесности, недостаточности содержания, а на взгляд большинства публики — в том, что Пушкин обманул ее надежды на появление русского «Чайльд-Гарольда», который представлял бы собой «полную историю современного человечества». Но так ли уже велико здесь расхождение между критиком «Телескопа» и читателем! По существу они сходятся в главном: содержание произведений Пушкина беднее запросов времени, интересов читающей публики (которую, впрочем, очень уж тянет на традиционную дорогу «байронизма»¹).

¹ В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышев-

Таково отношение критики «Московского телеграфа» и «Телескопа» к Пушкину в интерпретации Чернышевского¹.

Выясняя это отношение, Чернышевский не только защищал «разночинную» критику 20—30-х годов от незаслуженных обвинений и отводил ей достойное место в литературной жизни эпохи. Он обращал суждения и оценки Полевого и Надеждина против современного ему «артистизма», против его эстетической программы и литературной тактики. Мы, естественно, вынуждены оставить в стороне вопрос о том, в какой мере справедливы здесь оценки и выводы Чернышевского. Этот вопрос требует специального изучения, а самое главное — не имеет решающего значения для нашей темы. Но одно замечание все-таки необходимо сделать. Примитивно (и наивно вместе с тем!) было бы полагать, будто Чернышевский вознамерился на потребу современной литературной борьбе пустить в оборот суждения критики 20—30-х годов, не разделяя ее мнений по существу, просто ради хорошо рассчитанных тактических целей. Все было, конечно, гораздо сложнее. В отзывах Полевого и Надеждина о Пушкине Чернышевский неподдельно сочувствовал требованию проблемной новизны, емкости художественной мысли, остроты видения современности. И поэтому был уверен: «хотя в суждениях «Телескопа» о Пушкине и много ошибочного» (кстати, в качестве примера указаны преувеличенные толки Надоумко о богатстве нашей литературы, но не промахи в высказываниях о Пушкине!), «несомненно то, что в основаниях этих суждений есть много и дельного» (II, 495—496). Вот это дельное и было главным в глазах Чернышевского², и он, как говорится, с чистой совестью мог его включать в современные дискуссии.

Непосредственным и ближайшим объектом полемики были

ский объяснил «осуждение» Пушкина Н. И. Надеждиным тем, что его произведения не соответствовали представлениям критика о громадных творческих возможностях автора «Бориса Годунова» (см. III, 157—158). Такая формулировка, конечно, смягчала противоречия между поэтом и его критиком, но тем показательнее, что в статьях о Пушкине слово было предоставлено самому Надеждину и его «осуждающие» выводы продемонстрированы в их «природном виде».

¹ О Полевом и Надеждине как критиках Пушкина см.: кроме общих работ об этих авторах, статьи А. Г. Гукасова. Из истории литературно-журнальной борьбы второй половины 20-х годов XIX в.—«Ученые записки» Московского педагог. института им. В. И. Ленина, т. 115. Кафедра русской литературы, вып. 7, 1957; В. Г. Костин. «Евгений Онегин» в русской критике 20-х и начала 30-х годов XIX в.—«Ученые записки» Калининского педагогического института, т. 19, вып. 2, 1957.

² Поэтому грешит неточностью автор интересной статьи «Н. И. Надеждин—предшественник Белинского» Ю. Манн, когда как-то слишком неожиданно замечает, будто «критика Надеждиным Пушкина не казалась ему (Чернышевскому) столь уж ошибочной» («Вопросы литературы», 1962, № 6, стр. 147). Впрочем, сами суждения Надеждина проанализированы Ю. Манном свежо и обстоятельно—и прежде всего потому, что поставлены в связь с эстетической системой критика.

для Чернышевского статьи Дружинина о Пушкине. И критика 20—30 гг. показана им как своеобразный антагонист Дружинина и своеобразный же предшественник Чернышевского в понимании творчества Пушкина и его места в истории русской литературы. Недаром в начале третьей статьи Чернышевский подчеркнуто откровенно заявил: «Взгляд на отзывы, возбужденные в журналах произведениями Пушкина, послужит опорой собственным нашим заключениям о различных фазисах поэтической деятельности Пушкина...» (II, 477).

В самом деле, Чернышевский показал, что критика 20—30-х годов не только не была пуста и ничтожна, но, даже во многом ошибаясь, сумела по-своему отразить неудовлетворенность публики произведениями Пушкина 30-х годов, поставить вопрос об отсутствии в его творчестве этого периода такого содержания, которое соответствовало бы живым потребностям времени. Выходило, что споры критики с Пушкиным отнюдь не результат ее мелочности, придирчивости, недоброжелательства, личного пристрастия (Чернышевский подробно доказывает объективность суждений Полевого и Надеждина, их чрезвычайно высокое мнение о поэте), а неизбежное следствие расхождения общества с поэтом, когда он, — во всяком случае, по представлениям современной критики, — «покинул область живых стремлений для областей холодной художественности» (II, 488).

Чернышевский не мог не знать, что расходился с Белинским и в ряде своих суждений о Полевом и Надеждине, и в общей оценке отношения к Пушкину современной ему критики и что формально Дружинин гораздо ближе к Белинскому. Напомним, что в 1841 г. Белинский писал: «Критики того времени безусловно восторгались произведениями Пушкина до той самой поры, как гений его возмужал: не подозревая того, что он им стал уж слишком не по плечу, они, по свойственному человеческой слабости самолюбию, заключили, что он пал» (V, 297)¹. В седьмой статье о Пушкине Белинский отметил, что эта перемена началась с выхода «Полтавы» (см. VIII, 402), — тезис, также повторенный Дружининым. Что касается мнений Полевого о Пушкине, то в своей итоговой характеристике издателя «Московского телеграфа» Белинский писал в 1846 г.: «Полевой отступил от Пушкина, как от отсталого поэта, в ту самую минуту, когда тот из поэта, подававшего великие надежды, начал становиться действительно великим поэтом...» (IX, 694). Резко критически относился Белинский и к статьям Надеждина-Надоумко о Пушкине².

Различный подход Чернышевского и Белинского к критике

¹ Цитируем по изданию: В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., тт. I—XIII, М., Изд-во АН СССР, 1953—1959; ссылки даются в тексте.

² На это указал в четвертой статье пушкинского цикла и сам Чер-

20—30-х годов объясняется различием задач, решавшихся ими. Белинскому важно было подчеркнуть слабости критики «Телеграфа» и «Телескопа», чтобы идти вперед. Для Чернышевского это уже пройденный этап. Для него актуальнее задача — показать достоинства и историческую роль Полевого и Надеждина. В статьях же о Пушкине к этому прибавилась и чисто полемическая цель — противопоставить наиболее ценное в опыте «Телеграфа» и «Телескопа» «эстетической» критике 50-х годов.

«Расхождение» с Белинским создавало для Чернышевского известные неудобства и в развернувшейся журнальной полемике. Так, А. Григорьев, обрушившийся в «Москвитяине» на статьи Чернышевского о Пушкине, обвинил его в попытке «оправдать» современную Пушкину критику и, разумеется, не преминул «столкнуть» Чернышевского с Белинским¹. Но тем показательнее, что Чернышевский, конечно, предвидевший такой полемический маневр, гибко и решительно осуществлял «переоценку» критики 20—30-х годов.

Повторяем, главное в данной связи не в том, прав или не прав Чернышевский в оценке Полевого и Надеждина (многое он сам уточнит в своих «Очерках гоголевского периода русской литературы»), а в том, что он увидел в статьях «Телеграфа» и «Телескопа» о Пушкине, и как он их противопоставил концепции Дружинина.

А противопоставление это последовательно осуществляется Чернышевским по нескольким линиям.

Прежде всего он показывает, что расхождение писателя с потребностями времени, недооценка или игнорирование их — это не только не достоинство художественного творчества, даже не нечто нейтральное для него, а явление пагубное, способное сделать писателя еще при жизни чужим и ненужным обществу. Очевидно, что этот вывод направлен против теории «чистого искусства» и должен был заставить задуматься над теми вполне реальными опасностями, которые связаны для художника со следованием этой теории.

Но доказывает все это Чернышевский на конкретном примере — на творчестве Пушкина. И критика 20—30-х годов выступает, благодаря его освещению, как антагонист дружининской концепции, как аргумент против апологии выдуманного Пушкина-олимпийца, «нашего незлобного, любящего,

нышевский (см. II, 498). См. также: В. С. Нечаева, В. Г. Белинский. Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». 1829—1836. Изд-во АН СССР, 1954, стр. 197—198.

¹ См.: А. Григорьев. Замечания об отношениях современной критики к искусству.—«Москвитяин», 1855, № 13 и 14, особенно стр. 133—143. Характеристика статьи Григорьева дана нами в работе «Николай Чернышевский и Аполлон Григорьев» (к творческой истории «Очерков гоголевского периода русской литературы»).— «Научные доклады высшей школы». Филологические науки, 1961, № 3.

великого поэта» (А. В. Дружинин, VII, стр. 61). Если такой Пушкин не находил понимания и сочувствия уже у своих современников, *такому* ли Пушкину по силам вести за собою литературу новой эпохи — 50-х годов — и указывать ей путь, как этого требует Дружинин! Удар, таким образом, на сей раз наносится по самой сердцевине литературно-тактических замыслов врагов гоголевского направления.

Наконец, поскольку Дружинин оправдывал «приверженность» Пушкина «чистому искусству» также и непониманием критикой произведений поэта, а Чернышевский последнее обстоятельство оспаривал, то тем самым ставился под сомнение и этот аргумент не слишком убедительной системы доказательств Дружинина. Заслуживает внимания, что в четвертой статье о Пушкине Чернышевский вновь вернется к этому вопросу. И с горечью констатировав, что «есть люди, думающие, будто «чернь» была в самом деле кругом виновата и что Пушкин был совершенно прав в своем образе мыслей о призвании поэта» (II, 511)¹, «одним из важнейших оснований» такого мнения он назовет ошибочную уничижительную оценку критики 20—30-х годов. Это «основание» Чернышевский и разрушал.

Как видим, материалы критики 20—30-х годов получают под пером Чернышевского неожиданный и смелый поворот, включаются в борьбу за передовые литературно-эстетические критерии, против «артистизма» Дружинина.

Но это не значит, что позиция Чернышевского во всех отношениях отличается последовательностью, безукоризненной цельностью. Напротив, она внутренне противоречива, а отчасти и ошибочна в оценке творчества Пушкина. Мы не можем здесь входить в подробное освещение этого вопроса, не раз привлекавшего уже внимание исследователей². Коснемся лишь тех моментов, которые имеют непосредственное отношение к нашей теме.

¹ В комментариях к полному собр. соч. Н. Г. Чернышевского (см. П., 962) говорится, что это высказывание направлено против А. В. Дружинина («Пушкин и новое издание его сочинений») и А. А. Григорьева—автора статьи «Замечания об отношении современной критики к искусству» («Москвитянин», 1855, т. IV, №№ 13 и 14). Однако в действительности Григорьева Чернышевский не мог здесь подразумевать, ибо названная его статья появилась месяца на полтора позже четвертой статьи Чернышевского о Пушкине и сама в значительной мере была посвящена полемике с ней. Хотя на обложке №№ 13 и 14 «Москвитянина» и значится «июль» (это, видимо, и ввел в заблуждение комментатор), цензурное разрешение на них было дано лишь 27 сентября 1855 г.

² Н. Бельчиков. Пушкин в оценке революционно-демократической критики 60-х годов.—В кн.: Пушкин. Сборник статей. Труды Моск. ин-та истории, философии и литературы им. Н. Г. Чернышевского, М., Гослитиздат, 1941, стр. 292—314; Б. Бурсов. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов. М., Гослитиздат, 1953, стр. 166—174; А. Лаврецкий. Чернышевский.—В кн.: «История русской критики», т. II, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 58—62.

Исходить здесь следует, по-видимому, из противоречий и слабостей Чернышевского в понимании существа и исторической роли творчества Пушкина. Признание первостепенной важности этой роли сочетается, по крайней мере, в отдельных высказываниях (но не они ведь отражают мнение критика!), а не в восстанавливаемой объективной логике общей историко-литературной концепции Чернышевского, с недооценкой социальной значимости и остроты произведений Пушкина, его враждебности антигуманистической общественной среде.

Такая точка зрения имела неожиданное последствие: Чернышевский как бы признает справедливой дружининскую оценку общего характера творчества Пушкина, его отношения к действительности — с одной стороны, к теории «чистого искусства» — с другой. И, по верному замечанию А. Лаврецкого, Чернышевский приходит к «формулировкам, которые подчас совпадают с дружининскими, только с отрицательным знаком»¹. Необходимо только оговорить, что Чернышевский не противопоставляет Пушкина Гоголю, а, вслед за Белинским, говорит о преемственной связи автора «Мертвых душ» с автором «Евгения Онегина» как художником, чьей деятельностью ознаменован целый исторический этап развития русской литературы.

Но вот теперь-то и раскрывается парадоксальность той ситуации, которая столь своеобразно характеризует третью и, как увидим, во многом и четвертую статьи Чернышевского о Пушкине. В чем эта парадоксальность? В том, что совершенно неправомерно, вопреки и собственным высказываниям, «принимая» («неотрицание» становится формой «приятия») утверждения своего противника о Пушкине как «чистом» художнике, приверженце теории «искусства для искусства», Чернышевский во многом признает оснополагающую роль «отца нашей поэзии» (II, 516) в судьбах русской литературы и вместе с тем ведет войну против самой этой теории, выдвигает содержательные и веские возражения, опровергает те эстетические принципы и критерии, на которых держатся и «чистое искусство» и эстетская критика². Объект для критики (Пушкин!) избран необоснованно, но аргументы выставлены

¹ А. Лаврецкий, назв. работа, стр. 59.

² А она незамедлительно пыталась использовать эти критерии не только для определения общих перспектив литературного движения, но и для частных оценок, которые, в свою очередь, должны были подтвердить правоту ее прогнозов. Так, в статье о стихотворениях Я. Полонского, опубликованной в № 11 «Современника» за 1855 год (Отдел III, стр. 1—20), Дружинин, считая одним из основных свойств поэзии «примирять нас с жизнью» (стр. 2), находил творчество Полонского как «скромного, но честного деятеля пушкинского направления» (стр. 19) в главном соответствующим этой задаче. О борьбе Дружинина в названной статье с Некрасовым за Полонского см.: М. Ги н. Н. А. Некрасов — литературный критик. Петрозаводск. Госиздат Карельской АССР, 1957. стр. 110.

серьезные, выводы сделаны важные и поучительные для современного литературного движения. Разумеется, противоречия и ошибки Чернышевского не могли идти на пользу делу. Однако, пробиваясь через них и все-таки порою находясь в их власти, он и здесь проявил такую целеустремленность, такую заинтересованность в прогрессе литературы и критики, которые позволили ему и в этом трудном случае служить передовой России.

3.

Борьба против эстетского извращения литературно-художественных критериев, против ложного понимания путей и перспектив русской литературы продолжалась и в четвертой, заключительной, статье пушкинского цикла Чернышевского¹.

Но если в предыдущей статье, как и в статье «Об искренности в критике», она велась «с помощью» литературной критики 20—30-х годов, то теперь Чернышевский берет себе в союзники В. Г. Белинского. Это последнее обстоятельство важно оценить по достоинству, понять, какое принципиальное и конкретно-историческое значение оно имеет. Обычно, как известно, первым развернутым выступлением Чернышевского в защиту традиций Белинского, первой большой работой революционера-шестидесятника, включающей наследие его великого предшественника в общественно-литературную борьбу новой эпохи, считаются «Очерки гоголевского периода русской литературы». (Диссертации Чернышевского, как работе теоретической, здесь принадлежит своеобразное место, и о ней поэтому разговор большей частью ведется в связи с развитием эстетической мысли и вне связи с собственно литературным движением). Между тем, предшествующая «Очеркам» четвертая статья пушкинского цикла Чернышевского, целиком посвященная взглядам Белинского на Пушкина, была и актом борьбы за Белинского и *с помощью* Белинского против недругов критического реализма.

Уже сам по себе «переход» от Полевого и Надеждина к Белинскому для противопоставления его современной критике свидетельствовал и об усложнении литературной борьбы и о повышении требований Чернышевского. Борьбе за мысль, последовательность, прямоту литературы и критики соответствовало сопоставление новейшей критики с творчеством Полевого и Надеждина. Борьбе за утверждение литературы и критики на позициях критического реализма — следующей стадии в развертывании программы Чернышевского — соответствовало соотнесение современной критики с концепцией и опытом Белинского. Это свидетельствовало, наконец, и просто о том, что творческое наследие Белинского — наряду с наследием Гоголя и Пушкина — вовлекается в острые споры о

¹ «Современник», 1855, № 8, Отдел III, стр. 27—52.

судьбах русской литературы. Вопросы методологические и литературно-исторические вновь представляли в своем внутреннем единстве.

В статье Чернышевского через оценку творчества Пушкина идеи Белинского, с одной стороны, соотнесены с задачами литературы в современных условиях, а с другой,—противопоставлены концепции Дружинина. Помимо всего прочего это означало своеобразное историческое испытание и наследия Белинского, и «новых» построений Дружинина, утверждение одних и отрицание других литературно-эстетических принципов и критериев.

Поэтому, в конечном счете, статья Чернышевского шире своего непосредственного задания. Впрочем, можно сказать и иначе: значительность непосредственного задания, мастерское привлечение работ Белинского сделали статью Чернышевского фактом широкого литературно-эстетического значения.

Об этом свидетельствует уже то, как Чернышевский вводит Белинского в полемику с Дружининым. Белинский появляется на страницах статьи Чернышевского не как критик, у которого можно найти два-три ударных аргумента против своих оппонентов, а как создатель наиболее глубокой и плодотворной концепции творчества Пушкина. Но и это еще не все. В дальнейшем выясняется, что речь, в сущности, идет о жизненности всего основного и наиболее злободневного в историко-литературных взглядах Белинского в целом, в его представлениях о задачах русской литературы и путях их осуществления. На материале суждений критика о Пушкине (а отчасти и о Гоголе) Чернышевский разворачивает борьбу за творческое наследие Белинского в целом¹.

В этом же плане, и, вместе с тем, как предметный урок современной критике надо расценивать и общую характеристику наследия Белинского в статье Чернышевского. Знаменательно, что эта характеристика выливается прежде всего в оценку *общественно-литературной позиции* Белинского. Для него «развитие русской литературы» было выше увлечения «самыми милыми именами». Но и само это развитие он ценил не как самоцель, а как «двигательницу жизни и просвещения» (II, 501). И вот именно позиция жизни и позволяла Белинскому подняться над мелочностью, случайностью, пристрастием оценок. И хотя критик, на взгляд Чернышевского, не всегда делает конечный вывод из своих суждений, но для мыслящего читателя он и так ясен.

¹ В том же номере «Современника», где печаталась статья Чернышевского, Некрасов в «Заметках о журналах за июль месяц 1855 года», имея в виду прежде всего Белинского, с горечью говорил о честных и благородных тружениках русской литературы, «славных и обойденных почему-либо славою...» (см. Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М., Гослитиздат, 1950, стр. 287).

Характеристика Белинского звучала как органическое развитие мыслей, высказанных Чернышевским в статье «Об искренности в критике». Но теперь они прямо подкреплялись авторитетом Белинского и были преднамеренно заострены против Дружинина и всей «эстетической» школы.

И другое замечание делает Чернышевский, на этот раз по поводу критического метода Белинского (да и не только Белинского). Чернышевский пишет: «...для истинного критика рассматриваемое сочинение очень часто бывает только поводом к развитию собственного взгляда на предмет, которого оно касается вскользь или односторонне. Так произошла большая часть увлекательных эпизодов, которыми богаты статьи о Пушкине. Это не всегда понимают и не всегда отличают мысли критика от понятий, высказанных в разбираемом произведении, считая критика только простым комментатором автора» (II, 501).

Конечно, мысль эта высказана с очень конкретной полемической целью — разграничить содержание произведений Пушкина и то, что сказано по их поводу Белинским. Но очевидна и методологическая направленность мысли Чернышевского. Она заслуживает тем большего внимания, что здесь ставится вопрос, который и для Добролюбова и для Писарева станет одним из центральных в теории и практике литературной критики. Вопрос, вокруг которого в значительной степени будет концентрироваться борьба «за» и «против» революционно-демократической критики.

Мы не будем углубляться в суждение Чернышевского. Отметим только диалектичность его подхода к проблеме. Он считает правомерным для критика входить в самостоятельные рассуждения о предмете художественного произведения и тем самым санкционирует так называемую публицистическую критику. Но одновременно Чернышевский разграничивает в критической статье то, что идет от самого художника, и то, что принадлежит собственно критику. Здесь нет противопоставления, но нет и «отождествления». Таково одно из ранних программных заявлений революционной демократии 60-х годов о характере критики, которую Добролюбов назовет «реальной».

Из арсенала суждений Белинского о Пушкине Чернышевский берет, в основном, те, которые особенно действенны в борьбе с Дружининым. Но они касаются и объективно центральных в ту пору проблем пушкинского наследия.

Надо только все время иметь в виду ту сложность и противоречивость воззрений Чернышевского на творчество автора «Евгения Онегина», о которой напоминалось выше. Ибо эти противоречия отразились и на подходе критика к суждениям Белинского, ощутимо ограничив здесь возможности Черны-

шевского, порою побуждая его больше следовать букве, чем духу воззрений своего предшественника.

Центральным для Чернышевского является вопрос, полностью ли были реализованы (конечно, в принципиальном смысле, а не просто в способности создавать новые вещи) творческие возможности Пушкина, до конца ли успел он высказаться в своих произведениях. Или иначе: закончился ли пушкинский период русской литературы?

А. Дружинин, и здесь по существу полемизируя с Белинским, настаивал на отрицательном ответе, усматривая «в последних трудах Пушкина» «зародыш» чего-то «великого» (VII, 81), достойного «поэта *европейского*» (VII, 82), а затем и прямо провозглашая Пушкина, в противовес Гоголю, главой современной литературы.

Н. Чернышевский иного мнения, прямо противоположного. Обосновывая его, он прибегает к аргументам неодинаковой убедительности. Когда он пытается доказать, что в последние годы жизни Пушкин «не написал ни одного значительного художественного произведения» (II, 503), это выглядит тенденциозно. Но когда он обращается к выпискам из Белинского и говорит о достоинствах безусловных и достоинствах временных в творчестве Пушкина, о том в его наследии, что принадлежит будущему, и о том, что порождено преходящими условиями эпохи поэта; когда, наконец, выясняется, что исторически Пушкин не антагонист, а предшественник и в известном смысле учитель Гоголя, тогда Чернышевский мастерски распознает и обращает против догматики Дружинина великолепный *историзм* Белинского. Тогда и самый этот историзм начинает сверкать новыми красками, вызывая доверие и уважение и к тем общеэстетическим принципам, которые за ним стоят и его питают собою (зависимость литературы от действительности, от динамики общественных запросов, социальная «отзывчивость» и активность литературы и т. д.).

В творческой судьбе Пушкина нельзя было до конца разобраться, не определив его отношение к теории «искусства для искусства». Тем более, что «эстетическая» критика, как хорошо известно, выдавала творчество Пушкина за олицетворение и авторитетное оправдание этой теории. Уже в предыдущей статье начав борьбу против этой легенды, Чернышевский ведет ее теперь с помощью Белинского. Но ведет не без существенных потерь. Чернышевский обнаружил склонность скорее опереться на отдельные формулировки Белинского, чем на систему его суждений о Пушкине. Порою критик делает даже шаг назад по сравнению с первыми двумя статьями своего цикла.

В самом деле, Чернышевский исходит из известных положений Белинского о Пушкине как поэте-художнике, усвоив-

шем русской земле поэзию как искусство, — заслуга серьезная, но, в конце концов, имеющая ограниченное значение. Ибо дело такого поэта, как Пушкин, оказывается всего лишь прологом по отношению к действительно полноценному — и со стороны содержания, и со стороны формы — художественному творчеству. Это доказывается и тем, что совершенствование художественных достоинств произведений позднего Пушкина сопровождалось усиливавшейся холодностью публики к ним. «Торжество художественной формы над живым содержанием» (II, 516), — такова, по Чернышевскому, причина этого факта.

Сейчас для историка несомненно, что таким выводом нельзя выразить существо воззрений ни Белинского, ни самого Чернышевского на творческое наследие Пушкина. Больше того, нетрудно усмотреть, что подобной постановкой вопроса Чернышевский обнаруживал известную неустойчивость своего понимания художественности и тем самым, пусть временно и невзначай, практически делал некую уступку... эстетизму. Ведь говорит же он о художественности, которая свободна от общественно значительного идейного содержания. А только это и требовалось «эстетической» критике.

В результате у Чернышевского получалось, что, хотя Белинский и противопоставлен Дружинину, но это противопоставление касается скорее не *существа* версии о Пушкине — «чистом художнике», а *отношения* к ней: то, чему рукоплещет Дружинин, Белинский по-плебейски сурово осуждает. Надо признать, что это была не самая лучшая позиция для борьбы против Дружинина.

И все-таки Чернышевский защищал Белинского от лицемерной попытки Дружинина выдать свою апологию мнимого Пушкина-эстета за продолжение традиций передовой критики 40-х годов. Чернышевский показал различие идейно-эстетических позиций и критериев у Белинского и Дружинина, показал, что они — люди разных лагерей.

В четвертой статье пушкинского цикла Чернышевский начинает полемику и по вопросам *народности литературы*. И на этот раз спор идет по поводу творчества Пушкина, но и сейчас он по существу имеет гораздо более широкое, программное значение.

Чернышевский выступает против мнения, повторяемого и ныне как отголосок суждений «Телеграфа» и «Телескопа», будто «заслуга Пушкина преимущественно состоит в народном элементе, который ввел он в нашу литературу» (II, 506). Конечно, нельзя забывать, что в 50-х гг. это утверждение имело уже иной смысл, чем в 20—30-х, и в условиях борьбы «пушкинского» и гоголевского направлений заострилось против критического реализма. Недаром именно Дружинин в своих

статьях о Пушкине, с которыми полемизирует Чернышевский, назвал его «нашим народным поэтом» (VII, 31)¹.

В противоположность этой точке зрения, которую он считает лишенной внутреннего содержания, Чернышевский настаивает на том, что своеобразие Пушкина и его роль в истории русской литературы будут охарактеризованы достаточно полно и точно, если назвать его, вслед за Белинским, просто «первым нашим поэтом» (II, 507), т. е. первым поэтом-художником. Разумеется, он и не думает отрицать, что поэзия Пушкина есть поэзия русская, а не немецкая или китайская, но находит это само собою разумеющееся и элементарное свойство творчества Пушкина еще недостаточным для обязывающих выводов о его народности.

И в этом случае Чернышевский обращается к статьям Белинского. Известно, что суждения Белинского относительно народности Пушкина отличаются большой внутренней сложностью, которая может быть раскрыта лишь в системе эстетических и историко-литературных воззрений критика². Всем анализом наследия Пушкина Белинский показывал, что художественное совершенство, верность действительности, высокогуманное чувство, непреходящее нравственно-воспитательное значение делают его подлинно народным поэтом. Однако в прямых итоговых суждениях (типа того, которое из пятой статьи пушкинского цикла приводит Чернышевский) критик не признает полного права Пушкина называться «русским национальным, народным поэтом» (VII, 332 и след.). Для этого у Белинского были свои соображения. Он ссылаясь и на неизвестность «всему народу» произведений Пушкина и, в особенности, на историческую непроясненность самого содержания русской национальности в том смысле, что важнейшие для нее жизненные вопросы еще должны быть решены: «Россия по преимуществу — страна будущего...» (VII, 336), — многозначительно намекал критик.

Но была в его концепции и другая сторона, может быть, практически еще более существенная. Дело в том, что Белинского не удовлетворяла степень сознательности и мера критичности пушкинского отношения к действительности. И он, в известном смысле ограничивая роль Пушкина, ставил перед литературой 40-х годов задачу решительного обогащения традиций автора «Евгения Онегина». Знаменательно, что осуществление этой задачи связывалось им прежде всего с разви-

¹ Ср. ироническое замечание Чернышевского, по-видимому, в адрес Дружинина: «...мы до сих пор... слышим рассуждения о Пушкине не как о первом нашем поэте» (II, 507).

² См.: Б. Бурсов. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов, стр. 43—54; Д. Благой. Белинский и Пушкин.—В сб. «Белинский—историк и теоретик литературы». М.-Л., Изд-во АН СССР, 1949, стр. 235—271.

тием критических возможностей реализма, с укреплением «субъективности» деятелей передовой литературы.

В подходе к суждениям Белинского обнаруживается и сила и относительная ограниченность взглядов Чернышевского. Обстоятельства сдерживали развитие историзма Чернышевского в оценке творчества Пушкина, а в этой связи и концепции Белинского и, напротив, способствовали проявлению просветительских установок. Ограничение или даже отрицание народности Пушкина было в этих условиях более естественно для Чернышевского, чем признание ее наряду, скажем, с народностью Гоголя, хотя это отнюдь не предполагает отождествления конкретного содержания и смысла той и другой. Поэтому Чернышевский оказывается здесь на уровне отдельных высказываний Белинского, а не на уровне всей его концепции. Он берет из наследия своего предшественника то, что позволила увидеть его эпоха, и так поворачивает взятое, как она того требует.

Но по этой же самой причине Чернышевский и проясняет ту внутреннюю *перспективность*, которая заключена в суждениях Белинского о проблеме народности применительно к творчеству Пушкина. Высказываясь о народности по поводу наследия автора «Евгения Онегина», Чернышевский — пусть пока еще в основном в негативной форме — ставил перед русской литературой важнейший вопрос о подлинной народности в современных условиях, о борьбе за нее на основе развития гоголевских традиций. Разумеется, не следует антиисторически «ускорять» ход событий и усматривать в статье о Пушкине ту же постановку проблемы народности, что и в последующих работах Чернышевского и Добролюбова. И эта проблема обладала в 60-х годах своей сложной внутренней динамикой. Но, может быть, тем характернее, что уже в середине 1855 г. Чернышевский очень определенно дал понять, что имеет в этом вопросе свои особые взгляды и будет решительно противодействовать попыткам измельчить и опустошить понятие народности литературы.

Таким образом, Чернышевский подходит и здесь к Белинскому с позиций своей эпохи. Откликаясь на запросы времени и правильно определяя перспективы литературы, он выделяет в наследии Белинского то, что особенно близко новой эпохе. Этим самым Чернышевский на деле подтверждал действительность идей Белинского, выступая преемником и продолжателем его традиций.

Так в практике литературно-общественной борьбы стали как бы различными гранями единой проблемы развития русской литературы и вопросы критики, и эстетические критерии, и оценка наследия Белинского, и борьба вокруг «пушкинского» и гоголевского направлений. Статьи Чернышевского о Пушкине и были в 50-х годах одним из первых и знамена-

тельных боев против эстетизма, против фальсификации наследия Белинского, Гоголя, Пушкина¹. Особую значимость в истории литературы и критики им придает то обстоятельство, что решение всех основных проблем ведет у Чернышевского к целеустремленной разработке важнейших литературно-эстетических категорий и критериев (искусство и действительность, концепция художественного произведения, художественность, народность и др.), которые вооружали передовую критику для борьбы за дальнейшее развитие реализма на новом этапе общественно-литературного движения².

¹ Как установлено Ю. Г. Оксманом, конечные выводы Чернышевского в последней статье его пушкинского цикла отразились на итоговых формулировках, которыми завершается работа Н. А. Добролюбова «Александр Сергеевич Пушкин» (см. комментарии к изданию: Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. 1, Гослитиздат, 1934, стр. 618). Суждений Добролюбова о Пушкине мы касаемся в статье «История и современность». — «Вопросы литературы», 1961, № 11.

² После того как наша статья была доложена на научной конференции в Харьковском университете (1959) и сдана в настоящий сборник, появилось исследование Д. К. Мотольской «Работа Н. Г. Чернышевского над анненковскими материалами для биографии А. С. Пушкина». (Учебные записки» Ленинградского педагогич. института им. А. И. Герцена, т. 245, 1963), содержащая ряд новых наблюдений и выводов. В частности, автор высказывает сомнение, правомерно ли считать статьи Чернышевского о Пушкине «единым циклом, т. к. первые две и две последние расходятся как по своему замыслу, так и по методу и даже по некоторым выводам» (стр. 263).

Т. И. УСАКИНА

К ИСТОРИИ СТАТЕЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО О ТОЛСТОМ

1.

Среди многочисленных критических отзывов о Л. Толстом первое место по глубине проникновения в своеобразие художественного метода писателя принадлежит статьям и высказываниям Чернышевского. Определение психологизма как «диалектики души», подчиненной прояснению высокого нравственного чувства, уже многие годы служит своего рода ключом при изучении творчества Толстого.

На первых порах в суждениях Чернышевского усматривалась «известная доля неискренности», вызванная стремлением «залучить» Толстого в свой журнал¹. Со временем несправедливость этих мотивировок стала очевидной, и «высокая оценка психологизма Толстого» была поставлена в прямую связь «со всей эстетикой Чернышевского, его материалистической теорией познания»². В последних работах указывается уже и на объективное совпадение взглядов писателя с социалистическими чаяниями Чернышевского. «Толстого, как и Достоевского, — утверждает Б. И. Бурсов, — невозможно понять вне истории социализма»³.

Конкретизируя эту плодотворную мысль, Б. И. Бурсов отмечает, что идейное развитие Толстого совершалось все-таки «помимо социализма и вопреки социализму». Духовная драма писателя, по мнению исследователя, заключалась «в отсутствии связи Толстого с активными общественными силами России, готовившимися к преобразованию жизни»⁴.

¹ Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Кн. I, Л., изд. «Прибой», 1928, стр. 257; В. Спиридонов. Л. Н. Толстой. М., Гослитиздат, 1943, стр. 29—30; В. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове», М., ГИХЛ, 1936, стр. 82—83.

² А. И. Шифман. Чернышевский о Толстом. — В кн.: Л. Н. Толстой. Сборник статей и материалов. М., изд. АН СССР, 1951, стр. 210.

³ Б. Бурсов. Лев Толстой. Идейные искания и творческий метод. 1847—1852. М., ГИХЛ, 1960, стр. 40.

⁴ Там же, стр. 40—42.

Несколько иную позицию в оценке духовного формирования Толстого занял Б. М. Эйхенбаум. С его точки зрения, созвучие мысли Толстого-художника передовой демократической идеологии было следствием пристального интереса писателя к наследию Белинского и Станкевича, раздумьям Герцена, Тургенева. Б. М. Эйхенбаум заговорил и о воздействии на молодого Толстого социалистических теорий петрашевцев¹.

В непосредственном соприкосновении с идеями петрашевцев складывалось и мировоззрение Чернышевского. Этот общий источник не мог не сказаться на создании представленной Чернышевского и Толстого о человеческой природе и ее потребностях, о процессе познания, задачах литературы, художественном методе ее. Все это определило во многом и характер статей Чернышевского о Толстом. Предыстория создания их—предмет настоящей работы, в которой сделана попытка уяснить отношение Чернышевского к Толстому в свете передовой идеологии конца 40-х — начала 50-х годов, представленной исканиями петрашевцев. Отсутствие прямых свидетельств о знакомстве Толстого с социалистической литературой заставляет быть осторожным в выводах о непосредственной связи его раздумий с социалистическими теориями. В этом смысле указание Б. И. Бурсова на «объективность» сближения Толстого с социализмом, конечно, не лишено оснований. Но категоричность заявления о развитии писателя «вопреки социализму» все же нуждается в существенных оговорках.

2.

«Социальное содержание», — замечает Б. И. Бурсов, — облечено у Толстого в «моральную форму». Именно поэтому ранние произведения его проигрывали в своей актуальности, а герои их лишь «безответно шли по тому пути, что и передовые современники»².

Так ли это? Является ли «моральная форма» достоянием одного Толстого? Не была ли она свойственна и взглядам его «передовых современников»? Другими словами, что представляли собою социалистические верования эпохи, определившей духовное развитие писателя?

Одним из самых значительных документов по истории русского социализма является знаменитый «Карманный словарь иностранных слов», изданный Петрашевским совместно

¹ Б. Эйхенбаум. Наследие Белинского и Лев Толстой.—«Вопросы литературы», 1961, № 6; Б. Эйхенбаум. Накануне.—«Литературная газета» 1960, 17 ноября. В эти же годы псывились и разыскания Е. Г. Бушканца, подтверждающие связь Толстого с петрашевцами. См. «Годы открытий...», «Советская Татария», 1960, 20 ноября.

² Б. Бурсов, указ. соч., стр. 130.

с В. Н. Майковым, Р. Р. Штандманом, бр. А. Н. и Н. Н. Бекетовыми и др.¹. Воспользовавшись безобидной формой словаря, петрашевцы изложили в нем свои задушевные убеждения, пропагандируя достижения передовой европейской философии и социологии.

Социализм, — разъясняли авторы словаря, — базируется на *«общем и единодушном стремлении всех содействовать к полному благосостоянию и благоденствию каждого»*².

Отвергая формализм и аскетизм церковной морали, петрашевцы прокламировали, вслед за Сен-Симоном и Л. Фейербахом, «новую религию», обоготворявшую человека как «высшее существо», *«властелина и устроителя всей видимой природы»*. «Гармонический человек» был провозглашен источником и целью прогресса. Для проникновения в «тайны» общественного быта, — подчеркивалось в словаре, — необходимо «исследование» человеческой природы как важнейшей предпосылки к изменению и обновлению жизни.

«Переходя к словесности, — указывалось там же, — нельзя не заметить, что при таком положении вещей любимым миром для воображения поэта должен стать внутренний мир человека; не факты должны вдохновлять его, а их источник». В литературе, — отмечалось дальше, — «водворяются те роды поэзии, которые соответствуют потребностям современного гения — анализу внутреннего человека»³.

Именно поэтому творчество молодого Достоевского было определено как новый (после Гоголя) этап в литературе, связанный с исследованием «анатомии души» средствами «поразительно глубокого психологического анализа»⁴. Содержание этого анализа петрашевцы связывали со стремлением обнажить под слоем «странных и смешных приличий» «естественные и прекрасные побуждения», показать «личность как ступень к чистоте человеческого типа», дополнить гоголевское направление «утверждением положительных идеалов». «Сознание идеала одно только и может дать смысл и крепость анализу и отрицанию...», — указывал В. Майков, — иначе чело-

¹ Первый выпуск был издан в 1845 г., второй — в 1846. Почти весь тираж второго выпуска был конфискован цензурой. Историю издания см. в кн. А. И. Мален и П. Н. Берков. Материалы для истории «Карманного словаря иностранных слов» Н. Кирилова. — «Труды института книги, документа, письма АН СССР», т. III, ч. II, М., 1934. Серьезный источник для изучения утопического социализма в России видит в «Словаре» и И. Зильберфарб. См. монографию его «Социальная философия Шарля Фурье». М., изд. «Наука», 1964, глава 8.

² «Карманный словарь иностранных слов». — В кн.: Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., Госполитиздат, 1953, стр. 187.

³ Там же, стр. 342, 184, 269—270.

⁴ Нечто о русской литературе в 1846. — «Отечественные записки», 1847, № 1; В. Н. Майков. Сочинения, т. 1, Киев, 1901, стр. 207—209.

вечество утратило бы всю энергию живых стремлений и осталось бы без ответа на призывы бытия»¹.

В обоих выпусках «Карманного словаря» проблема идеала — одна из главных. Маскируя социалистический смысл своих суждений за внешне нейтральными понятиями «наивность», «нормальное состояние», «мораль» и т. п., составители словаря пытались ввести читателя в мир новых «нравственно-разумных» человеческих отношений. При этом они отнюдь не идеализировали «естественную наивность», хотя и ценили ее как «протест противу внешних форм быта общественного», как природное стремление человека к его «нормальному состоянию», т. е. «гармонии общественных отношений». Полемизируя с руссоистскими призывами к «бессознательности первобытной», петрашевцы требовали превратить чувственный порыв к добру в разумный принцип повседневной морали².

«Истинная мораль, или нравоучение, — одна, — говорилось в словаре, — ею может быть названа только та, которая выводит свои положения <...> из опытного исследования природы человеческой и строгого анализа всех ее потребностей <...>, ставит в священную обязанность всякому человеку всестороннее их развитие». Таким образом, исполнение нравственных предписаний сливалось в сознании петрашевцев с естественными и общественными потребностями человеческой природы, в которой, по мнению Петрашевского, «всегда был социализм и пребудет до тех пор, пока человечество не лишится способности развиваться и усовершенствоваться»³.

Разумеется, на всех этих теориях лежал отпечаток просветительского идеализма, нормативности, внеисторизма, что было вообще характерно для домарксовых форм утопического социализма. Но для своего времени учение петрашевцев оставалось самым передовым словом демократической науки, захватывало умы и души грандиозностью задач и целей: «Реставрировать образ божий человека во всем его величии и красоте... Освободить и организовать высокие страсти <...> и всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, веселую, богатства, счастья»...⁴

3.

В 1846—1847 гг. Л. Толстой, студент Казанского университета, сблизился с кружком молодежи, окрыленной теми же

¹ Стихотворения Кольцова.—«Отечественные записки», 1846, № 11; Ср.: В. Н. Майков, Сочинения. т. I, стр. 68, 69. См. также: Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 177.

² Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 176—179.

³ Там же, стр. 165, 423.

⁴ Там же, стр. 690.

надеждами, которыми жили тогда участники собраний Петрашевского.

Некоторые студенты и преподаватели из окружения Толстого были непосредственно связаны с петербургскими кружками. Так, например, переписывался с Петрашевским адъюнкт классической словесности Н. М. Благовещенский. Братья А. Н. и Н. Н. Бекетовы, перешедшие осенью 1846 г. из Петербургского в Казанский университет, еще недавно посещали «пятницы» Петрашевского и бывали в доме В. Майкова, когда там собирался его небольшой кружок (В. А. Милютин, М. Е. Салтыков, Р. Р. Штрандман и др.)¹. В петербургском кружке Бекетовых нередко бывали Ф. М. и М. М. Достоевские, А. Н. Плещеев².

В свою очередь Толстой знал В. Милютину еще с отроческих лет и восстановил дружеские контакты в 1849 г.³. На рубеже 1845—1846 гг. в Казань вернулся Н. В. Ратовский, познакомившись в Петербурге с Петрашевским и его друзьями. Социализм увлек воображение В. В. Берви, П. П. Пекарского и других казанских приятелей Толстого, которые «в скором времени приобрели в университете большое влияние»⁴. Связи казанской молодежи с петербургскими кружками были настолько значительными, что высказано даже предположение о существовании в Казани 40-х годов филиала общества петрашевцев⁵.

Восстановить сейчас содержание споров и бесед казанских студентов — дело почти невозможное. Тем более, что, по предположению Е. Г. Бушканца, казанцев успели предупредить о начавшихся арестах в Петербурге, и они уничтожили переписку и все прочие «компрометирующие» свидетельства о деятельности кружков.

Известно только, что «главнейшим органом тогдашней литературы да и умственного движения» были для казанской студенческой молодежи «Отечественные записки», которые читались и обсуждались «с большой охотой»⁶. С апреля 1846 г. критико-библиографический отдел «Отечественных записок» возглавил В. Майков, имя которого могло быть известно Толстому через Бекетовых или В. Милютину. В 1846—1847 гг. Майков выступил на страницах «Отечественных за-

¹ См. об этом: С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, I, М., 1951, стр. 213—238.

² Дело петрашевцев, т. III, М.-Л., Изд. АН СССР, 1951, стр. 39, 468.

³ Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 59, М., ГИХЛ, 1935, стр. 28. В дальнейшем все ссылки приводятся по этому изданию.

⁴ Воспоминания В. В. Берви (Н. Флеровского).—«Голос минувшего», 1915, № 3, стр. 188.

⁵ Е. Бушканец. Лев Толстой в Казани.—«Литературный Татарстан», 1954, № 9, стр. 223—224.

⁶ П. П. Пекарский. Студенческие воспоминания о Д. И. Мейере.— В сб.: «Братчина», ч. I, СПб, 1859, стр. 215.

писок» со своими программными оценками Кольцова, Гоголя, Достоевского, требуя слить «эпоху критики» с «эпохой утопии» посредством «анализа мощного, бестрепетного и торжественно-спокойного»¹.

В «Отечественных записках» 1847 г. были напечатаны и экономические статьи В. Милютина, также мечтавшего превратить «утопию в науку». Милютин был особенно близок к петрашевцам в своем понимании социализма как стремления к гармонии, заложенного в самой природе человека. Одним из коренных убеждений века Милютин считал «идею о постоянном, постепенном, бесконечном усовершенствовании человечества». «Но совершенство, как для отдельного человека, так и для целого человечества, состоит в гармоническом всестороннем развитии его способностей и сил и в полном удовлетворении всем законным его потребностям, данным ему природой и развитым образованностью. Другими словами, истинное призвание человечества заключается в непрерывном стремлении к счастью, к блаженству, к развитию своего благосостояния в физическом, материальном, умственном и нравственном отношениях»².

«В гармонии счастье человека, а счастье — цель, к которой стремится весь его организм», — писал Салтыков в первой своей повести «Противоречия», опубликованной в «Отечественных записках», 1847, № 11. В понятие «гармонии» Салтыков вкладывал мысль о «всестороннем развитии», подчеркивая, что «всякая потребность должна вытекать непосредственно из самой природы человека, которая не рассуждает, а сама в себе заключает уже непреложный закон»³.

Поиски «гармонии» и «максимума благоденствия для всех» занимали и ближайшее окружение Толстого⁴. По позднейшим признаниям Берви-Флеровского, казанская молодежь размышляла о возможности быть счастливыми, «при каждом шаге своем в жизни исходя от основной цели общего блага всего человечества»⁵. Весьма вероятно, что казанцы имели представление и о содержании «Карманного словаря», который мог быть привезен Бекетовыми. Кроме этого, они знакомились, очевидно, с социалистическими идеями и непо-

¹ В. Н. Майков. Сочинения, т. I, стр. 99, 258.

² В. А. Милютин. Избранные произведения, М., Госполитиздат, 1946, стр. 69—70.

³ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. I, М., ГИХЛ, 1941, стр. 110, 118.

⁴ В сентябре 1846 г. братья Толстые поселились на отдельной квартире, и встречи их с друзьями по университету приобрели систематический характер.—См. Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. М., изд. АН СССР, 1954, стр. 213—214.

⁵ См. автобиографию Берви-Флеровского в кн. С. А. Венгерова. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. VI, стр. 436—437.

средственно, читая сочинения Фурье, Сен-Симона, многочисленных последователей их.

В 1852—1853 г. Толстой столкнулся на Кавказе еще с двумя петрашевцами—А. И. Европеусом и Н. С. Кашкиным. Последний сошелся с Толстым на «ты» и сохранил с ним «добрые отношения до самой смерти»¹. Как известно, именно Кашкину принадлежала мысль о необходимости реформирования общественных наук на базе естествознания. Формулируя задачи «действительного познания», Кашкин призывал «понять, определить природу человека, чтобы на основании этого познания природы человека определить и цель существования его». В «Речи о задачах общественных наук» обозначилось с особой четкостью и своеобразие пантеистического натурализма петрашевцев, который именовался в словаре «антропотеизмом». «Истина не в слепой вере, не в неверии, ни в том, ни в другом метафизическом учении: истина в природе, — утверждал Кашкин. — В ней высший разум начертал волю свою, и из природы человек должен перенести ее в свою жизнь, в свое общество»².

Все эти связи, встречи, знакомства позволяют думать, что Толстой имел возможность познакомиться с теориями, которыми жила тогда вся мыслящая Россия. Однако самым убедительным свидетельством в пользу этого предположения, на наш взгляд, являются его дневниковые записи, философские этюды, «Правила в жизни», «Журнал ежедневных занятий» и др. Большинство из этих набросков, планов, записей относится к январю—апрелю 1847 г., когда Толстой и его товарищи по университету соприкоснулись с миром социальных утопий.

4.

Весьма характерно, что самая логика философских исканий Толстого, завершившихся утверждением его на путях психологического анализа как главной задачи реалистического искусства, совпадала во многом с общим ходом развития литературно-теоретической мысли петрашевцев.

Эта общность прослеживается уже в рассуждениях Толстого о природе человека. Как и петрашевцы, он полагал, что двигателем жизни вообще и отдельного человека, в частности, является «стремление к сохранению и усилению жизни», т. е. к «счастью, благосостоянию». Это стремление социальное по своему содержанию, — подчеркивал Толстой, — и является своего рода моральным принципом: всякий должен «делать для другого то, что он желает, чтобы другой де-

¹ Н. Н. К а ш к и н. Родословные разведки, т. II, СПб, 1913, стр 572—573.

² Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 656, 660.

дал для него»¹ и таким образом «способствовать к всестороннему развитию всего существующего». «Мне нужна, — записывал Толстой в дневнике 17 апреля 1847 г., — цель «общая [выгодная] и полезная»².

Как и социалисты 40-х годов, Толстой начал с поисков нравственно-идеальных начал, стремясь подтвердить собственным опытом мысль о возможности «гармонического, всесторонне развитого человека». Причем, полемизируя с Руссо, он также делал ставку не на инстинктивную нравственность, а на разум как «первенствующую способность человека», которая преобразует естественные потенции его в твердые «правила». «Образуй твой разум так, — требовал Толстой, — чтобы он был сообразен с целым, с источником всего, а не с частью, с обществом людей». Не без связи с этим он и писал в 1851 г.: «Искали философский камень, нашли много химических соединений. — Ищут добродетели с точки зрения социализма, т. е. отсутствия пороков, найдут много полезных моральных истин»³.

Поисками «добродетелей с точки зрения социализма» занимались в России петрашевцы, конструируя «общий всем людям идеал человека», олицетворяющий «добродетели, которые все вместе составляют одно свойство — *жизненность*, то есть гармоническое развитие всех человеческих потребностей и соответствующих им способностей. Пороков в этом идеале нет ни одного»⁴.

Что касается «жизненности» (по терминологии Толстого — «усиление жизни») и создания этого понятия, то у Толстого 40-х годов не было здесь больших расхождений с петрашевцами. Хотя, конечно, нельзя упускать из вида, что в целом мировоззрение Толстого той поры не может быть определено как социалистическое, что он продолжал верить в бессмертие души и личного бога. Однако вера эта подрывалась изнутри самим взглядом Толстого на содержание «моральных истин», которые, как он писал, найдут «с точки зрения социализма».

В свое понимание новых этических принципов писатель вкладывал широкий общественный смысл, толкуя их как «новую религию, соответствующую развитию человечества, религию Христа, но очищенную от веры и таинственности, религию практическую, не обещающую будущее блаженство, но дающую блаженство на земле». «Действовать *сознательно* к соединению людей с религией», — так определял Толстой

¹ Л. Н. Толстой. «О цели философии» (март-апрель 1847 г.). — т. I, стр. 229.

² Там же, т. 46, стр. 30, 31.

³ Там же, т. I, стр. 221—225; т. 46, стр. 4, 72.

⁴ Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 194; В. Н. Майков. Сочинения, т. I, стр. 56.

задачу своей жизни¹, перекликаясь с призывами петрашевцев сделать «самое общество практическим осуществлением завета братской любви и общения, оставленного нам спасителем; одним словом, чтоб каждый сознательно *полюбил ближнего, как самого себя*. Так тождественны истины положительной философии с истинным учением религии»².

Высказывания эти (и Толстого, и петрашевцев), несмотря на апелляции к христианству, означали в сущности не проповедь, а критику религиозного сознания, опирающегося на «веру и таинственность». В центр мироздания был поставлен реальный человек со всем многообразием его природных задатков. Требование «блаженства на земле» противоречило основам религиозного мирозерцания, вело к «упразднению религии как иллюзорного счастья» во имя «действительного счастья». «Религия, — утверждал Маркс, — есть лишь иллюзорное солнце, движущееся вокруг человека до тех пор, пока он не начинает двигаться вокруг себя самого»³.

Толстовское определение «новой религии» относится к 1855 г., оно уже было осложнено сомнением во всеильности человеческого разума и не может быть прямо соотнесено с взглядами петрашевцев при всей близости к последним. Но общие истоки этих раздумий вполне возможны, как возможно и то, что раздумья эти помогли Толстому определить метод художественного постижения жизни.

Видя в философии «знание, каким образом направлять естественные стремления к благосостоянию, вложенное в каждого человека», Толстой, как и петрашевцы, предлагал положить в основу этого знания «психологию». «Метода же для познания спекулятивной психологии, — писал он в 1847 г., — состоит в изучении психологии и законов природы, в развитии умственных способностей <...>. Метода же к изучению практической философии состоит в анализе всех вопросов, встречающихся в частной жизни, в точном исполнении правил морали, в последовании законов природы»⁴.

Как явствует из дневников, самоанализ и самонаблюдение Толстой возвел в значение принципа, обратившего писателя от общих теоретических вопросов к литературе. «Методу» спекулятивной и практической философии писатель перенес в сферу художественного творчества. «Исследование» самого «хода морального развития»⁵ человека стало предметом

¹ Л. Н. Толстой, т. 47, стр. 37—38.

² Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 187.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. I, стр. 415.

⁴ Л. Н. Толстой, т. I, стр. 230.

⁵ Там же, т. 46, стр. 102.

уже ранних произведений Толстого, а психологический анализ — основным его методом.

Проникая в сокровенные тайны душевных движений, помыслов и поступков, автор «Детства», «Отрочества», «Казаков» старался обнаружить «прекрасные побуждения природы, не согласующиеся с действительностью и искусственностью общественных отношений»¹. «Наивность» под его пером обретала значение, какое вкладывали в это понятие петрашевцы. «Главным условием красоты моральной» Толстой считал «простоту» и способность «трудиться», выдвигая в связи с этим народную точку зрения как высший нравственный критерий². Именно об этом говорил еще в 1846—1847 гг. В. Майков, приветствуя «яркий идеал жизни», воплощенный в поэзии Кольцова: «Страсть и труд в их естественном благоустройстве», — писал Майков, ратуя за органический «синтез» литературы и социализма, — вот «простые законы, которые вдохновили поэта и которые «стремятся определить и современная мудрость путем критики и утопии»³.

5.

«Простым законам» социалистической философии искренне сочувствовал и молодой Чернышевский, учившийся тогда в Петербургском университете. В 1848—1849 гг. он близко сошелся с петрашевцами А. В. Ханыковым, Н. Я. Данилевским, И. М. Дебу. Дружбе с Ханыковым Чернышевский был обязан «обращением» в фурьеризм, знакомством с «Сущностью христианства» Фейербаха и другой прогрессивной европейской литературой⁴. В дневниках и письмах Чернышевского 40-х годов сохранились следы, если не прямого влияния, то внимательного чтения произведений В. Майкова, А. Н. Плещеева, В. Милютина. Только внезапная расправа над участниками «пятниц» Петрашевского помешала Чернышевскому войти в число последних. «Я, напр., сам, — признавался он в дневнике 25 апреля 1849 г., — никогда не усомнился бы вмешаться в их общество и со временем, конечно, вмешался бы» (I, 274).

Большую роль в идейном становлении Чернышевского сыграл кружок И. И. Введенского, который был фактически

¹ Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 177. Анализ творчества молодого Толстого см. в кн.: И. В. Чуприна. Грилогия Л. Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность». Изд. СГУ, 1961.

² Л. Н. Толстой, т. 46, стр. 71, 184.

³ В. Н. Майков. Сочинения, т. I, стр. 99.

⁴ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 1, М., ГИХЛ, стр. 179, 182—183, 188, 248 и др. Все ссылки даются в тексте по этому изданию.

одним из ответвлений общества петрашевцев¹. На «средах» Введенского обсуждались новые журналы, сочинения Фурье, Фейербаха, Консидерана, Прудона, Луи Блана. Судя по дневникам и письмам Чернышевского, восприятие этих учений шло у него в направлении, свойственном и мировоззрению петрашевцев². В ряде существенных моментов идейно-творческая эволюция Чернышевского сближалась с духовными исканиями Толстого.

Особенно интересны в этом отношении раздумья Чернышевского о соотношении социализма и христианства. В 1848—1849 гг. Чернышевский полагал, что «главная мысль христианства есть любовь и что это идея вечная»: ее следует развить в теории и приложить «на практике». Именно в таком духе, по мнению Чернышевского, и восприняли учение Христа утопические социалисты («Р. Легоух и проч»), «сражающиеся только против настоящего понятия христианства, а не против христианства, которое устоит и которое даже развивают они, как развивали философию все философы». Фурье, — подчеркивал Чернышевский, — «собственно не опасен для моих христианских убеждений» (I, 132, 195; см. также 153)³.

В этой связи у Чернышевского и возникла характерная для многих петрашевцев идея «бесконечного совершенствования» и теории человеческого общежития, и каждого мыслящего человека, призванного «жить и действовать в своей частной, личной жизни по этому началу истины, правды, добра, любви» (I, 132—133).

При чтении Фурье у Чернышевского рождается мысль («которая, кажется, делается основанием взгляда на мир»), что человек, не изменяя своей натуре, может найти удовлетворение, решившись на «благородный поступок против страстей, которые советовали ему сделать другое». В борьбе с «личным, мелким, эгоистическим» человек, по убеждению Чернышевского, и обретает настоящую естественность, соответствующую его «страстям» (I, 190).

Таким образом, и Чернышевский, особенно в 40-х годах,

¹ См. об этом: А. П. Медведев. Чернышевский в кружке И. И. Введенского.—В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, т. I, Саратов, 1958. О связях Чернышевского с петрашевцами см. также: Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского, М., 1953, стр. 38—41.

² См. об этом в нашей статье «Чернышевский и Валерьян Майков» в сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, т. III, Изд. Саратовского университета, 1963.

³ Ср.: Петрашевский указывал, что «социализм получил полные права гражданства в обществе человеческом» с того времени, как «был пророчен Христом догмат «любви к ближнему»: «первые христиане были социалисты по чувству» (Философские и общественно-политические произведения петрашевцев, стр. 424, см. стр. 187).

не был чужд стремлению отыскать в социализме «полезные моральные истины», о которых говорил Толстой. «Нравственные и умственные задачи»; — восклицал Чернышевский, — вот «настоящие задачи» человечества, как только оно освободится от тяжести «физических нужд». Последние Чернышевский мечтал тогда устранить самым наивным способом — изобретением *perpetuum mobile*: «Я сострою мост, и человеку останется только идти в поле нравственности и познания» (I, 253).

Размышления о новой «практической» морали толкнули Чернышевского к попытке подтвердить возможность и необходимость ее «внутренним опытом», детальным «анализом» своих поступков, исследованием «разнообразности принципов», управляющих понятиями и деятельностью» (I, 133, 153—154, 190). Этими «исследовательскими» задачами («анализ души человеческой») определяется во многом назначение и содержание дневниковых записей и Чернышевского, и Толстого.

Оба они, как и все петрашевцы, пришли в конце 40-х годов к выводу о «гармоническом человеке» как «цели жизни»: «Односторонность пагубна и невозможна», — подчеркивал Чернышевский, формулируя свой взгляд на развитие человека с точки зрения «абсолютного единства» сил (I, 192).

Задумавшись над ролью литературы в «образовании чувства изящного», Чернышевский отмечал, что художественные произведения «должны служить не одному этому чувству — это было бы дело пустое», — но «развивать всего человека <...> разрешать [задачи] истинного и доброго». «Истина и добро, — добавлял он тут же, — решительно одно и то же» (I, 192).

В связи со всем этим Чернышевский (ср. Толстой) и придавал такую большую роль в литературе психологическому анализу, отмечая, вслед за В. Майковым, «важность для науки» повестей Достоевского (I, 221). «Великое знание человеческого сердца», «анализ души» были для Чернышевского одним из важнейших, если не первым, критерием в оценке писателя (I, 223, 154). От «исследования» собственной натуры в поисках «стимулов», движущих человеком, Чернышевский собирался перейти к писательской практике, замышляя повесть психологического характера, в духе «Двойника» Достоевского (I, 222—223, 365 и др.).

Дальнейшее развитие Чернышевского шло в сторону углубления его материалистических и атеистических позиций. Изучение Фейербаха помогло Чернышевскому-социалисту освободиться от абстрактно-религиозной оболочки представлений о философии будущего. Вера в «бытие бога, бессмертие души» и т. д. сменилась безоговорочным признанием человека высшим созданием природы (см. I, 358, 248).

В отличие от Толстого, антропологические воззрения Чернышевского вырабатывались в антропологию социальную, революционную, требующую наряду с усовершенствованием отдельного человека радикального преобразования всей общественной среды как главного условия грядущего «рая на земле». Но разойдясь в понимании путей к достижению идеала, Чернышевский и Толстой сближались в самом понимании этого идеала и соответственно — во взглядах на средства его художественного воплощения.

Опозитивировав «естественные начала» здоровой трудовой крестьянской жизни, автор «Эстетических отношений искусства к действительности» мотивировал неизбежное торжество этих начал, исходя из потенциальных богатств человеческой натуры, которые он мыслил как выражение общности людей, заложенное в душе человека (то, что Петрашевский именовал «социальным стремлением»).

Продолжая линию, намеченную еще «Карманным словарем», Чернышевский обозначил в диссертации «внутреннюю жизнь» одной из главных сторон действительности, воспроизведением которой должно заниматься искусство (II, 426). Характер психологического анализа Чернышевский ставил в непосредственную связь с пробуждением «чистейшего нравственного чувства». Вот почему Чернышевский и увидел в раннем творчестве Толстого выражение одной из глубинных потребностей эпохи, связанной с выработкой этического и эстетического идеала литературы и общества будущего.

Особой заслугой Толстого критик считал «глубину и точность» знаний в области «сокровеннейших законов психологической жизни», выведенных не из наблюдений над другими людьми, а «путем внимательного изучения тайн жизни человеческого духа в самом себе». Это знание, — подчеркивал Чернышевский, утверждая самонаблюдение как принцип художественного исследования жизни, — драгоценно потому, что дало писателю «прочную основу для изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин действия, борьбы страстей и впечатлений» (III, 426).

Психологический процесс интересовал Толстого не сам по себе, но как средство выявления подлинно человеческой нравственности. Эту целенаправленность толстовской «диалектики души» сразу выделил и Чернышевский. «Субъективность» психологического анализа «Детства» и «Отрочества» в сущности соответствовала борьбе критика-демократа за укрепление личности, высвобождение в ней гуманных начал. Противопоставляя Толстого Лермонтову и особенно Достоевскому, Чернышевский акцентировал внимание на цельности толстовского понимания человека и его высоких потенций. У Толстого, по мнению Чернышевского, «нравственное чувство не восстановлено только рефлексией и опытом жизни, оно

никогда не колебалось, сохранилось во всей юношеской непосредственности и свежести» (III, 427).

Сочувствие Чернышевского Толстому было тем более искренним, чем яснее ощущал он общность своих и толстовских представлений об источнике гуманного нравственного чувства, который и писатель и критик связывали с народной психологией. Чернышевский понимал главное, что просветительство Толстого, при всех консервативно-примирительных тенденциях (проявившихся, например, в «Юности», «Утре помещика»), предполагает в конечном счете активную деятельность, направленную на практическое преобразование русской действительности.

Все это вместе и определило смысл статей и высказываний Чернышевского о Толстом, в которых отразился целый этап в истории русского литературно-общественного движения, когда стихийный протест крестьянства, разъединенного политически и социально, получил свое теоретическое выражение в антропологической концепции общества и искусства, выдвинутой представителями «партии народа».

А. Ф. ЕФРЕМОВ

**РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗА
«ОСОБЕННОГО ЧЕЛОВЕКА» В РОМАНЕ
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?»**

Вглядываясь в речевые средства, используемые Н. Г. Чернышевским при построении образа «особенного человека», не следует останавливаться только на отдельных «наиболее удачных выражениях» и ими ограничиваться.

Такой метод помогает понять некоторые моменты содержания произведения, но не может дать достаточного представления о языке произведения и писателя, о работе писателя над языком и обрекает исследователя, в основном, на скольжение по поверхности языка, задерживая внимание лишь на отдельных удачных выражениях.

В любом истинно художественном произведении все языковые средства находятся в соответствии с определенными художественными задачами и представляют собою систему, строго обусловленную. К этому всегда стремится писатель, тщательно работая над языком произведения. «Каждое слово в поэтическом произведении,—говорит Белинский,—должно до того исчерпывать все значение требуемого мыслью целого произведения, чтоб видно было, что нет в языке другого слова, которое тут могло бы заменить его»¹, — словом, все языковые средства в нем удачны, и надо вскрыть специфику этих удачных слов и оборотов, по возможности, во всей полноте, не боясь того, что эта «полнота языковых фактов превратит их в грудку бесформенного материала» и приведет к формализму. Учет стилистических функций языковых фактов, т. е. их назначения в художественном произведении, служит противодействием против формализма.

¹ Полное собрание сочинений В. Г. Белинского под ред. проф. С. А. Венгерова, т. VI, стр. 61.

Интересен уже самый заголовок — «Особенный человек». Он настраивает читателя на определенный лад, давая аспект, в котором, по замыслу автора, следует рассматривать и освещать Рахметова. Эта квалификация («особенный человек») уточняется в романе другими, синонимичными словосочетаниями: *образец особой породы, экземпляр очень редкой породы, высшая натура*. Они выделяют его из ряда «обыкновенных новых людей» — Кирсанова, Лопухова, Веры Павловны и других, с личностью которых тоже связана высокая оценка, выраженная прилагательными — *добрые, порядочные, честные, благородные*. И эти лица сознают его превосходство над собой: «он поважнее всех нас здесь, взятых вместе», — говорит Кирсанов¹. Характерные словосочетания, метод сопоставления с «обыкновенными новыми людьми», приемы тайнописи (вопросы, намеки, недомолвки, иносказательные выражения) приводят читателя к мысли, что перед нами особенный, исключительный человек, революционер-профессионал, отдавший себя целиком делу революции, борьбе за счастье народа.

Морально-политическому облику Рахметова соответствуют индивидуальные особенности его речи. Для него весьма характерна, например, манера обстоятельного изложения. Высказывая мысли, он прибегает к пояснениям, повторениям, подтверждениям, подчеркиваниям, оговоркам, умозаключениям. Отсюда наличие в его речи заключительных союзов: *значит, следовательно, стало быть*. Его речь носит строго деловой характер и всегда обусловлена, как он выражался, «надобностью». Он говорил, по утверждению автора, «без околичностей», не употребляя «напрасных слов». Его суждения всегда отличаются безапелляционностью, категоричностью, не терпящими никаких возражений и сомнений. Поэтому в его речи часты такие слова, как *должен, должно, обязан, надобно* и особенно *нужно*. На характерность для него последнего слова (*нужно*) указывает сам автор по поводу рассказа о незнакомце: «Все это очень похоже на Рахметова, даже эти *нужно*, запавшие в памяти рассказчика»². Это слово (*нужно*) настолько характерно для Рахметова, что частое употребление его незнакомцем могло служить своего рода «вещественным доказательством» того, что это был не кто иной, как именно Рахметов.

Многое говорят о Рахметове, о его идейных устремлениях и те фразеологизмы, какие введены в его речь: *здоровые идеи об устройстве быта, идеи, благотворные для человечества, аргумент против святых принципов, защитники мрака и зла*.

¹ «Что делать?», стр. 217.

² Там же.

дело человечества, дело прогресса, пламенная любовь к делу и другие. Их одних достаточно, чтобы получить представление о Рахметове как об исключительном человеке.

Речи Рахметова, при ее деловой устремленности, чужды изящность и изысканность; в ней нет красивых оборотов, бьющих на эффект. Собственно, это, надо сказать, вообще свойственно было демократии 50—60-х годов, в частности Чернышевскому, Добролюбову, Некрасову и другим. Писарев свидетельствует: «В былое время на первом плане стояла форма, читатели восхищались совершенством внешней техники... Теперь, напротив того, внимание читателя безраздельно направляется на содержание, т. е. на мысль»¹.

Рахметову свойственны были резкость и грубость, но они, следует оговориться, никого не обижали, так как он «говорил таким тоном, без всякого личного чувства, будто историк, судящий холодно не для обиды, а для истины»². Тон его речи был всегда серьезный, даже мрачный, хотя, по характеристике автора, его «натура была кипучая» (стр. 201). Он способен был произносить «огненные речи» (стр. 208), «говорить живо, легко, просто, кратко, одушевленно» (стр. 215), «с жаром» (стр. 209) и, если усвоил мрачный тон, то только по убеждению — «так нужно» (стр. 201). К этому его принудили условия общественно-политической жизни страны, при которых, пишет автор, «человек с пламенной любовью к добру не мог не быть «мрачным чудовищем» (стр. 226). «Вообще видишь не веселые вещи, поясняет Рахметов; как же тут не будешь мрачным чудовищем? Только, Вера Павловна, если уж случилось вам видеть меня в таком духе, в каком я был бы рад быть всегда, и дошло у нас до таких откровенностей, — пусть это будет секрет, что я не по своей охоте мрачное чудовище. Мне легче исполнять мою обязанность, когда не замечают, что мне самому хотелось бы не только исполнять мою обязанность, но и радоваться жизнью»³. И только в редких случаях он был не «мрачным чудовищем», а «милым, веселым человеком» (стр. 217); тогда и речь его была иная, более свойственная его жизнерадостной натуре.

2.

Не менее характерны для речи Рахметова и для авторской речи о нем черты, так сказать, стилистического максимализма. Этот максимализм представляет довольно яркую линию в романе и проявляется в различных языковых средствах. Вместо, например, простых общеупотребительных слов, в романе в отношении Рахметова используются такие слова,

¹ Сочинения, т. II, стр. 92.

² «Что делать?», стр. 205.

³ Там же, стр. 217.

которые выводят за грани нормального уровня жизни, показывая предметы и качества в преувеличенных размерах, с некоторой долей гиперболизации. Так, взамен общеупотребительного слова *много* даются более сильные слова: *бездна* дел, *множество* хлопот. Больше всего гиперболически используются в прямой характеристике Рахметова и в собственной его речи прилагательные в роли определений: *кипучая* натура, *гнусная* слабость, *непомерную* силу, на *роскошном* столе, *огромного* сливочника, *феноменальной* грубости, *ничтожного* облегчения, *мучительного* нетерпения, *огненные* речи и др. Интересно, что первоначально, в варианте, было сказано просто *речи*, а в окончательной редакции при этом слове вставлено определение *огненные*, причем с очень вразумительной эзоповской оговоркой — «конечно, не о любви».

Для усиления экспрессии автор не останавливается даже перед повторением одних и тех же слов в тексте: *страшную* массу печеня, *страшные* резкости, в *страшном* испуге, *ужасные* вещи, *ужасное* расстройство, *ужасные* укоризны, *раздирательной* сцены, *раздирательной* мелодрамы и т. д. В экспрессивных целях используется и форма превосходной степени: *очень* скучным, *очень* терпеливый, *самый* суровый образ жизни, *самую* отличную говядину, *самые* лучшие куски, ел *самое* дешевое, *гениальнейший* и *нормальнейший* ум из всех, *тончайшие* черты, *ничтожнейшему* облегчению, из *древнейшей* фамилии, *крепчайшего* кофе, *огромнейшую* банку, (недовольство) *развило*сь в *легчайшую*, *мягчайшую*, *безобиднейшую* форму и пр. Употребляется в романе даже плеонастическое выражение: «он был уже человеком *очень* замечательно *основательной* учености». Прибегает автор и к словам-усилителям, особенно к слову *совершенно*: с *совершенно* ненужным трагизмом, *совершенно* ненужная мелодрама, о человеке *совершенно* черством и т. д. А в отдельных случаях автор, характеризуя Рахметова и подобных ему лиц как революционеров, употребляет эмфатические фразеологизмы: «Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней—*теин* в чаю, *букет* в благородном вине; от них *ее* сила и аромат; это *цвет* лучших людей, это *двигатели* *двигателей*, это *соль соли* земли» (стр. 210). Эти фразеологические характеристики художественно оправданы. Они «вытекают из бодрой веры автора в этих «новых людей»... и из радостного предвидения уже недалекой социалистической жизни»¹. Все эти фразеологизмы даны в революционном пересмыслении и являются синонимами слову *революционер* и фразеологизмам *особенный человек*, *высшая натура*. Как видим, автор наделяет революционным содержанием обороты,

¹ Н. Л. Бродский и Н. П. Сидоров. Комментарии к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?». М., 1933, стр. 28.

сами по себе далекие от революционного пафоса, в надежде, что сердце читателя подскажет ему правильное их понимание.

Максимализм сказывается в романе и в пользовании отрицательными местоимениями и наречиями: *ничьими* делами, *никакими* способами, *никакими* средствами, *никогда* не присоединялся, никто не может, *никак* нельзя, *никто* не удерживает, нет *ничего* странного и т. п. В них тоже есть некоторая доля экспрессии, поскольку они, вместе с другими отрицательными словами в предложении (*не, нельзя, нет*), выражают сильное отрицание — полное отсутствие чего-либо. Только относительно одного местоимения требуется существенная оговорка — *ничего*. Данное слово в русском языке вообще имеет много различных смысловых оттенков в зависимости от контекста и видоизменения интонации. В речевом контексте оно имеет значение: «сносно», «удовлетворительно», «не плохо», «довольно хорошо», «все равно», «так себе», «не мешает», «несущественно», «пустяки», «чепуха», «неважно» и т. д. или, наоборот, выражает, полное отрицание чего-либо: *ничуть, нисколько, ни в какой степени*. Эту игру смысловых оттенков в зависимости от игры интонации мы наблюдаем и у Чернышевского в прямой характеристике «особенного человека». Слово *ничего*, между прочим, затрудняет в отношении его осмысления даже русского человека, а для иностранца должно представлять непреодолимую трудность.

3.

В прямую характеристику Рахметова и в речь самого Рахметова введено большое количество разнообразных по семантике и характерных для личности Рахметова антонимов, на которых строятся в романе антитезы. Без них автор не мог обойтись при показе образа Рахметова. Они сильнее подчеркивают, делают более яркими различные черты, свойственные его морально-политическому облику как революционера-профессионала. Так, сопоставляя его с другими лицами, автор дает обобщающие антонимические характеристики в словосочетаниях, в которых главную смысловую роль выполняют прилагательные: *необыкновенный, особенный* человек — *простые, обыкновенные* люди, *высшие* — *жалкие* люди. Говоря о внутренних противоречиях Рахметова, возникших в нем вследствие его перерождения в ригориста, он использует внутренние противоречивые сочетания: *мрачное чудовище* — *добрый ангел* («я во сне вижу его окруженного сиянием»);

«Судящий холодно *не для обиды, а для истины*»;

«Он вошел с обыкновенною *холодностью*» — «А натура была *кипучая*»;

«Я тоже не *отвлеченная идея, а человек, которому хотелось бы жить*»;

«при всей своей феноменальной грубости, он был, в сущности, очень деликатен»;

«требовать не для себя лично, а для человека вообще... по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности»;

скуден личный путь, на который они зовут; ...нет, не скуден, очень богат».

При описании сурового, делового образа жизни Рахметова тоже немало антонимических слов и выражений:

не имею права тратить деньги на *прихоть*, без которой могу обойтись», — «а ведь он был воспитан на *роскошном столе* и имел *тонкий вкус*»;

«одевался он *очень бедно*, хотя любил *изящество*»;

не тратил времени на *второстепенные* дела, занимался только *капитальными*»;

«На *мелкие* дела он не обращал никакого *внимания*» — «Но в *важные* дела вступался»;

«Отказался от *белого* хлеба, ел только *черный* за своим столом» и т. д.

Конечно, все антонимы и построенные на них в романе антитезы можно было бы устранить, выбросив в каждой по одному звену, какое привлекается для противопоставления. Можно было бы, например, сказать: «одевался он очень бедно», «ел только черный хлеб за своим столом», «не тратил деньги на прихоть» и т. д., но это обеднило бы содержание текста, помешало бы представить облик «особенного человека» во всей его полноте, с его «перерождением». Противопоставляемые звенья привлечены автором не для красного словца, а по идейно-стилистическим соображениям. Во многих случаях антитезы поддерживают в романе то впечатление от Рахметова, которое выражено словами *удивительный, странный, смешной, чудака*. В некоторой степени они помогают осознать, что Рахметов — представитель людей иного, более крупного масштаба, чем обыкновенные новые люди, что он экземпляр особой породы, особенный человек, но если за ним «не угнаться», то на обыкновенных новых людей следует равняться:

«На той высоте, на которой они стоят, должны стоять, могут стоять все люди», надо только «поработать над своим развитием» (стр. 228). И мы слышим в финале призывный клич, написанный в эмоционально-экспрессивном стиле: «Поднимайтесь из самой вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это не так трудно, выходите на вольный белый свет, славно жить на нем, и путь легок и заманчив, попробуйте: развитие, развитие. Наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о том, что человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их — их книги радуют сердце, наблюдайте жизнь — наблюдать ее

интересно, думайте—думать завлекательно... Желайте быть счастливыми — только, только это желание нужно. Для этого вы будете с наслаждением заботиться о своем развитии: в нем счастье. О, сколько наслаждений развитому человеку!» (стр. 228). Для придания стилю эмоциональности и экспрессии автором использованы в этом произведении различные языковые средства: императивные конструкции, находящие отклик в рядом стоящих категорических суждениях, однородность членов предложения, приемы обращения, контраста и повторения, эллиптичность синтаксических построений, заключительное восклицательное предложение эмфатического характера. Этот финал главы еще более возвышает «особенного человека» в сознании читателя.

Вообще все языковые средства, удачно подобранные и умело использованные Чернышевским в романе, помогли ему создать обаятельный образ Рахметова, оказавший революционизирующее влияние на читателей. Болгарский революционер Георгий Димитров говорил: «Я ставил себе целью... быть таким, каким представляется мне этот безупречный герой Чернышевского... Для меня нет никакого сомнения, что именно это благотворное влияние в моей юности очень помогло моему воспитанию как пролетарского революционера»¹.

¹ «Комсомольская правда», 1935, 30 мая.

Б. И. ЛАЗЕРСОН

ЭЗОПОВСКАЯ РЕЧЬ В ПУБЛИЦИСТИКЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Широко известно поразительное умение Чернышевского вести революционную пропаганду в подцензурной печати.

Среди разнообразных форм «эзоповской» речи Чернышевского в его публицистике значительное место занимают такие стилистические и композиционные способы выражения, которые заключают в себе двойной смысловой план и потому могут становиться иносказанием¹.

В предлагаемой статье в этой функции рассматриваются особые обороты речи и формы предложения: риторический вопрос (и просто вопросительные предложения), умолчание и различные виды намека. В известных условиях все они достаточно эффективно служили Чернышевскому в целях конспирации.

Риторический вопрос относится к вопросительным предложениям. Но отличительная черта его состоит в условности его формы, т. е. в употреблении вопросительной интонации там, где по смыслу она не требуется. Поэтому ответ, который формально должен последовать, потенциально содержится в самом вопросе, или, по крайней мере, риторический вопрос наталкивает читателя на нужное заключение. Благодаря вопросительной форме повышалась эмоциональность такого

¹ О способах подцензурной иносказательности в публицистике Чернышевского см. в наших статьях: Ирония в публицистике Н. Г. Чернышевского—сб. Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, 1, Саратовское книжное издательство, 1958, стр. 272—335; Иносказательная роль цитат в публицистике Чернышевского—сб. «Ученые записки» Саратовского государственного университета, том LVI, вып. филолог., 1957, стр. 350—366; Парабола в публицистике Н. Г. Чернышевского—сб. Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, 2, Изд. Саратовского университета, 1961, стр. 154—173; Публицистика Чернышевского в годы революционной ситуации—сб. Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, 3, Изд. Саратовского университета, 1962, стр. 62—91.

предложения, она даже подчеркивала категоричность утверждения, придавала особую выразительность мысли.

Использование вопросительной формы изложения вообще было свойственно страстной публицистике Чернышевского, рассчитанной также и на эмоциональное восприятие. Кроме того, вопросительная форма предложений, побуждающая активность мысли читателя, была удобна Чернышевскому для популяризации научных и отвлеченных идей. Например, в форме вопросов и ответов написана статья «О новых условиях сельского быта» в той части, где доказывается невыгодность труда крепостных крестьян не только для них самих, но и для помещиков¹. То же находим в статьях: «Устройство быта помещичьих крестьян» (V, 717—718), «Экономическая деятельность и законодательство» (V, 617—621), «Суеверие и правила логики» (V, 688, 693, 695, 704—705, 709).

Все эти свойства риторического вопроса: выразительность, повышенная эмоциональность, настаивающие внимание читателя, заставляющие его самого домысливать прочитанное, и, в особенности, наличие в риторическом вопросе всегда скрытого ответа — обусловили возможность его применения и в качестве способа подцензурной иносказательности.

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский посредством ряда риторических вопросов высказывал мысль о наличии в русской жизни обстоятельств, препятствующих дальнейшему развитию в литературе критического, гоголевского направления: «быть может наше самосознание еще вполне занято разработкою гоголевского содержания, не предчувствует ничего другого, не стремится ни к чему более полному и глубокому? Или пора бы явиться в нашей литературе новому направлению, но оно не является вследствие каких-нибудь посторонних обстоятельств?» (III, 7). При этом Чернышевский далее писал: «предлагая последний вопрос, мы даем повод думать, что считаем справедливым отвечать на него утвердительно» (III, 7). Таким образом, он сам указывал на ту особенность риторического вопроса, которая позволила применить его как иносказание.

Вопросительная форма этого способа повествования, кажущаяся проблематичность его содержания, якобы не заключающего никакого авторского утверждения, обманывали цензора, не задерживая его придирчивого внимания. В действительности же риторический вопрос по своему логическому составу никаким вопросом не являлся, а представлял собой вполне определенное суждение.

Часто это суждение являлось выводом, следующим из

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., Гослитиздат, М., 1940—1953, т. V, стр. 75—106. В дальнейшем ссылки на это издание (с указанием тома и страницы) приводятся в тексте.

предыдущего изложения. Например, в статье «Письма из Испании В. Боткина» (1857), объясняя лень испанцев, о которой писал Боткин, господствующим в стране угнетением народа, Чернышевский заключает свои рассуждения следующим риторическим вопросом: «При таком положении дел не могла сохраниться в нации привычка трудиться. Кому охота работать, когда плоды трудов истребляются или похищаются?» (IV, 233).

Вопрос ставился здесь только формально; содержание этого предложения заключало в себе исчерпывающий ответ: не может быть желания работать в условиях, когда плоды труда похищаются у народа.

Или в статье «О новых условиях сельского быта» (1858) смысл риторических вопросов наводил читателя на мысль о паразитическом существовании помещиков при крепостном праве: «Может ли экономически вести свои расходы тот, доходы которого получаются способом, противным экономическому расчету?» (V, 84). Несмотря на вопросительную форму предложения, благодаря его построению читатель узнавал из него, что помещики получают свои доходы «способом, противным экономическому расчету». Какой именно способ имел Чернышевский в виду, читатель мог понять из следующего риторического вопроса: «Может ли с усердием заниматься своими делами тот, кому представляется, что источник его доходов, обязательный труд, остается неиссякаем и безо всякой заботы с его стороны?» (V, 84).

Такой же иносказательный характер имел риторический вопрос, содержащий в себе суждение Чернышевского о невозможности императору даже основательным преобразованием улучшить жизнь своей страны. Говоря о бессилии французского императора «ввести экономию в государственные расходы», Чернышевский писал: «Если же не в силах был он изменить даже и одну черту системы, по какой управлял, то как же достанет у него силы изменить всю систему?» (VIII, 573). Здесь также, несмотря на вопросительную форму сказанного, читатель находил вполне определенное утверждение Чернышевского.

В упомянутой уже статье «О новых условиях сельского быта», там, где Чернышевский полемизирует с Л. В. Тенгоборским, мысль о том, что качество и производительность крестьянского труда зависят не от самого крестьянина, а от иных, не зависящих от него причин, препятствующих инициативному труду, — эта мысль выражена следующим «наводящим» вопросом: «Да разве мнением мужика отстраняются причины, препятствующие ему хорошо обрабатывать эту землю?» (V, 75).

В некоторых случаях риторический вопрос предлагался Чернышевским в ироническом плане. Смысл скрытого в

вопросе утверждения был здесь противоположен истинному воззрению Чернышевского и идейной направленности контекста. Подлинная мысль Чернышевского была в этих случаях более завуалирована от цензора и рассчитана на восприятие достаточно осведомленным читателем. Будучи иронической, такая форма высказывания таила в себе насмешку, сатиру и направлена была против идейных врагов Чернышевского.

Так например, в статье об «Очерках из крестьянского быта» А. Ф. Писемского (1857), полемизируя с А. В. Дружининым, утверждавшим, что рассказы Писемского из простонародного быта «производят примирительное, отрадное впечатление», Чернышевский приводит отрывки из этих рассказов, рисуящие тяжелое положение крестьянства. Выдержки сопровождаются ироническим вопросом: «Как вам нравятся быт, обрисованный первою из трех повестей?.. Отрадное и примирительное действие производит он на вас—не правда ли?» (IV, 565). Ирония скрытого в вопросе утверждения Чернышевского воспринималась читателем при учете содержания цитат и смысла всей статьи.

Также в статье «Чичерин как публицист» (1859) Чернышевский возражал Чичерину уже самой иронией ряда риторических вопросов: «Он предостерегает нас от одностороннего увлечения каким-то отрицанием чего-то будто бы хорошего, существующего у нас... Вероятно, наше общество страдает необыкновенною живостью и силою чувств, кажущихся г. Чичерину вредными? Вероятно, мы похожи на каких-нибудь северо-американцев, не признающих никакого вмешательства центральной власти в их дела? Вероятно, большинство читателей г. Чичерина ужасные анархисты, которым надобно проповедовать о необходимости некоторого сохранения государственной власти, совершенно ими отвергаемой?» (V, 648).

Эмоциональность вопросительной интонации высказываний заставляла читателя обратить внимание на их иронический, «обратный» характер. Читатель мог понять, что, говоря о «необыкновенной живости и силе чувств» русского общества, об его независимом отношении к монархической власти и даже совершенном отвержении обществом вообще всякой государственной власти, Чернышевский имел в виду противоположные качества, укоренившиеся в его соотечественниках.

Насколько вопросительная форма в сочетании с иронией надежно завуалировала идею Чернышевского, свидетельствует то, что аналогичная мысль, высказанная довольно откровенно вслед за приведенным нами иносказанием, была вычеркнута цензором: «Г. Чичерин русскому обществу проповедует о повиновении властям, — не значит ли это совершенно не понимать характера и положения людей, с которыми имеешь дело?» (V, 648).

К этому же виду иносказания следует отнести и те вопро-

сительные предложения, которые, хотя и не скрывали в себе ответа, как риторические вопросы, но все же помогали читателю сделать необходимый вывод. Этому, конечно, способствовал учет всего текста. Эмоциональность и такого, открытого, вопроса также настораживала внимание читателя, заставляла его домысливать недосказанное. Но благодаря тому, что в этих вопросах формально ничего не утверждалось, они не казались цензору подозрительными и проходили в печать.

Значительно легче читатель находил нужный ответ в тех случаях, когда вопрос сопровождался намекающей оговоркой Чернышевского.

В статье «Критический взгляд на современные эстетические понятия» (1854), намекая на необходимость использования и дальнейшего развития идей Белинского и на существующие препятствия этому развитию, Чернышевский писал: «в наше ли время претендовать на «самоизобретенный» образ мыслей?». Напрашивался отрицательный ответ, вызываемый не только контекстом, но в особенности следующим замечанием: «хорошо и то, если мы познакомимся с тем, что уже сказано другими...» (II, 158).

Или в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1855—1856), задав вопрос, «почему же не является так долго» «новый гениальный писатель», продолжатель гоголевского направления в новых условиях развития русского общества, Чернышевский еще более настораживал читателя замечанием, что этот вопрос «не следует оставлять без внимания», что «дело очень казусное». Ответить на этот вопрос читателю помогала также приведенная затем цитата из «Записок сумасшедшего» Гоголя о короле, который скрывался в неизвестности из-за определенных препятствующих его появлению обстоятельств (III, 7).

Изложив в произведении «Капитал и труд» (1860) экономическую «теорию трудящихся», Чернышевский писал: «Почему же такая простая и легкая мысль до сих пор не осуществилась и, по всей вероятности, долго не осуществится? Почему такая добрая мысль возбуждает негодование в тысячах людей добрых и честных?» (VII, 63). Исходя из существа изложенной теории, читатель мог догадаться, почему она не может осуществиться и даже вызывает неприязнь в условиях существующего режима. Следующим затем замечанием Чернышевский намекал на невозможность говорить об ее осуществлении: «Это вопросы интересные. Но ими мы займемся когда-нибудь в другой раз» (VII, 63).

В других случаях вопрос намеренно оставлялся Чернышевским открытым безо всяких наводящих комментариев. Однако современнику Чернышевского ответить на эти вопросы не представляло особого труда. В статье о «Сочинениях

Пушкина» изд. П. В. Анненкова (1855) Чернышевский писал: «Мы живем в ретроспективное время. Если не говорить о Пушкине, то о чем же говорить ныне в русской литературе? Правда, можно очень справедливо возразить на это; да зачем же говорить о русской литературе. Но такое возражение было бы очень прискорбно, потому что оно ведет к вопросу: о чем же говорить?» (II, 515). Эти вопросы могли навести читателя на мысль о подцензурном положении русской литературы, которая не может касаться злободневных общественных проблем, о невозможности выражения общественного самосознания.

Тем более многозначительной была такая форма подцензурного изложения, когда Чернышевский открытым вопросом заканчивал главу статьи или всю статью. Так, например, оканчивалась глава статьи «Устройство быта помещичьих крестьян № XI. Материалы для решения крестьянского вопроса» (1859). Свои доказательства в пользу бесплатного наделения крестьян землею Чернышевский подкреплял таким веским доводом, как возможность восстания крестьян, которые будут обмануты реформой в том виде, в каком она готовилась к совершению: «Чего ждет теперь крестьянин? Он ждет воли. Чего ждет он от воли? Облегчения своей судьбе. Какое же почувствует он облегчение и поймет ли он волю, если его заставят платить оброк не меньше или даже больше нынешнего или заставят по-прежнему ходить на барщину? Как поймет он такое освобождение? Он не поймет его, он почтет себя обманутым, — что тогда будет?» (V, 734; курсив наш — Б. Л.).

Такой же характер имело вопросительное предложение, завершающее статью «Экономическая деятельность и законодательство» (1859). Чернышевский приводит здесь сначала предъявленное ему возражение: «почему же, дескать, оно <т. е. общинное владение. — Б. Л.> не оказывает тех удивительных действий, которые, как вы объясняете, должны происходить из его натуры?». А затем замечает: «В связи с этим затруднительным вопросом мы будем рассматривать другой, столь же затруднительный вопрос: *почему лещ, вытасченный на берег рыболовной сетью, не плавает?*» (V, 626; курсив наш. — Б. Л.). При условии раскрытия аллегории этого суждения его вопросительная интонация, многозначительно завершающая статью, настораживала читателя, будила его мысль и подводила к выводу о том, что общинное владение дает положительный результат лишь при освобождении крестьян с земель.

Средством иносказания являлись для Чернышевского такие обороты речи, в которых он намеренно заявлял о своем умолчании, «отказывался» решать тот или иной вопрос, высказывать свое мнение о каком-то предмете и т. д.

Этот отказ Чернышевского был нарочито декларативным, по существу формальным, т. к. давался в таких именно выражениях, которые наводили читателя на восприятие того, о чем «умалчивалось». Иногда при этом Чернышевский обращался к пронизательности читателя, привыкшего к его недомолвкам. Большое значение для раскрытия и этого иносказания имел контекст. Фигура недосказанной мысли интриговала читателя, приобщала его к логике рассуждения автора, побуждала продолжить его мысль. Иносказание обратило на себя внимание неофициальных цензоров и, в частности, о нем писал В. Костомаров в своей записке «Разбор литературной деятельности Чернышевского». «Говоря о каком-нибудь предмете полусловами или с маскировкой ради обойдения цензуры, авторы этих статей <в том числе и в первую очередь Чернышевский. — Б. Л.> часто обращаются к читателю с просьбой хорошенько вникать в их слова или в их образ мыслей... Эта метода *полуслов* и *намеков*, совершенно понятных для *вникающего* читателя, чрезвычайно удобна. Административного преследования она, конечно, навлечь на себя не может»¹.

Наиболее открытым и понятным для читателя являлся этот вид иносказания в тех случаях, когда Чернышевский, заявив об отказе излагать существо вопроса, строил предположение в отношении его решения.

В «Лессинге» (1856), например, упомянув, что возрождение нации не осуществилось ни реформами Фридриха Великого, ни реформами Иосифа II, Чернышевский писал: «Почему не совершилось ими, не место здесь говорить о том, — быть может потому, что в новой истории вообще оказываются бессильными те личности, которые слишком полагаясь на свою силу, не ищут помощи своему начинанию в самостоятельной деятельности всей массы народа» (IV, 71).

Замечание об умолчании было лишь приемом, отвлекающим внимание цензора. «Отказ» от объяснения не помешал Чернышевскому здесь же преподнести его читателю в виде предположения.

Аналогичный прием находим в статье «Суеверие и правила логики» (1859), там, где Чернышевский писал, что для восстановления законности необходимо обратить внимание не на взяточничество, а на «коренную причину невозможности чиновникам обходиться без нарушения закона». В связи с этим он заявлял: «Мы не знаем, возможно ли «это сделать» при нынешнем устройстве наших общественных отношений». Затем следовало предположение, в котором в действительности заключалось утверждение Чернышевского: «быть может, по-

¹ М. Лемке. Политические процессы в России 1860-х годах. М.-П., Госиздат, 1923, стр. 393, 395.

добная реформа предполагает уничтожение отношений слишком сильных, не поддающихся реформам, а исчезающих только вследствие важных исторических событий, выходящих из обыкновенного порядка, которым производятся реформы». Развивая мысль дальше, говоря о путях изменения существующих порядков, Чернышевский вновь писал: «Мы не хотим решать этого, мы не хотим рассматривать, какие обстоятельства нужны для исполнения» (V, 707).

В другом месте этой же статьи, задаваясь целью выяснить, каково состояние общественной администрации и судебной власти, Чернышевский заявлял: «Мы не имеем намерения подробно отвечать здесь на такой вопрос». И здесь же он перечислил все то, о чем он «не намерен» был говорить и что определяло состояние управления и суда: взяточничество, «потворство сильным», «нахальство над слабым», «неуменьше ничего хорошего исполнить надлежащим образом», «безграничный произвол, соединенный с бессилием, столь же безграничным» (V, 703). Ввиду того, что смысл иносказания становился почти явным в этом перечислении, цензор перечеркнул его, оставив заявление Чернышевского об «умолчании», которое лишь наводило читателя на его мысль. Была оставлена также и следующая далее аналогичная декларация об «умолчании»: «Сколько бы ни наговорили мы об этих качествах нашей администрации и судебной власти, мы не сказали бы ничего такого, что не было бы не хуже нас известно каждому из наших читателей. Доказывать эту истину было бы тут не для кого и спорить не с кем» (V, 703).

В других случаях, не имея возможности говорить открыто, Чернышевский уведомлял об этом своем затруднении, обращаясь к проницательности читателя. Иногда при этом Чернышевский в осторожных выражениях намекал на то, о чем отказывался говорить. «Читатель понимает, — писал, например, Чернышевский, касаясь деятельности Белинского, Герцена и Огарева, — что, говоря здесь исключительно о литературном движении, мы не имеем права упоминать о людях иначе, как по отношению их к литературе. Без сомнения, в тогдашнем русском обществе на различных поприщах деятельности было много людей замечательных не менее Белинского, положим, что были такие люди и в кругу Станкевича. Но читатель согласится, что мы можем называть представителем этого круга только Белинского» (III, 222).

Или в главе «Распределение» «Очерков из политической экономии (по Миллю)» (1861), имея в виду социалистический способ распределения продуктов производства, Чернышевский оговаривался: «О том, какой способ лучше сам по себе, не нужно было бы по-настоящему и говорить нам: как мы думаем об этом предмете, должно быть понятно читателю,

сколько-нибудь желающему вникать в наш образ мыслей; да и сам по себе вопрос очень ясен» (IX, 434).

Часто Чернышевский без всяких намекающих объяснений заявлял о своем «нежелании» говорить о чем-то. Такие замечания также настораживали читателя и заставляли его угадывать скрытый смысл. В статье «Материалы для решения крестьянского вопроса» (1859) Чернышевский указывал на то, что «принужденное перенесение крестьянских усадеб... вело бы к последствиям очень дурным». Имея в виду среди этих «последствий» и восстание крестьян, Чернышевский отказывался входить в «подробное» перечисление возможных последствий: «Из них, — писал он, — мы указали только одно: расстройство крестьянских хозяйств отняло бы у крестьян возможность исправно выплачивать выкуп. *Нет нужды подробно говорить о других, еще гораздо худших*» (V, 716; курсив наш. — Б. Л.). В другом месте этой же статьи встречается аналогичный вид иносказания: «Нет надобности говорить, какие последствия были бы произведены, если бы народ остался при убеждении, что крепостное право уцелело» (V, 737).

Точно так же в статье «Суеверие и правила логики» (1859), говоря о том, что «крепостное право было одним из учреждений, ослаблявших народную энергию», Чернышевский писал: «Мы не хотим теперь перечислять всех этих вредных учреждений: для нашей цели довольно будет обратить внимание только на результат их...» (V, 694).

В июньском политическом обозрении 1861 г. Чернышевский использовал такой же способ иносказания: «В Турции умер один султан; на место его провозглашен по законному порядку другой. Газеты рассуждают о том, какую перемену произведет это в турецкой системе. Чтобы мы стали рассуждать об этом, читатель, конечно и не ожидает» (VIII, 529).

В упомянутой главе «Распределение» «Очерков политической экономии (по Миллю)» Чернышевский сам назвал этот свой способ иносказания свойственным ему правилом «не говорить о том, о чем должно». Здесь же он использовал это замечание, не имея возможности открыто высказаться по поводу способа распределения при общинной собственности: «Мы... по своему правилу отказались от изложения той формы распределения, которая происходит из хорошего расчета и о которой по всем соображениям здравого смысла следовало бы нам теперь говорить». Дополнительно конспирируя свою мысль, Чернышевский сопроводил свой отказ следующим ироническим комментарием: «Мы, впрочем, и не жалеем об этом: к чему наполнять страницы рассуждениями о том, чего еще нет? Ведь несуществующее не существует, стало быть, ничтожно» (IX, 436). А несколько ниже Чернышевский в тех же целях назвал общинную форму распределения «уто-

пической мечтой» и заявил, что «не хочет знать ее» (IX, 437).

В целях иносказания Чернышевский очень часто пользовался всевозможными разновидностями намека, т. е. такими оборотами речи, где формально не полностью выраженная мысль могла быть понятна только по догадке.

Более открытым это иносказание являлось в том случае, когда повествование было конкретным и недосказанность частично раскрывалась самим Чернышевским каким-либо косвенным указанием.

В одних случаях таким иносказанием служила *метонимия*, т. е. когда название одного предмета ставилось на место другого на основании близких и легко понимаемых, закрепленных в сознании читателя отношений между этими предметами. Замещение выделяло в явлении свойство, которое было характерным для него и, как часть его, выражало собой целое.

Так, определенное направление в общественной борьбе, философии или эстетике, идейное или литературное течение, которые Чернышевский не мог открыто назвать, раскрывались им через конкретное частное, характерное для каждого из них. Чернышевский называл имя характерного представителя данного течения, журнал, художественное произведение или статью, в которых это направление проявлялось, и т. д. Какой-либо отдельный литературный или исторический факт вызывал в читателе представление о не названном, но подразумеваемом Чернышевским явлении.

Например, имена Аристотеля, Бэкона, Гассенди, Локка, Бокля, названные Чернышевским вместо термина «материализм» при характеристике или упоминании этого, одиозного тогда, философского направления, являлись для читателя не только просто именами мыслителей-материалистов, но становились символами передового философского направления. А имя профессора П. Д. Юркевича таким же образом становилось обозначением не только идеалистической философии, но и религии и мракобесия.

«Истинно современные мыслители понимают теорию точно так же, как понимал ее Бэкон» (II, 264—265), «все недостатки, которые г. Юркевич открывает во мне, открывают эти <семинарские. — Б. Л.> тетрадки в Аристотеле, Бэконе, Гассенди, Локке и т. д. и т. д.» (VII, 769), «Люди той самой школы, к которой принадлежит г. Юркевич» (VII, 770, 766), «Вы понимаете ли, к чему клонит дело г. Юркевич? К поддержке идей прямо противоположных — чему бы, как это выразить? — ну, хоть так скажу: прямо противоположных идеям Бокля...» (VII, 766).

Имена С. П. Шевырева, М. А. Дмитриева, А. С. Стурдзы, Н. Д. Иванчина-Писарева, А. Е. Студитского, В. И. Аскоческого — реакционных писателей — заменяли у Чернышевского

названия реакционных направлений в литературе, публицистике и философии.

«Г. Шевырев должен быть считаем, как мыслитель в высшей степени своеобразный, главою особенной школы в нашей литературе. Важнейшими из второстепенных писателей этой школы надобно считать М. Дмитриева, г. А. Стурдзу, г. Н. Иванчина-Писарева, г. А. Студитского» (III, 113). «людям, уважающим направление г. Аскоченского» (VII, 763).

Названия журналов «Московского наблюдателя» (когда во главе его стоял Белинский) и «Маяка» вызывали в читателе представление, в первом случае, о передовом (в 40-е годы XIX в.) направлении в философии и публицистике, в другом — о мракобесии и обскурантизме. «В образе воззрений Белинского... гораздо более находилось тождественного с теми идеями, которые потом с такою пылкостью излагались людьми молодого поколения в «Московском наблюдателе» (III, 195); «особенной школы, которая принадлежала исключительно Москве, но мнения которой имели большое родство с учениями петербургского журнала «Маяк» (III, 114). Характеризуя при обозрении «Русской беседы» № 1 за 1856 г. статью Т. Филиппова о драме А. Н. Островского «Не так живи, как хочется», Чернышевский делал это посредством сближения статьи с направлением «Маяка». «Статья, — писал он, — кажется приличною... разве покойному «Маяку» (III, 653).

Чернышевский упоминал «Арион» Пушкина или «Старый дом» Огарева не только потому, что характеризовал эти стихотворения или творчество их авторов, но порой они служили ему условными обозначениями тех общественных явлений русской жизни, о которых он не мог писать прямо. Название стихотворения «Арион» намекало читателю на отношения Пушкина с декабристами: «приятельских отношений, памятником которых осталось стихотворение «Арион» (II, 509); «под влияниями, о которых вспоминает в «Арионе» (IV, 631); «...об отношениях, внушивших Пушкину стихотворение «Арион» (VII, 600). «Старый дом» Огарева «принадлежал истории» потому что, по словам самого Чернышевского, он показывал «отпечаток школы, в которой воспитывался» талант Огарева (III, 563), т. е. школы Герцена и передового общественного движения 1840-х годов, возглавляемого им и Огаревым.

Также иногда «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя являлись обозначением реакционной мистической настроенности Гоголя: «того же настроения духа, которое побуждало Гоголя напечатать «Завещание» и «Выбранные места» (III, 542); «о том болезненном направлении Гоголя, из которого возникла «Переписка с друзьями» (IV,

627); «образовании у Гоголя того взгляда на жизнь, который выразился «Перепискою с друзьями» (IV, 638); «развился в нем образ мыслей, обнаружившийся перед публикою изданием «Переписки с друзьями» (IV, 662); «понятиям, которые совершенно противоположны направлению «Переписки» Гоголя» (V, 337).

И наоборот, «Ревизор» и первый том «Мертвых душ» иногда были у Чернышевского обозначением передового мировоззрения писателя (IV, 641).

Тогда Чернышевский называл статью «Менцель--критик Гете» (III, 54), брошюру «Николай Алексеевич Полевой» (III, 28), статью «О русской повести и повестях Гоголя» (III, 12, 15, 30), читатель понимал, что речь идет о Белинском первого периода деятельности (имени Белинского Чернышевский не мог называть вплоть до 1856 года). Характеризуя эволюцию в философском и политическом мировоззрении Белинского, Чернышевский назвал его статьи: об «Очерках Бородинского сражения» и о «Выбранных местах», как крайние точки пути, пройденного критиком Белинского» (III, 248). Первая из них являлась выражением «примирительного» миросозерцания Белинского, вторая отразила его революционно-демократическую настроенность.

Иногда намек посредством метонимии давался Чернышевским в ироническом тоне. Тогда читателю предоставлялось расшифровывать намекающие обозначения «от противного».

Так, желая дать понять читателю, что своим учителем в области философии он считал Фейербаха, Чернышевский не называл его имени, а сначала указывал на материалистическое направление, которое Фейербах представлял, и на школу младогегельянцев, из которой он вышел. Но и это указание произведено Чернышевским лишь перечислением имен вульгарных материалистов Бюхнера, Малешотта, Фохта и младогегельянцев М. Штирнера и Б. Бауэра. Затем Чернышевский с иронией называл Шопенгауэра, являвшегося здесь в действительности символом мировоззрения, противоположного философии Фейербаха: «кто же такой этот учитель, о котором я говорю? Чтобы облегчить вам поиски, я, пожалуй, скажу вам, что он не русский, не француз, не англичанин; не Бюхнер, не Макс Штирнер, не Бруно Бауэр, не Малешотт, не Фохт, — кто же он такой? Вы начинаете догадываться: «должно быть, Шопенгауэр!» восклицаете вы... Он самый и есть, угадали» (VII, 771—772). Здесь Чернышевский намеренно называл в качестве намекающих обозначений те имена, которые связаны были с понятиями, противоположными подразумеваемым. При этом, конечно, им учитывалась известная подготовленность и осведомленность читателя.

Мы наблюдали, что упоминаемые Чернышевским изве

ные факты и обстоятельства в ряде случаев имели двойной смысл, т. к. являлись одновременно характерной частью того целого, о котором нельзя было говорить, не используя иносказания. Эти отдельные имена, названия журналов, книг, статей становились намекающими обозначениями, вызывающими у читателя представления о других явлениях, с ними связанных.

Наряду с метонимией Чернышевский использовал и *перифразу*—такой оборот речи, при котором вместо имени, названия предмета или явления описывались их существенные черты и признаки. Иносказание состояло в том, что под многословным описанием подразумевалось точное имя или название явления. С помощью перифразы Чернышевский искусно обходил цензурные затруднения, не называя ни одного запрещенного имени.

Перифраза была у Чернышевского различной по степени конкретности описания и ясности намека.

Мысль Чернышевского являлась более обнаженной в тех случаях, когда в описании имени или факта присутствовал какой-либо более или менее конкретный признак, косвенно его определяющий.

Не называя материалистическое философское направление, утопический социализм, декабристов, левых гегельянцев, имена В. Г. Белинского (с 1854 года по апрель 1856 года), А. И. Герцена, М. А. Бакунина, Л. Фейербаха, Чернышевский намекал на то, что он имеет их в виду, различными описательными путями. В каждом из этих словесных обозначений присутствовала хотя бы одна черта, характеризующая подразумеваемое.

Это иносказание также не вызывало запрещений цензора, т. к. недозволенное имя или факт не упоминались.

Некоторые из таких перифраз настолько часто повторялись Чернышевским, что образовали устойчивые для его эзоповского словаря словосочетания, к которым читатель привык, точно к псевдонимам.

Таковыми перифрастическими условными обозначениями стали: для Белинского «критика гоголевского периода» (III, 22, 135, 139 и др.)¹; «автор статей о Пушкине» (с вариантами) (III, 12, 22, 131, 139, 164 и др.); «критик «Отечественных записок»» (с вариантами) (III, 22, 76, 96, 131, 135, 163); «критика 1840-х годов» (с вариантами) (III, 18, 135). Для Герцена: «Огарев и его друзья» (с вариантами) (III, 215, 216, 218, 221, 222, 248, 564).

В перифразы Чернышевского входило название произведения подразумеваемого автора, название журнала, где он

¹ Об этом обозначении Чернышевский писал: «Пусть же, за отсутствием собственного имени, это название будет для нее собственным именем» (III, 135).

помещал свои произведения, прямо или относительно указывалось время, к которому относилась его деятельность, назывались имена современников этого лица, к которым он имел какое-то, известное читателю, отношение.

Так, в описательном замещении имени Белинского указывалось на его статьи о Пушкине, «О русской повести и повестях Гоголя» (III, 12), о сочинениях И. Козлова (II, 725), о сочинениях Гоголя «Ревизор» и «Мертвые души» (III, 8), назывались журналы «Телескоп», «Московский наблюдатель», «Отечественные записки», «Современник» (III, 134—135).

Упоминалось время деятельности Белинского или прямо (указывались 1840-е годы), или косвенно в отношении других писателей и критиков (предшественников, современников и последователей). Так, говоря о критике Н. А. Полевого и Н. И. Надеждина, Чернышевский писал, что она «далеко уступает своею глубиною последующей критике, имеет значение только как приготовление к этой критике» (II, 497). Или по отношению к Пушкину: «Критика, возникшая вскоре после смерти Пушкина..., гораздо полнее и точнее, нежели современная ему критика, определила» его значение в русской литературе (II, 498). В рецензии на издание стихотворений И. Козлова, говоря о современных ему критиках, Чернышевский, не называя Белинского, писал о том, что оценка творчества поэта «уже прекрасно сделана их предшественниками» (II, 725). Или просто писал о Белинском как о «критике прежнего времени» (III, 9), как о «недавней» критике, о «недавних временах ее, которые еще в свежей памяти у нынешних читателей» (II, 498); то же в статье «Об искренности в критике» (1854 г.; II, 255). Встречается и ироническое определение времени деятельности Белинского, как «критики той глубокой древности», которая «только потому древность, что забыта отсутствием убеждений» (III, 8).

Читатель догадывался, что речь шла о Белинском, когда в перифразе упоминалось его отношение к творчеству Пушкина и Гоголя: «назвав Пушкина, мы, быть может, напомним вам о другом деятеле на поприще истории русской литературы» (II, 407); «некоторый другой критик уже назвал Гоголя главою русских писателей, преемником Пушкина» (III, 116, 30).

Аналогичные приемы использовал Чернышевский, перифразируя запретное к упоминанию в печати имя Герцена. Он называл Герцена «автором «Писем об изучении природы» (VII, 711, 763), упоминал журнал «Московское обозрение», который Герцен и Грановский «задумали было издавать» (VII, 740), и журнал «Московский наблюдатель», который «был прекрасным выражением стремлений молодежи, пылкой и благородной» (III, 197), писал, как уже говорилось, об его дружбе с Огаревым, напоминая всем этим о Герцене. Также

назвав имя Станкевича и его круг, Чернышевский намекал читателю, что он имеет в виду отметить деятельность Герцена: «Мы пропустили некоторые имена, еще более выразительные. Душою их круга был Станкевич» (III, 197). Чернышевский использовал и такую перифразу, при которой вместо имени или точного названия философского или общественного течения давалась их общая характеристика, указывалось на отдельные стороны деятельности лица или на особенности течения, определялось их значение для настоящего и т. д.

Не называя имени Белинского, Чернышевский давал понять, что речь идет о нем, следующими определениями и характеристиками черт его деятельности: «лучший наш критик» (III, 131); «критика... имела огромное, живое и прекрасное значение в литературе, влияние на публику... она была тогда требовательна, смела, строга» (II, 382); «критика... отличалась прямою, неуклончивостью, неуступчивостью (в хорошем смысле)..., называвшей все вещи... прямыми их именами» (II, 255); деятель новой (после Надеждина) критики «влил новую жизнь в нашу литературу и в нашу публику» (III, 163) и т. д.¹

Имея в виду материализм, но отнюдь не называя этот термин, Чернышевский в перифразах упоминал о его происхождении, о его борьбе с идеализмом, указывал на неразрывную связь новой философии с естествознанием, на ее современность и т. д. Так, Чернышевский называл материалистов и Фейербаха «лучшими из бывших последователей Гегеля» (III, 202), создавшими «новое философское учение, которому система самого Гегеля служила не более как предшественницею» (III, 179, 25). В косвенных обозначениях отмечалось, что материалисты и Фейербах положили «основание новому направлению в науке» (III, 209) и возвели ее «к высшей истине» (III, 218). Чернышевский называл Фейербаха и материалистов «величайшими из современных немецких мыслителей» (III, 209), определял материализм как «новые воззрения» (III, 179), «новую философию» (III, 219), которая, «признав множество своих результатов с учением естественных наук, слилась с общею теориею естествоведения и антропологиею» (III, 179); «трудами новейших немецких мыслителей философия получила содержание, соответствующее требованиям точных наук, и основалась, подобно естествознанию, на строгом анализе фактов» (III, 180); «теория, которую считаю я справедливой, составляет самое последнее звено в ряду философских систем» (VII, 771); материалисты — это те, которые провозгласили «новый, более простой взгляд на вещи» (II, 127, 157) и т. д.

¹ См. также: т. II, стр. 264; т. III, стр. 25, 27, 30.

Описательно сообщал Чернышевский читателю и об утопическом социализме, отмечая в перифразе противоречия этой теории и указывая на место ее происхождения: «Во Франции возникли... новые теории национального благосостояния... под видимыми странностями скрывались в этих системах истины и глубокие и благодетельные» (III, 216).

Не мог также Чернышевский писать открыто о мистическом, религиозном настроении, овладевшем Гоголем в последний период его жизни. Он перифрастически называет это настроение «назидательным настроением души» (IV, 588), «болезненным направлением Гоголя, из которого возникла «Переписка с друзьями» и «Развязка Ревизора» (IV, 627), «неуместным и неловким идеализмом, столь сильно отразившимся на втором томе «Мертвых душ» (IV, 627) «так называемым аскетическим направлением» (IV, 632, 641, 642, 644, 651, 659). При этом Чернышевский включал в перифразу упоминание тех произведений, в которых наиболее полно выразилось это настроение, — «Выбранные места из переписки с друзьями», второй том «Мертвых душ», «Развязку Ревизора». Читатель, знавший эти произведения, понимал, о каком направлении в настроении Гоголя шла речь.

Не имея возможности назвать Письмо Белинского к Гоголю, Чернышевский писал об этом также иносказательно, называя «Выбранные места из переписки с друзьями», по поводу которых было написано «Письмо»: «Много лет спустя, когда случилось Гоголю, по поводу своей «Переписки с друзьями» вступить в спор с человеком иного образа мыслей» (IV, 637).

Но не всегда в перифразах Чернышевский пользовался, хотя и косвенным, но конкретным обозначением. Часто иносказание состояло в таком описании, в котором перечислялись черты подразумеваемого лица или явления, уже не конкретные, но понятные современникам.

Так, в статье «Упрек и оправдание» (1859) Чернышевский писал о «нерасположении» к вопросу об освобождении крепостных крестьян, существующем «в нескольких отдельных лицах», которые, «как бы высоко ни стояли, не могут быть названы представителями образованных людей... благодаря счастливым обстоятельствам происхождения, связей или богатства эти люди толпятся в тех местах, где дается направление нашим делам» (V, 776). Современный Чернышевскому читатель, знавший, что происходит в правительственных кругах в связи с подготовкой реформы и в чьих руках находится выработка проекта освобождения, видимо, понимал, что в данном случае Чернышевский имел в виду таких сановников-крепостников, членов Главного комитета по крестьянскому делу, как председателя Государственного Совета кн. А. Ф. Орлова, члена этого Совета кн. П. П. Гагарина, шефа жан-

дармов кн. В. А. Долгорукова, министров юстиции и государственных имуществ гр. В. Н. Панина и М. Н. Муравьева и других¹. Сначала Чернышевский предполагал высказаться более откровенно о деятельности этих лиц. В рукописи значилось: «вредные мнения этой горсти людей»². Это выражение было им исправлено на менее резкое и менее определенное: «невежественные мнения этой горсти людей» (V, 776).

В этой же статье Чернышевский писал, что «надобно обеспечить литературу от неприятностей, которым подвергают ее недобросовестность или непонимание людей, не имеющих ничего общего с настоящею цензурою... До сих пор она не была ограждена от незаконного вмешательства со стороны лиц, которые собственно не должны были бы иметь над нею никакой власти» (V, 772). И здесь тоже, не называя имен, Чернышевский намекал на членов «Комитета по делам книгопечатания», тайного государственного органа для политического наблюдения за литературой: гр. А. А. Адлерберга, сына министра царского двора; Н. А. Муханова, товарища министра народного просвещения, и А. Е. Тимашева, начальника штаба корпуса жандармов и управляющего III отделением³, вмешивавшихся в дела цензуры.

Еще менее намек чувствовался в таком отвлеченном перифрастическом способе изложения, при котором конкретные термины, отдельные слова или явления заменялись книжными отвлеченными выражениями, эвфемистическими формулами, описывающими явление в общем виде, прикрывающими запретные имена и термины «обтекаемыми», «безобидными» определениями. При этом Чернышевский умело пользовался полисемантизмом слов.

Такие перифразы растягивали изложение, усложняли ход мысли, делали повествование по форме более академичным, отвлеченным. Но отвлеченная форма этого способа изложения содержала в себе намек на вполне конкретные явления жизни и являлась способом, отвлекающим внимание цензора.

Вот что писал об используемом для конспиративной цели перифрастическом изложении Н. А. Добролюбов: «Длиннота происходит оттого, что часто бесконечным перифразом объясняется то, что можно бы обозначить просто одним словом; но в том-то и беда, что эти слова, весьма обыкновенные в других европейских языках, русской статье дают обыкновенно такой вид, в котором она не может явиться пред публикой. И приходится поневоле перевертываться всячески с фразой,

¹ К. Н. Журавлев. Примечания. Полн. собр. соч. Н. Г. Чернышевского, т. V, стр. 950.

² ЦГАЛИ. ф. № 1, оп. № 1, ед. хр. 169, л. 14. (Курсив наш.—Б. Л.).

³ К. Н. Журавлев. Примечания. Полн. собр. соч. Н. Г. Чернышевского, т. V, стр. 950.

чтобы ввести как-нибудь читателя в сущность излагаемой мысли»¹.

Такую отвлеченную форму изложения, способ фразеологических подстановок вместо конкретных терминологических обозначений Чернышевский использовал, когда писал о порядках самодержавной России, об ее политическом режиме, о принудительном труде, о крепостном праве, о бесправном положении литературы, о революции и революционерах и т. п.

В. Костомаров в записке «Разбор политической деятельности Чернышевского» среди приемов его иносказания отметил и особую фразеологию перифразы: «бунтовать, — писал он, — по фразеологии Чернышевского, значит одушевляться сознанием своих сил»².

Так, вместо термина «самодержавие» Чернышевский писал: «азиатская обстановка жизни», «азиатское устройство общества», «азиатский порядок дел» (V, 698, 700), неблагоприятные «исторические обстоятельства» (V, 694—695), «обстоятельства и учреждения», которые не благоприятствуют осуществлению просвещения народа и подавляют в нем энергию (V, 696) и т. д. Общий политический режим в стране, определяющий поведение и привычки отдельных людей, тяготеющий над литературой и тормозящий ее развитие, определялся как «сила обстоятельств, не зависящих от личной воли» (IV, 283), как «отношения и обстоятельства, гораздо более важные, которые тяготеют над всеми без исключения талантами» (III, 307), как «обстоятельства, чуждые намерению и желанию писателей» (III, 654), как «натура обстоятельств» (V, 360), как «какие-то общие обстоятельства, подчинявшие своему влиянию все личности, за очень немногими исключениями» (IV, 641).

Реформа освобождения крестьян обозначалась Чернышевским как «важнейшие нынешние заботы русского общества» (VII, 186), а освободительную борьбу в Европе он называл «принципами, несогласными с прежним порядком дел» (VII, 80). Принудительность труда называлась «неблагоприятными внешними обстоятельствами» (IX, 77).

Бесправное положение русской литературы характеризовалось им как «то оригинальное состояние, в котором находится она относительно условий своего развития» (III, 303—304). Желая намекнуть читателю на то, что возражения литературных врагов Белинского и Гоголя приобретали иной раз характер политических доносов, Чернышевский писал, что «они (т. е. <полемисты Белинского и Гоголя>. — Б. Л.) литературные вопросы... часто старались переносить в об-

¹ Н. А. Добролюбов. Луч света в темном царстве. Собр. соч. в 9-ти томах. М.-Л., Гослитиздат, 1963, т. 6, стр. 315.

² М. Лемке. Политические процессы в России 1860-х гг. М.—П. Госиздат, 1923, стр. 415.

ласть юридических обвинений» (III, 234) и что нападения Полевого на Гоголя «переходили даже границы литературной критики и принимали, как тогда выражались, «юридический характер» (III, 22). То же самое Чернышевский имел в виду, говоря о полемике Каченовского с Надеждиным, когда использовал следующую перифразу: «Каченовский вздумал для своей защиты прибегнуть не к обыкновенному литературному оружию, а к странному и вовсе не похвальному средству» (III, 147—148). Имея в виду славянофильские увлечения Ап. Григорьева, Чернышевский писал: «странные обольщения», «странные тирады» (III, 44). Реалистическое, обличительное направление в литературе, в творчестве Гоголя, в протестующей поэзии Лермонтова Чернышевский называл: «грустный тон в литературе» (III, 114), «глубоко грустное» содержание «Миргорода» (III, 114—115) и «Мертвых душ» (III, 132), «грустный тон» стихотворений Лермонтова (III, 111). Насущные потребности общества Чернышевский называет «серьезными вещами» (VII, 448), «историческими делами» (VII, 449).

Аналогичной перифразой сообщал Чернышевский читателю о протестующих действиях народа, об освободительной борьбе, о революциях и революционерах и т. п. Выражение: «попытка отомстить без соблюдения формальностей» означало стремление расправиться с угнетателем (VII, 869). Вместо слов: «революция», «освободительная борьба» Чернышевский писал: «эпоха одушевления» народа, «минута одушевления» массы (VII, 883, 887), «краткий период благородного порыва» (VI, 12), «краткие периоды усиленной работы» (VI, 13), «светлые эпохи одушевленной исторической работы», «минуты творчества» (VI, 13—14), «исторические дела» (VI, 417), «пути неправильные» развития страны (VI, 468), «действительные средства к приобретению независимости» (VII, 839), «какие-нибудь особенные обстоятельства» (VII, 146) и т. д. Время, благоприятное для революционной борьбы, он обозначал следующим образом: «обстоятельства располагаются вызывающим к деятельности образом или, по крайней мере, начинают допускать эту деятельность» (VII, 888).

Революционеров Чернышевский называл «людьми, имеющими в себе силу инициативы» (VII, 887; V, 672).

В рукописях Чернышевского можно наблюдать еще примеры замены им с целью конспирации конкретных и, следовательно, открытых выражений и терминов общими обозначениями и отвлеченными перифразами.

Намереваясь сообщить читателю о возможности приближения революционного переворота во Франции, Чернышевский тщательно подыскивал более общее, эвфемистическое выражение для этой мысли. Более или менее конкретные формулировки: «замечаются признаки, свидетельствующие

о приближении переворота», «замечаются признаки, свидетельствующие о сильных изменени<ях>», «замечаются признаки, свидетельствующие о том, что ход истории...» — он последовательно менял на более общее выражение: «замечаются признаки, свидетельствующие о том, что приближается для французских учреждений новый кризис» (VI, 17, 523)¹.

Или, например, в статье «Кавеньяк» такое конкретное определение спада революционного восстания, как: «энергия народных движений быстро начинает сбывать»², было замечено Чернышевским следующей отвлеченной перифразой: «за напряжением сил следует усталость» (V, 23).

Объясняя смысл своей рецензии на «Губернские очерки» Н. Щедрина, в которой осуждению подвергаются не злоупотребления отдельных чиновников, а то, что их порождает, Чернышевский первоначально писал: «У нас два таких пристрастия: во-первых, склонность к состраданию тем людям, которые терпят гонения и нарекания и прищипыванию средств для их из...»³. Не закончив фразы, Чернышевский решил изменить это конкретное выражение мысли на более отвлеченное: «склонность к извинению человеческих слабостей» (IV, 301).

Придавая иной раз в целях иносказания своему изложению нарочито академический, отвлеченный характер, Чернышевский стремился подвести читателя к волновавшим его вопросам. Отвлеченность и академичность некоторых рассуждений Чернышевского была лишь формой, за которой скрывался едва уловимый намек на частные и конкретные обстоятельства. Эта отвлеченность адресовалась цензору, читателю же предоставлялась возможность и даже необходимость подстановки под отвлеченное изложение конкретного содержания.

Такое изложение встречалось и в виде отдельных замечаний по ходу конкретного повествования, и в виде пространных, на несколько страниц, рассуждений по тому или иному поводу.

В статье «О новых условиях сельского быта» (1858), защищая идею необходимости отмены крепостного права, Чернышевский, как известно, намекнул на возможность крестьянского восстания в следующем «общем» заключении, конкретный смысл которого мог быть воспринят читателем только в контексте: «Этот аргумент <полное несоответствие обязательного труда при крепостном праве экономическим законам. — Б. Л.> совершенно достаточен для здравого смысла. Но кроме здравого смысла, бывают в людях страсти. Против

¹ ЦГАЛИ, ф. № 1, оп. № 1, ед. хр. 161, л. 14. Курсив здесь и дальше наш.

² ЦГАЛИ, ф. № 1, оп. № 1, ед. хр. 145, л. 8.

³ ЦГАЛИ, ф. № 1, оп. № 1, ед. хр. 130, л. 17 об.

них существуют аргументы еще более точные и т. д.» (V, 105).

В статье о «Губернских очерках» Н. Щедрина (1857), высказывая идею общественной обусловленности дурных поступков отдельного человека и намекая на единственную возможность уничтожения пороков путем основательного изменения общественно-политического строя, Чернышевский выражал все это в следующем «общем» весьма пространном рассуждении: «Много остатков и зародышей добра и благородства таится в душе самого дурного из дурных людей... самый закоснелый злодей все-таки человек, т. е. существо, по натуре своей склонное уважать и любить правду и добро и гнушаться всем дурным, существо, могущее нарушать законы добра и правды только по незнанию... или по влиянию обстоятельств сильнейших, нежели его характер и разум... Отстраните пагубные обстоятельства, и быстро просветлеет ум человека и облагородится его характер» (IV, 288). Аналогичным способом выражалась мысль о соотношении классовых сил в России в связи с совершением правительственной реформы 1861 г. (рассуждение по поводу реформ в Пруссии в апрельском политическом обозрении 1862 г.): «<...> великодушный обладатель сил, сделавший уступку, все-таки считает себя сохраняющим власть и могущим действовать сообразно тому, а пощаженный противник остается в положении, зависимом от него; следовательно, действительные отношения остаются и после уступки совершенно таковы же, как были до ней, и уступка имеет лишь формальное значение: если она делается, то придает блеск великодушия снисходительному сильному, и если принимается его противником, то свидетельствует, что этот противник считает себя слабее его, — ведь иначе этот противник не стал бы и ждать уступок, не только что принимать их, а сам продиктовал бы условия нового порядка вещей. Стало быть, исторические вопросы нимало не решаются уступками, которые имеют лишь то влияние, что на несколько времени замаскировывают реальное положение дел формальной благовидностью снисходительного великодушия» (VIII, 642)¹.

Так риторический вопрос, умолчание, метонимия, различные виды перифрастического изложения, т. е. особые обороты речи, при которых мысль оставалась намеренно недосказанной, скрывали в себе в неодинаковой степени завуалированный намек на лица, факты и обстоятельства, прямо не называемые. Такие намеки и недомолвки вместе со многими другими приемами характеризовали эзоповскую манеру и стилистические особенности речи Чернышевского. Вопросительные предложения, умолчания, метонимия, перифраза в одинаковой степени использовались Чернышевским как в ранние го-

¹ См. также: т. VIII, стр. 21.

ды публицистической деятельности, так и в годы революционной ситуации.

Вопросительные предложения (в том числе риторический вопрос) придавали публицистике Чернышевского живость и эмоциональность. Вместе с метонимией и перифразой они сообщали изложению Чернышевского ту интригующую недоговоренность, которая будила творческую активность читателя и заставляла его домысливать текст.

Повествование становилось многословным и книжным, когда Чернышевский пользовался отвлеченной перифразой, построенной на описании самых общих черт лица, факта, обстоятельств. Но под этой видимой академичностью и объективностью изложения пронизательный читатель чувствовал живую и страстную мысль публициста, его революционную партийность в решении актуальных вопросов и в отношениях к друзьям и врагам.

А. А. ДЕМЧЕНКО

ИЗ ИСТОРИИ ПОЛЕМИКИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО С А. В. ДРУЖИНИНЫМ

Вспоминая первые годы сотрудничества в «Современнике», Чернышевский так охарактеризовал литературные взаимоотношения с Дружининым: «Когда я стал писать исключительно для «Современника», я вытеснил из него Дружинина: я писал так много, что для Дружинина, писавшего быстро и много, не оставалось достаточно места; притом его литературные понятия были слишком различны от моих»¹. Исследователями собран и изучен большой историко-литературный материал, конкретизирующий и подтверждающий эти заявления Чернышевского². Однако самая ранняя стадия своеобразного «вытеснения» из журнала молодым критиком-материалистом, последователем Белинского главы тогдашней русской «эстетической» критики, происходившая в формах скрытой, подспудной полемики, еще недостаточно прояснена.

Мировоззрение и литературные интересы Дружинина складывались таким образом, что он с недоверием относился к материалистической теории искусства Белинского и к политическим взглядам великого критика³. «Последние полтора

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., М., Гослитиздат, т. 1, 1939, стр. 721. В дальнейшем ссылки даются по этому изданию.

² Е. А. Ляцкий. Н. Г. Чернышевский в редакции «Современника» (Некрасов, Тургенев, Добролюбов).—«Современный мир», 1911, № 9—11; В. Е. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, М., 1936; А. Лаврецкий. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм, М., 1941; З. В. Смирнова. Вопросы художественного творчества в эстетике русских революционных демократов, М., 1958; Б. И. Бурсов. Мастерство Чернышевского-критика, Л., 1959.

³ Об этом Дружинин писал в статье «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» (1856); А. В. Дружинин. Собр. соч. под ред. Н. В. Гербея, т. 7, СПб, 1865, стр. 194—195. В дальнейшем для ссылок используется это издание.

года, — писал Дружинин в июне 1849, имея в виду революционные события, — были тяжелым временем для любителей изящного во всей Европе. Науки и искусства будто замерли под влиянием политического урагана; посреди общей тревоги перестали появляться создания, для которых нужно спокойствие, спокойствие и спокойствие. «Области изящного предстоит грустная будущность»: так думали и думают все, для кого нет жизни без спокойствия, без тихих радостей, обильно доставляемых искусствами и науками»¹. Свой вывод: «Всякий гражданский переворот вредно действует на литературу» — Дружинин повторит через год в статье «О современной критике во Франции»².

Годы «мрачного семилетия» способствовали развитию теории «чистого искусства». В условиях цензурного террора, когда литература «сделалась делом и опасным, и в высшей степени затруднительным»³, тезис о самодовлеющем значении искусства получал в известной степени объективное оправдание. Дружинин становится наиболее погледовательным защитником этой теории, всегда возникающей, по замечанию Плеханова, «на почве безнадежного разлада» художников с окружающей их общественной средой⁴.

Чернышевский, провозгласивший общественную значимость искусства, сразу же определился как противник эстетической концепции Дружинина, которая к 1854 году вполне сформировалась. Было еще невозможно открытое выступление против Дружинина, в ту пору «самого важного, самого деятельного сотрудника» «Современника»⁵. Позже Чернышевский писал: «Того, чтобы иметь работу в журналах, я добился только к весне 1854 г.; еще с год прошло, прежде чем получил я возможность писать так и о таких предметах, чтобы сколько-нибудь проглядывали мои особенные понятия в моих статьях. Да и то все продолжали мешать ясности и значительности моих работ разные условия, находившиеся отчасти в личных недостатках моего характера, отчасти в тогдашних журнальных отношениях к тогдашним литературным знаменитостям»⁶.

¹ «Современник», 1849, № 6, отд. 5, стр. 211, А. В. Дружинин, т. 6, СПб. 1865, стр. 115—116.

² Там же, 1850, № 10, отд. 2, стр. 187. Статья анонимна. В «Собрание сочинений А. В. Дружинина» не включена. Принадлежность ее критику указана в «Списке сочинений А. В. Дружинина», составленном Н. В. Гербедем; см. А. В. Дружинин, т. 2, СПб., 1865, стр. 588.

³ М. Н. Лонгинов. Листок из воспоминаний.—В кн.: А. В. Дружинин, т. 8, СПб., 1867, стр. X.

⁴ Г. В. Плеханов. Искусство и общественная жизнь.—Избранные философские произведения в пяти томах, М., Соцэгиз, т. 5, 1958, стр. 698.

⁵ Н. Г. Чернышевский, т. 1, стр. 721.

⁶ Первоначальная редакция статьи «В изъявление признательности (письмо к г. З-ну)». Н. Г. Чернышевский, т. 10, М., 1951, стр. 118.

Внимание Чернышевского прежде всего привлекло противодействие Дружинина «натуральной школе» Белинского. Школа эта, утверждал Дружинин, не верна действительности, потому что стремится к изображению исключительно отрицательных, теневых ее сторон. «Конечно, на свете много дурных людей и много пошлости, — пишет он, — но поминутно гоняться за тем и другим, в ущерб утешительным сторонам, не значит ли принимать часть за целое, а ложь за истину?». И критик предлагает «не церемониться» с писателями, «силящимися довести гоголевское направление до его крайних пределов»¹. За «рабское подражание» Гоголю сурово осуждаются Писемский («Комик»), Островский («Бедная невеста»), М. Михайлов («Скромная доля»). «Любителям всего кислого, — заявлял Дружинин, — мы подставим веселость и умение быть счастливыми, труд сильный, но не крикливый, деятельность *ohne Hast, ohne Kost*, но в особенности *ohne Scandal*², деятельность, приправленную способностью сжиться с жизнью. Для нас останется все утешительное и прекрасное в современной жизни...»³

Этим эстетическим рекомендациям следовал в своем творчестве М. В. Авдеев. Рецензия Чернышевского на сочинения писателя была в числе первых выступлений критика-демократа против Дружинина. Анализ повести «Ясные дни» служил, по существу, опровержением тезиса о «примирении» искусства с действительностью. Чернышевский критиковал Авдеева за приукрашивание жизни тунеядцев-помещиков. «Идеализируйте их, — замечает он дворянскому писателю, имея в виду и дружининские декларации, — если у вас идеализирующий, примиряющий взгляд; и ваше дело будет правдивое, благородное дело, потому что в прошлом или ничтожном человеке будете учить нас любить человека. Но говорить нам: люби в этом человеке все, — нет! Это не дело истины и поэзии: это — дело поверхностной, апатической, антипоэтической непроницательности»⁴.

Свою мысль критик развил в рецензии на пьесу Островского «Бедность не порок». Выступая против славянофильских увлечений Островского и А. Григорьева, Чернышевский полемизировал одновременно и с Дружининым, оказавшимся

¹ А. В. Дружинин, т. 6, стр. 639, 640.

² Без торопливости, без издержек, без скандала (*нем.*). Впоследствии эпиграфом журнала «Библиотека для чтения», редактируемого Дружининым с 1856 г., будет: «*Ohne Hast, ohne Rast*» («Без торопливости, без отдыха»).

³ А. В. Дружинин, т. 6, стр. 702.

⁴ «Современник», 1854, № 2, Библиография, стр. 48—49; Н. Г. Чернышевский, т. 2, М., 1949, стр. 218.

в одном лагере с ними¹. Возведение А. Григорьевым смысла пьес драматурга к примирительному идеалу «всеобщей любви»² было созвучно дружининскому отрицанию обличительного направления в словесности. Еще в 1852 году, после опубликования «Бедной невесты», Дружинин, сразу же отметивший обличительные тенденции пьесы, осудил «ревностное» подражание Гоголю. Критик предлагает писателю («хоть бы для шутки»!) отклониться от критического направления: «Пусть он даст одному из своих следующих произведений счастливый конец, выведет на сцену несколько лиц, глядящих на жизнь с светлой, утешительной и разумной точкой зрения, пусть он придаст лицам этим несколько благородных и хороших сторон», — только тогда он скажет «новое слово в словесности»³.

Обозревая творчество драматурга за годы после появления «Бедной невесты», Чернышевский усматривает постепенный отход Островского от принципов «натуральной школы». Усвоение ложной идеи «примирения» с жизнью привело в пьесе «Бедность не порок» к идеализации патриархально-купеческого быта («приторное прикрашивание того, что не может и не должно быть прикрашиваемо») ⁴. Как бы припоминая дружининские рекомендации Островскому, критик показывает их, в данном случае, отрицательное воздействие на творчество крупного художника.

2.

Полемически скрестились мнения Чернышевского и Дружинина и по другому актуальному вопросу русской литературной жизни. Речь идет о спорах вокруг проблемы положительного героя.

Дружинин в ранних беллетристических произведениях, а затем и в статьях был одним из первых после Белинского, кто подверг критическому разбору типы «лишних людей». Не случайно Белинский сочувственно встретил появление первых по-

¹ Идеинная близость Дружинина эстетическим позициям А. Григорьева в этот период отмечена в статье: М. Г. Зельдович. Николай Чернышевский и Аполлон Григорьев (Из творческой истории «Очерков гоголевского периода русской литературы»). — «Филологические науки», 1961, № 3, стр. 102.

² Подробнее в статье: А. П. Скафтымов. Белинский и драматургия Островского («Статьи о русской литературе», Саратов, 1958, стр. 152).

³ А. В. Дружинин, т. 6, стр. 640.

⁴ «Современник». 1854, № 5. Библиография, стр. 24; Н. Г. Чернышевский, т. 2, стр. 240. В 1854 году Дружинин печатно не выразил своего несогласия с этой рецензией. Но в 1859 г. в статье об Островском, не называя имени Чернышевского, он выскажется в том смысле, что в его рецензии «неблагоклонность приговора могла только равняться с какой-то небывалой, дикой невежливостью выражений» (А. В. Дружинин, т. 7, стр. 547)). См. Н. И. Тотубалин. Творчество Островского в русской критике (1859). — «Ученые записки Ленинградского ун-та», серия филол. наук, вып. 49, стр. 28—34.

вестей писателя. Отмечая в «Полиньке Сакс» «незрелость мысли», «преувеличение» («лицо Сакса немножко идеально»), критик все же считал необходимым указать на присутствие в повести «душевной теплоты и верного сознательного понимания действительности». Вторая повесть («Рассказ Алексея Дмитриевича») «подтверждает,—писал Белинский,—мнение о самостоятельности таланта автора»¹.

В произведениях Дружинина рефлектирующему «лишнему человеку» противостоит иной, «дельный» человеческий тип. Константин Александрович Сакс, по словам автора, не требовал от жизни «высоких несбыточных страстей и деяний», призывая делать «пользу вокруг себя»². Алексей Дмитриевич «сильно не любил претензий на разочарование, которые и прежде были смешны, а теперь сделались окончательно глупы»³. Он склоняется к трезвому, практическому, соответствующему реальной действительности, а не романтическим мечтам.

Разумеется, главные действующие лица этих повестей были далеки от идеала положительного героя, который рисовался Белинскому в образе человека-деятеля, революционера мысли, борца, осознающего необходимость коренного социального переустройства русского общества. Дружининские персонажи были положительно расценены критиком как пример людей, нашедших деловое место в жизни и противопоставленных в этом плане «лишнему человеку».

Эту критическую линию Дружинин продолжает и после смерти Белинского. По поводу «Дневника лишнего человека» Тургенева он писал: «Мы в последнее время так уже привыкли к психологическим развитиям, к рассказам «темных», «праздных», «лишних» людей, к запискам мечтателей и ипохондриков, мы так часто, с разными, более или менее искусными нувеллистами, заглядывали в душу героев больных, робких, загнанных, огорченных, вялых, что наши потребности совершенно изменились. Мы не хотим тоски, не желаем произведений, основанных на болезненном настроении духа...»⁴. Уже здесь определилась характерная особенность взглядов Дружинина на положительного героя. Для него такой герой не отрицатель, а «утешитель». При этом главную причину «мелочности», в которую будто бы впала литература «за последние пять или шесть лет», критик видит в преобладании «сати-

¹ «Современник», 1848, № 3, Критика и библиография, стр. 35; В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., М.-Л., АН СССР, т. X, 1956, стр. 347.

² Там же, 1847, № 12, отд. 1, стр. 193; А. В. Дружинин, т. 1, стр. 41.

³ Там же, 1848, № 2, отд. 2, стр. 213; А. В. Дружинин, т. 1, стр. 99.

⁴ «Современник», 1850, № 5, Смесь, стр. 80; А. В. Дружинин, т. 6, стр. 335.

рического элемента»¹. Образцом более «истинного» литературного развития он называет английскую словесность, в частности, произведения Диккенса, «предназначенные для того, чтобы разливать вокруг себя счастье, веселье и добрые помыслы»².

Особого внимания заслуживает отзыв Дружинина о повести М. В. Авдеева «Варинька» — первой части его романа «Тамарин»³. Констатируя влияние «Героя нашего времени» на «Вариньку», критик указывал автору, что в Печорине тот «подметил самую бедную его сторону, или лучше сказать, не ту сторону, с которой создание Лермонтова глубоко и замечательно». «Печорин, которого близорукие читатели и может быть сам Лермонтов готовы,—пишет Дружинин,—признать демоном, не заключает в себе ничего демонического, мощного, особенно увлекательного», «он не притворяется больным, он заражен болезнью, и болезнь эта развита в нем отчасти обществом, отчасти собственною, но не обращенную на добро натурою». Между тем Авдеев пытается олицетворить в своем Тамарине фальшивую грандиозность Печорина⁴. Критик предлагает писателю вывести героя из «замкнутого круга привычных отношений», столкнуть его с «высшим организмом» или с человеком, равным ему по «характеру, уму и гордости», чтобы сорвать с Тамарина «маску избитого разочарования»⁵.

Мнение Дружинина оказало решающее влияние на Авдеева. В авторском предисловии к роману «Тамарин» (1854 г.) сообщалось о намерении переосмыслить роль «лишних людей» типа Печорина. Романист утверждает, что «Лермонтов увлекся своим героем и поставил его в каком-то поэтическом полусвете, который придал ему ложную грандиозность». Большинство обоготворило Печорина «и вместо того, чтобы увидеть в нем образец своих недостатков, стало рядиться в него, стало ему подражать». «Показать обществу и человеку, как они обманывались, и показать разоблачение этого обмана»—в этом видит автор свою задачу.

Цитируя предисловие в рецензии на сочинения писателя, Чернышевский указал, что такой замысел Авдеев попытался осуществить лишь в последней из повестей, вошедших в роман — в «Иванове», написанной два года спустя после «Вариньки». За это время, замечает Чернышевский, автор мог «измениться и изменить взгляд на своего героя», «мог—при-

¹ «Современник», 1850, № 5, Смесь, стр. 81. А. В. Дружинин, т. 6, стр. 336.

² Там же, 1851, № 2, Смесь, стр. 234; А. В. Дружинин, т. 6, стр. 478.

³ Повесть опубликована в журнале «Современник», 1849, № 9, отд. 1, стр. 5—82.

⁴ Там же, № 10, Смесь, стр. 317—318; См.: А. В. Дружинин, т. 6, стр. 165—166.

⁵ Там же, стр. 319—320; А. В. Дружинин, т. 6, стр. 167—168.

помощи критики—разочароваться в Тамарине и позабыть, что был им прежде очарован»¹.

Действительно, Авдеев вводит в роман образ человека совершенно иного, в сравнении с Тамариным, склада характера и воззрения на жизнь. Таким здесь показан Иванов, «перед которым окончательно ступшевывается Тамарин». Но отсутствие самостоятельности в таланте, утверждает Чернышевский, повело писателя по уже проторенному пути: Иванов есть точная копия Сакса. Он такой же «энергический защитник правды на поприще служебной деятельности, бесстрашно, неутомимо борется с лицепрятием и т. д., так же спокойно и возвышенно говорит, так же ставит правду и дело выше личного счастья и любви...»². Такие герои, как Сакс-Иванов, поясняет Чернышевский этой иронической характеристикой, принадлежат прошлому русской жизни и не могут называться людьми «нового направления». «Мы еще не читали его произведений, — пишет критик об Авдееве, — в которых отразилась бы своя, не избитая и не отсталая мысль». Только в том случае он сможет «дать нам свое и такое, что действительно принадлежало бы современной жизни по развитию мысли..., если серьезно подумает о том, какие люди, с какими понятиями о жизни истинно современные люди, истинно современные писатели...»³.

Полемизируя с Дружининым и Авдеевым, Чернышевский по-своему ставит проблему деятеля, героя нового типа, уже нарождающегося в жизни и могущего стать в литературе положительным художественным образом⁴. Но во весь голос об этом будет сказано позже, в годы первой революционной ситуации, когда критика «лишних людей» выйдет за рамки литературной полемики⁵.

3.

Отсталыми, не отвечающими требованиям современного развития литературы Чернышевский посчитал не только эстетические позиции Дружинина, но и самую форму его выступлений.

Жанр дружининских статей в 1849—1854 гг.—это преиму-

¹ Там же, 1854, № 2, Библиография, стр. 41; Н. Г. Чернышевский, т. 2, стр. 211.

² Там же, стр. 46; Н. Г. Чернышевский, т. 2, стр. 215.

³ Там же, стр. 46, 52, 53; Н. Г. Чернышевский, стр. 215, 221.

⁴ О том, что взгляды Чернышевского на положительного героя в основном определились уже в начале литературно-критической деятельности, писал Б. И. Бурсов, сделавший свой вывод на основании отзыва Чернышевского о романе М. Михайлова «Марья Ивановна» (1853). См.: Б. И. Бурсов, Мастерство Чернышевского-критика, Л., Советский писатель, 1959, стр. 31.

⁵ Подробнее см.: А. Лаврецкий. Чернышевский.—В кн.: «История русской критики», М.-Л., АН СССР, т. 2, 1958, гл. 2, стр. 76—77.

шественно ежемесячные фельетонные обзоры литературы в виде «Писем Иногороднего Подписчика о русской журналистике». Вспоминая тяжелые для литературы годы, Некрасов писал о полных «блеска, живости, занимательности» фельетонах Дружинина, «которые по всей журналистике того времени одни только носили на себе печать жизни»¹. Несомненно, цензурные обстоятельства оказали свое влияние на возникновение такой формы журнальных обзоров. Но знаменательно, что фельетону, во многом обязанному своим развитием именно Дружинину, критик поручает особые функции, согласующиеся с его эстетическим credo. «Фельетонная манера изложения», утверждает Дружинин, дает возможность избавиться от двух основных недостатков, особенно характерных для критиков 40-х годов: малой начитанности и увлечения полемикой. Вместо последней, породившей «вредную» для литературы «нетерпимость мнений» и «исключительную» приверженность к теоретическим построениям, он предлагает чтение, переводы, компиляции, т. е. «полезный и правильный» труд². «Снисходительность» и «беспристрастность» оценок провозглашаются основным критическим методом³.

Столь отчетливо проявленное стремление к противодействию принципам Белинского как идеолога «натуральной школы» не могло не вызвать отрицательного отклика со стороны Чернышевского, поставившего себе задачу вернуть критику к традициям Белинского.

Летом 1854 года, после отъезда Дружинина из Петербурга, в редакции «Современника» создалась для молодого сотрудника наиболее благоприятная обстановка. Некрасов поручает критику ответственные редакционные выступления, и деятельность Чернышевского в журнале заметно активизируется. Одна за другой появляются его статьи, в которых наносятся резкие удары по «фельетонной» критике.

В рецензии на сочинения А. Погорельского Чернышевский, не называя имен, противопоставляет ей, «лицеприятной» и нетребовательной, критику Белинского, которая была «требовательна, разборчива, смела, строга», «серьезна», «современна»⁴. В следующей статье—«Об искренности в критике»—он выразился еще более определенно: «Русская критика не долж-

¹ Н. Н.—в (Н. А. Некрасов). А. В. Дружинин (некролог).—«Современник», 1861, № 1, отд. 2, стр. 177; Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем в 12 томах. М., Гослитиздат, т. 9, 1950, стр. 430. Так же см. в кн.: А. В. Дружинин, т. 8, СПб.; 1867, стр. XV.

² «Современник», 1849, № 4, отд. 5, стр. 56; там же, 1850, № 3, отд. 6, стр. 80; там же, 1851, № 1, отд. 6, стр. 106; «Библиотека для чтения», 1852, № 1, отд. 7, стр. 102—103; А. В. Дружинин, т. 6, стр. 86, 89, 299, 459, 552.

³ «Современник», 1850, № 12, отд. 6, стр. 201, 202; А. В. Дружинин, стр. 411, 412.

⁴ Там же, 1854, № 6, Библиография, стр. 50; Н. Г. Чернышевский, т. 2, стр. 382.

на быть похожа на щепетильную, тонкую, уклончивую и пустую критику французских фельетонов»¹. Эти суждения, шедшие вразрез с прежними высказываниями Дружинина в «Современнике», немедленно обратили на себя внимание периодической печати. Комментируя статью «Об искренности в критике», «Отечественные записки», например, писали: «Новый Поэт в своих «Заметках» всегда требовал снисходительности к мнениям других и хорошего тона, соответствующего беседе порядочного общества. Иногородний Подписчик всегда и во всем старался отыскать что-нибудь хорошее, предполагая, что критика скорее достигает своей цели похвалой, нежели жестким и нецеремонным осуждением»². Журнал обращается к автору статьи с таким предупреждением: «Вам придется вступить в борьбу с Новым Поэтом «Современника», который несколько лет сряду защищал критику французских фельетонистов, старался ей подражать во всех своих «Заметках» и, вместе с Иногородним Подписчиком, провозгласил: «Да здравствует фельетон и новая фельетонная литература на Руси; да погибнет всякая строгая и серьезная критика!»³.

Главу французских фельетонистов Жюль-Жанена, превознесенного Дружининым и Панаевым (Новым Поэтом), Чернышевский назвал в одной из следующих рецензий «жалким писателем», а его фельтоны верхом «изысканности и надутости». При этом критик подчеркнул все еще продолжающееся «довольно значительное влияние» Жюль-Жанена на русскую литературу, «отчасти непосредственно, отчасти через многочисленных своих подражателей»⁴. К этим оценкам был вынужден присоединиться и Панаев⁵. Существенно стали перестраиваться его «Заметки Нового Поэта». Возобновление «Писем Иногороднего Подписчика» к приезду Дружинина оказалось невозможным.

Позиция Чернышевского была поддержана в объявлении программы «Современника» на 1855 год, где говорилось: «Не раз печатно сожалели мы об упадке нашей критики вообще и не думали делать исключений в пользу «Современника», но старались по возможности улучшить в нем критический отдел». И далее: «Мы намерены идти тем же путем и на будущее время, заботясь, по крайней мере, если трудно достигнуть большего, об искренности суждений, так как мы убеждены, что лицепрятие, так называемые отношения и тому по-

¹ «Современник», 1854, № 7, Критика, стр. 16; Н. Г. Чернышевский, т. 2, стр. 255.

² «Отечественные записки», 1854, № 8, стр. 93—94.

³ Там же, стр. 90; см. также: В. Евгеньев-Максимов. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, М., 1936, стр. 42—43.

⁴ «Современник», 1854, № 8. Библиография, стр. 27; Н. Г. Чернышевский, т. 16, М., 1953, стр. 271.

⁵ Там же, Смесь стр. 128, 129, 149. Ср. «Отечественные записки», 1854, № 9, Журналистика, стр. 56—61.

добные чуждые литературе примеси довели нашу критику до поразительной бесцветности и сделали ее ни в коем случае не полезной и, вероятно, очень скучной для читателей»¹.

Журнальная программа явилась, по существу, публичным отказом редакции от «фельетонной» критики Дружинина. Последний понимал, что изменением отношения к себе он во многом «обязан» Чернышевскому, о чем заявил в письме к Боткину от 23 июля 1855 года: «...Еще за год назад я говорил в редакции, что этот халдей явно гнет к тому, чтоб перессорить журнал со всеми сотрудниками»².

«...При моем возрастающем влиянии,—вспоминал Чернышевский,—на общий тон журнальных отделов «Современника» Дружинин оказался непригодным для него по образу мыслей. Как только он увидел, что ему надо вовсе удалиться из «Современника», Дружинин предложил свое сотрудничество Краевскому и был принят с распростертыми объятиями»³. События, о которых сообщается здесь, следует отнести к 1854—началу 1855 годов. В «Отечественных записках» и «Санкт-Петербургских Ведомостях», редактируемых Краевским, Дружинин начинает сотрудничать именно в это время. В «Современнике» его статьи появляются эпизодически в конце 1855, а еще через год навсегда исчезнут со страниц этого журнала.

Полемика Чернышевского с Дружининым в 1854 году была лишь прелюдией к острым и уже открытым схваткам последующих лет.

¹ «Современник», 1854, № 9, Особая пагинация, стр. 4, 5; Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. 12, М., 1953, стр. 172, 173.

² «Письма к А. В. Дружинину», «Летописи», кн. 9, изд. Гослитмузея, М., 1948, стр. 38.

³ Н. Г. Чернышевский, т. I, стр. 721.

Н. А. ВЕРДЕРЕВСКАЯ

**РОМАН Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
«ПОВЕСТИ В ПОВЕСТИ» И ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА
1861—1862 гг.**

Неоконченный роман «Повести в повести» принадлежит к числу произведений, над которыми Н. Г. Чернышевский работал в период своего заключения в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Рукопись романа, равно как и рукописи повести «Алферьев», «Мелких рассказов», автобиографических заметок и некоторых других оригинальных и переводных работ, была, вопреки просьбе Чернышевского о передаче ее А. Н. Пыпину, оставлена при «деле» «государственного преступника Чернышевского» и хранилась в архиве Петропавловской крепости вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции.

Впервые роман «Повести в повести» был опубликован только в 1930 году¹.

Сравнительно с «Что делать?», «Прологом», даже повестью «Алферьев» «Повести в повести» изучены мало. Наряду с другими причинами, препятствием служит и сама форма произведения. Чрезвычайная сложность, даже запутанность композиционного построения, широкое использование иносказаний, аллегорий (многие главы с трудом поддаются расшифровке), введение в роман цитат и отрывков из произведений других писателей, обилие вводных новелл—все это, при общей незавершенности авторского замысла, чрезвычайно затрудняет работу исследователя.

Чтобы уяснить, почему Чернышевский, который даже в своих философских работах стремился к простоте и популярности изложения, написал роман, столько затруднительный для читателя и исследователя, нужно обратиться к условиям создания этого романа.

¹ Н. Г. Чернышевский. Повести в повести. Изд. политкаторжан, 1930.

Работа писателя над «Повестями в повести» длилась с июля—августа 1863 года по январь 1864 года.

Роман «Что делать?» создавался в сравнительно спокойной обстановке предварительного следствия, когда и Чернышевский, и его близкие, будучи уверены в отсутствии у правительства юридических доказательств «преступной деятельности» публициста, могли надеяться на его освобождение. Но летом 1863 года обстановка изменяется: следствие заканчивается, и «дело», подкрепленное лжесвидетельствами Костомарова и Яковлева, передается в Сенат. Борьба Чернышевского с его обвинителями вступает в новую, наиболее напряженную фазу.

Одновременно рукописи Чернышевского, которые до июня 1863 года после прохождения цензуры следственной комиссии передавались в редакцию «Современника», теперь задерживаются и «приобщаются к делу».

В этих условиях Чернышевский вынужден был отказаться от мысли создать новое произведение, где связь с современной ему действительностью была бы такой же прямой, ясной, как и в романе «Что делать?». Продолжение повести «Алферьев» (первая глава ее уже находилась в редакции «Современника») было задержано следственной комиссией «впредь до окончания дела». Но Чернышевский еще надеялся, что произведение, внешне совершенно безобидное, в котором интерес автора к вопросам современности был бы скрыт необычностью формы, а революционные выводы тщательно замаскированы системой аллегорий и иносказаний, — что такое произведение может появиться в печати. Так возник замысел романа «Повести в повести». В июле—августе 1863 года Чернышевский пишет первые новеллы, впоследствии вошедшие в состав одной из глав романа (гл. «Объективные очерки»). 4 сентября он сообщает Пыпину, что собирается создать роман-сборник типа «Декамерон», где отдельные новеллы объединялись бы по тематическому принципу в части размером 4—5 печатных листов каждая. Во вторую часть этого романа-сборника должна была быть включена и повесть «Алферьев», работу над которой Чернышевский временно оставил.

Однако в процессе работы замысел Чернышевского изменился.

Сохранив от первоначального замысла некоторые особенности формы (вводные новеллы, обилие стихотворных цитат и т. п.), Чернышевский в то же время отказался от мысли создать роман-сборник. Первая часть «Повестей в повести» (над ней Чернышевский напряженно работает с октября по декабрь 1863 года) представляет собою целостное, сюжетно законченное произведение.

С первого взгляда эта первая часть (вторая едва начата и брошена Чернышевским) содержит невинный рассказ о семей-

ной жизни группы друзей, решивших испытать свои силы в «сочинительстве» — написать коллективное произведение. Но при более внимательном чтении выясняется, что перед нами произведение социально-философского характера, тесно связанное с исторической действительностью 60-х годов.

В настоящей статье освещается вопрос о связи «Повестей в повести» с журнальной полемикой 1861—1862 годов. Речь пойдет о эпизодическом персонаже, который носит имя журналиста Панкратьева.

Первая часть «Повестей в повести» состоит из нескольких сюжетно единых глав, вставных новелл, связанных с этими главами в иных случаях сюжетно, в других тематически, и из двух глав обрамляющих. Центральные главы — это рукопись, мнимые авторы которой и есть главные герои романа. Она носит название «Белый пеньюар». В ней герои рассказывают то прямо, то иносказательно о своей жизни, делятся мыслями и мечтами.

С рукописью знакомится Верещагин, человек, имеющий связи в литературных кругах (в обрамляющих глазах рассказ ведется от его лица). Герои просят рекомендовать их рукопись какому-нибудь журналисту. Верещагин отправляет ее в журнал, в котором сотрудничает писатель Панкратьев.

Именно те страницы, где описана встреча Верещагина с Панкратьевым, и представляют для нас особый интерес.

«На другое утро, — рассказывает Верещагин, — г. Л. Панкратьев действительно пожаловал ко мне. — Я такой-то — он назвал свою фамилию и уже сел, пока произносил ее»¹.

Чернышевский настойчиво стремится придать образу Панкратьева гротескный характер. Журналист, посетивший Верещагина, нахально фамильярен, груб и циничен. Он настойчиво добивается сведений, которые ему не имеют права сообщить, заявляет, что честное слово — чепуха и ничего не значит, и в конце-концов обзывает своего вежливого и корректного собеседника дураком. Чувство такта у него отсутствует совершенно. «Дураки», «наплевать», «к чорту», «чего смотреть-то», «валяем, да и баста», — таков лексикон Панкратьева. Его манеры развязны, его остроты плоски и тусклы. Этот мало приятный человек высказывает такие взгляды, которые могут вызвать либо недоумение, либо отвращение. Поэзии он не признает. «Знаете, поэзия — ведь это вранье. Все вранье, чепуха: Шекспир и все это — дрянь; одной хорошей парламентской речи не стоит все это — правда ли?» (стр. 453). Литературное воровство для него обычное дело. Качество литературного произведения его не очень интересует — «лишь бы публике было занимательно, да набралось побольше материала» (стр.

¹ Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XII, 1949, стр. 452. Далее страницы указываются в тексте статьи.

454). Единственное, что интересует его,—деньги. Об этом он говорит с цинической откровенностью: «Знаете, ведь все пишут из-за денег. Дураки, конечно, нет. А умные только для денег». «Я вам говорю, как умному человеку: для меня важно одно—с, деньги. Остальное наплевать». За деньги он готов продать все, в том числе и свои убеждения. Торгуясь с Верещагиным из-за своей подписи, которая нужна, чтобы скрыть от любопытства публики настоящих авторов «Белого пеньюара», Панкратьев заявляет: «Вы там напишете черт знает что, я думаю, все будет против моих убеждений. Эта штука пахнет не какими-нибудь—что, вы напишете листа два печатных?—не какими-нибудь сотнею или двумястами рублей. Вы видите, у меня своя коляска. Что мне двести целковых? Маловато. Мои убеждения я ценю дороже—с. Впрочем, не бог знает как дорого» (стр. 459).

Образ Панкратьева привлек внимание литературоведов, ему отведено довольно большое место в статье М. П. Николаева «Гоголевские образы в романе Н. Г. Чернышевского «Повести в повести». Николаев считает, что Панкратьев—видоизменение и дальнейшее развитие гоголевского образа Тряпичкина, продажного и беспринципного журналиста. «Подобные Панкратьевы-Тряпичкины,—делает вывод Николаев,—и будут позднее в буржуазной прессе «валить» все, что им прикажут, обливаться помоями честных людей, ставить на пьедестал жуликов и проходимцев»¹.

Казалось бы, вопрос исчерпан. Перед нами продолжение гоголевских традиций, еще одно лишнее доказательство того, как прекрасно владел Чернышевский приемами сатирического письма. Однако пристальное внимание к тексту произведения заставляет нас прийти к неожиданным выводам: не так-то просто обстоит дело с журналистом Панкратьевым. Оказывается, его образ сближается с личностью Чернышевского. Как это ни парадоксально, Панкратьев—образ автобиографический.

Попробуем это доказать.

Выясняется, что Панкратьев в романе — член редакции журнала «Современник». Верещагин и встречается с ним только потому, что в «Современник» отослана рукопись его корреспондентов. Кроме того, на первых страницах автор «Повестей в повести» недвусмысленно заявляет, что он, публицист Н. Г. Чернышевский, член редакции журнала «Современник», будет выступать в романе под именем Л. Панкратьева. Псевдоним избран как уже известный публике: этим именем были подписаны несколько статей, напечатанных в журнале. Последнее действительно соответствует истине: за подписью

¹ М. П. Николаев, Гоголевские образы в романе Н. Г. Чернышевского «Повести в повести».—Ученые записки Тульского гос. пединститута, вып. 8, Тула, 1958, стр. 166.

«Л. Панкратьев» в «Современнике» были напечатаны статьи Чернышевского «Откупная система» и «Винный акциз»¹.

Далее, «Мемуары Л. Панкратьева», помещенные в начале второй части романа, не что иное, как отрывки из автобиографии Чернышевского. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить их с полным текстом автобиографии, над которой Чернышевский работал в крепости².

Для чего же, однако, понадобилось заключенному в Петропавловскую крепость вождю русских революционеров-демократов рисовать себя самого в виде беспринципного нахала? Почему ведущий сотрудник «Современника» награждается малопочтенным именем Тряпичкина?

Чтобы объяснить это, мы снова должны обратиться к общему содержанию романа. Сырнев, Крылова, Тисьмина и другие члены дружеского кружка авторов «Белого пеньюара» — это «новые люди», последователи философа Фейербаха. Они носители новой, революционно-демократической морали, люди, которые выше всего ставят подвиг, совершенный во имя счастья народа, которые сами готовы вступить на путь, «ведущий в Аравию счастливую через полюс»³.

Верещагин, к которому попадает рукопись, — человек, стоящий на совершенно иных позициях. Богатый помещик, получивший блестящее образование, интересующийся искусством, «свой» в литературных кругах Петербурга, Верещагин и по окружению, и по вкусам и воззрениям своим принадлежит к либералам. В числе близких ему знакомых и друзей он называет Тургенева, Григоровича, Боткина, Анненкова, Корша.

Верещагин весьма неохотно берется способствовать продвижению в печать рукописи его корреспондентов. Между ними вспыхивает страстный спор, разгорается идеологическая борьба — и оба лагеря обращаются в этом споре к суду публики.

Вернемся теперь к образу Панкратьева. Из всех героев романа резко недоброжелательно отзывается о нем только Верещагин. Авторы рукописи, Крылова и ее друзья относятся, наоборот, к Панкратьеву с самой полной и искренней симпатией. Верещагин с досадой называет их «молодыми энтузиастами». Все дело в том, что именно Верещагин, от лица кото-

¹ См. примечания А. П. Скафтымова к роману (Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. XII, стр. 691).

² Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 16 томах, т. I.

³ О принадлежности героев романа к «новым людям» и о революционном характере романа подробно говорится в наших статьях «Судьба женщины в классовом обществе в романе Н. Г. Чернышевского «Повести в повести» (Ученые записки Елабужского гос. пед. института, т. 2, 1958) и «К вопросу об использовании средств эзопова языка в романе Н. Г. Чернышевского «Повести в повести» (Ученые записки Елабужского гос. пединститута, т. 5, 1959).

рого ведется рассказ, рисует журналиста, пришедшего в его дом, в виде беспринципного нахала. Это в передаче Верещагина слова и поступки Панкратьева оказываются окарикатуренными. Это Верещагин бросает Панкратьеву обвинение в продажности. В глазах либерального помещика Верещагина Чернышевский-Панкратьев оборачивается Тряпичкиным.

Обратившись к журнальным статьям, переписке, воспоминаниям, а также к некоторым беллетристическим произведениям литераторов враждебного революционным демократам толка, мы легко убедимся, что между рассказом Верещагина о Панкратьеве и клеветническими выпадами либералов по адресу Чернышевского существует полное соответствие.

Еще в 1855 году, когда писатели-либералы активно сотрудничали в некрасовском «Современнике», в печати появилась «юмористическая» повесть Д. В. Григоровича «Школа гостеприимства» — злобный пасквиль, показывающий, что задолго до окончательного разрыва «воспитанные» дворяне в своей ненависти к демократу-разночинцу были способны забыть всякие приличия.

Чернышевский выведен в повести под прозрачным псевдонимом Чернушкина. Внешность Чернушкина крайне непривлекательна: во всем «проглядывала еще какая-то наглая самоуверенность... Наружность его так поражала своей ядовитостью, что, основываясь на ней только, один редактор пригласил его писать критику в своем журнале»¹. Чернушкин оказался совершенно бездарен, и его скоро выгнали. В основе его критических суждений лежит зависть и личная обида. В своих отношениях к людям Чернушкин — нахал, лжец и клеветник, живущий за чужой счет. «Цель его, — пишет Григорович, — заключалась единственно в том, чтобы дышать свежим воздухом, не платя за дачу, даром спать и особенно даром есть»². О том, что Григорович в своем отношении к Чернышевскому был в 1855—56 годах не одинок, свидетельствует переписка писателей. Вот отрывок из письма Льва Толстого к Некрасову от 2 июля 1856 года:

«...Срам с этим клоповоняющим господином (с Чернышевским. — Н. В.). Его так и слышишь тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более от того, что говорить он не умеет и голос скверный... думает, что для того, чтобы говорить хорошо, надо говорить дерзко, а для этого надо возмутиться. И возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал цыц и не посмотрел в глаза»³.

¹ Д. В. Григорович. Полное собрание сочинений, 1884. т. 8, стр. 71.

² Там же.

³ Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений (юбилейное издание), том. 60, ГИХЛ, М., 1949, стр. 74—75.

«Воняющим клопами» называл Чернышевского в своих письмах и Тургенев.

В 1861—начале 1862 года происходит окончательное размежевание лагерей—революционные демократы осознаются либералами как ближайшие и непосредственные враги. Первым из этих врагов был Чернышевский. Теперь уже нельзя было надеяться на то, что письмами к Некрасову и дружескими уговорами можно выбить почву из-под ног «наглого семинариста» и лишить его возможности печататься в «Современнике». Со времени ухода Тургенева «Современник» превратился в трибуну, с которой был громко слышен гневный, убеждающий, а порой и язвительный голос Чернышевского. Ненавистный либералам публицист стал руководителем журнала. Целый ряд выступлений «Современника»—«Письма из Турина» Добролюбова, его заметки в «Свистке», статьи Чернышевского «Антропологический принцип в философии», «Непочтительность к авторитетам» и особенно «Полемические красоты»—вызвали взрыв ярости со стороны либерально-консервативной журналистики. В походе против «Современника» либеральные «Отечественные записки» смыкаются с катковским «Русским вестником».

Полемика с самого начала приняла достаточно безобразные формы. Здесь было все: начиная от личных нападок и кончая политическими доносами. Авторитет Чернышевского был громаден. Дискредитация вождя революционной демократии становится одной из главных задач как либералов, так и консерваторов.

В апрельском номере за 1861 год, в разделе «Политическое обозрение», «Отечественные записки» призывали пустить в бой все силы «против грубых гайдамаков, безнаказанно гарцующих в нашей журналистике, против невежества, гаерства, срамословия, скверномыслия»¹. Это сказано о сотрудниках «Современника». Вскоре в тех же «Отечественных записках» статья «Антропологический принцип в философии» была названа патологическим явлением². По поводу статьи «Непочтительность к авторитетам» Н. Альбертини высказался в том смысле, что Чернышевский «имеет удивительную способность живописать грязные стороны человеческой природы»³. В январской книжке «Отечественных записок» за 1862 год Чернышевскому было брошено—и не в первый раз—обвинение в невежестве⁴.

¹ «Отечественные записки», 1861, № 4, «Политическое обозрение», стр. 96.

² Там же, 1861, № 7, «Русская литература», стр. 43—44.

³ Там же, 1861, № 8, «Критика». Статья Альбертини «Политические идеи» Токвиля и отзыв о нем в «Современнике», стр. 82.

⁴ Там же, 1862, № 1. Разд. «Все и ничего», стр. 15.

«Невежество» и «самоуверенность» Чернышевского составляли предмет насмешки и для «Русского вестника». У Чернышевского, говорилось там, «с недостатком мысли и знания, с ребяческой кичливостью и самоуверенностью» соединяются «всякого рода неблагопристойность, нетерпимость, нелепый и бессмысленный фанатизм»¹.

Внешности и «манер» Чернышевского «серьезные» толстые журналы предпочитали не касаться. Здесь пальму первенства имела газета «Северная пчела», которая в № 70 за 1862 год договорилась-таки до сопоставления Чернышевского с героями Гоголя— правда, не с Тряпичкиным, а с Ноздревым. Поводом послужило публичное выступление Чернышевского 2 марта на литературном вечере с чтением воспоминаний о Добролюбове.

«Г. Чернышевский, — заявляет «Северная пчела», — явившись перед избранною публикой, вел себя в высшей степени неприлично. Он то ложился на кафедру и боком и животом, то полусадился на нее, то делал разные телодвижения, нетерпимые в мало-мальски порядочном обществе, то вертел часовой цепочкой, — у меня, дескать, часы есть! Одним словом, при двух или трех тысячах образованных людей Чернышевский вел себя как Ноздрев на губернаторском бале»².

Либеральные журналы не прочь были уверить своих читателей, что Чернышевский, по существу, беспринципный и продажный писака, которого не стоит принимать всерьез. Грубо извращая материалистические взгляды своего противника, либеральные и реакционные авторы изощрялись в утверждениях, что ведущий публицист «Современника» провозгласил меркантильность единственным двигателем истории. А вслед за тем — грубые намеки на то, что сам Чернышевский руководствуется этим принципом в жизни. «Почему же «Современник», — дичинно иронизировал в «Отечественных записках» С. С. Громека, — вопреки собственным чувствам провозглашает эгоизм единственным двигателем прогресса, материальные интересы — единственными интересами, заслуживающими серьезного внимания?... «Современник» старается осуществить эти начала на практике, но, в таком случае, зачем же он так сильно ненавидит тех, которые давно уже не хотели знать никаких других интересов, кроме собственных?» В том же номере, в «юмористическом» отделе «Заметки празднующающегося» Чернышевский сравнивается с Иосифом Прекрасным. Автор «Заметок» заявляет, что, в отличие от библейского Иосифа, Чернышевский

¹ «Русский вестник», 1861, т. 34 № 7—8 (июнь—август), раздел «Литературное обозрение и заметки», стр. 85.

² Приводится В. С. Курочкиным в его примечаниях к стихотворению «Цепочка и грязная шея». См.: В. С. Курочкин. Собрание стихотворений. Серия «Библиотека поэта», Советский писатель, 1947, стр. 122.

«устроил бы делишки свои легко и просто: принял бы с должной признательностью обязательные предложения супруги египетского министра и, не подвергая себя неприятному путешествию в тюрьму, еще более неприятному пребыванию там и щекотливому разгадыванию снов, он, по примеру многих, известных ему практических людей, воспользовался бы благорасположением этой дамы и, при ее содействии, добился бы местечка, на котором можно было бы ко благу страны проявить свои экономические познания и способности»¹.

Выпад столь же остроумный, сколь и приличный, особенно если учесть, что он исходит из русских «прогрессистов».

Обвинения в беспринципности, аморальности, продажности и т. п. либералы бросали не одному Чернышевскому. Преследовалась определенная цель: дискредитация в глазах читающей публики, прежде всего в глазах молодежи, идеологических руководителей революционно-демократического движения. Чернышевский был среди них первым — потому и вызывал у своих противников такую ярость. Но и другие сотрудники «Современника», «Русского слова» и «Искры» не избежали подобных нападков. Вот как характеризует деятелей радикальных журналов «Библиотека для чтения» (статья, о которой идет речь, многозначительно называется: «Учиться или не учиться? — заметки относительно того важного влияния, которое г. Чернышевский имеет в литературе»):

«А наше молодое поколение — как оно явилось на суд общества благодаря людям, которые называют себя его представителями, то есть каковы эти представители? Одним говорят в лицо, что они обкрадывают своих друзей, другим говорят, что и их друзья терпели их только по неопытности, потому что не хорошо раскусили их; иные делают фальшивые подписи, для некоторых журнальная деятельность есть средство напиться в публичном месте и не заплатить за это денег и т. п. Еще раз повторим: бедное молодое поколение!.. Г. Чернышевский и г. Некрасов со своими сотрудниками, гг. В. и Н. Курочкины со своими представляют ту часть молодого поколения, которую г. Тургенев действительно очень верно олицетворил в своем Ситникове»².

Итак, мы видим, что как ни отвратителен облик Панкратьева, в нем, в сущности, нет ничего такого, что бы не приписывали Чернышевскому его враги. Здесь и невежество, и аморальность, и неумение вести себя, и самое главное — беспринципность и продажность. Верещагин в своем резко

¹ «Отечественные записки», 1861, № 8, «Заметки празднующегося», стр. 48—49.

² «Библиотека для чтения», 1862, № 5.

отрицательном отношении к журналисту словно бы и искренен. Но ведь и выпады либералов на три четверти тоже были выражением искреннего мнения. Не лгали же в своих письмах Тургенев и Толстой! Другой вопрос — как это мнение сложилось и на чем основывалось.

Замечательно, что Верещагин, описывая Панкратьева, преследует те же цели, что и авторы полемических журнальных статей: он стремится «раскрыть глаза» последователям Панкратьева, опорочить его в глазах Крыловой и ее друзей. Целей этих Верещагин не скрывает. Заявив, что ему неприятно писать о Панкратьеве то, что он пишет, так как дарования его он уважает, Верещагин тут же оговаривается: «Но эта неприятная вещь имеет и приятную сторону: *пусть молодые энтузиасты видят, каковы некоторые из людей, пользующихся их благородной пылкостью*» (стр. 461). (Курсив наш. — Н. В.). В другом месте Верещагин признается, что желал отвести Крылову от знакомства с человеком, который ему лично неприятен.

Но мнение Верещагина ничего не значит для Крыловой и ее друзей, точно так же, как оно ничего не значит для самого Панкратьева:

«И даже все это нисколько не подействовало на Л. С. Крылову. Она молча слушала мои рассказы о г. Л. Панкратьеве и холодно отвечала двумя-тремя словами: «Вы полагаете, что он нуждается в вашем добром мнении?».

О, конечно, нет! Из него нельзя сшить шубы.

Или: «Я все это давно слышала».

Еще бы не слышать! Но тем более удивительно, что энтузиасты все-таки остаются энтузиастами» (стр. 462).

Что двигало Чернышевским, когда в романе «Повести в повести» для характеристики политических позиций либералов он прибегнул к такому оригинальному приему, до него (да, кажется, и после него) никем из писателей не применявшемуся?

Мы знаем, что в своих журнальных статьях Чернышевский почти никогда не отвечал на личные нападки. На появление в печати «Школы гостеприимства» «Современник» откликнулся положительной рецензией, которую написал Некрасов по настоянию Чернышевского¹. Если клевета, направленная в адрес Добролюбова, и просто умаление роли его вызывали у Чернышевского буквально взрывы гнева (достаточно вспомнить его статью «В изъяснение признательности»), то нападки, направленные на него лично, мало его задевали. Он вел полемику по существу, где это было возможно по цензурным условиям, а где невозможно — умел

¹ «Современник». 1855, № 10. «Заметки о журналах за сентябрь», стр. 165—166.

двумя-тремя словами дать понять читателю-другу, почему принужден молчать. Чернышевский слишком хорошо знал, за что его ненавидят, и платил своим врагам откровенным презрением.

Этим откровенным и полным презрением к «друзьям прогресса» дышат последние страницы «Рассказа Верещагина». Чернышевский как бы говорит либералам: я очень хорошо знаю, господа, что вы пишете, говорите и думаете обо мне. Я очень хорошо понимаю, что вам хотелось бы видеть во мне Тряпичкина, а еще больше хотелось бы уверить в этом молодое поколение. Кто верил этим рассказам до сей поры? — только такие же, как вы. И кто поверит им теперь?

Журналист Панкратьев, решая поставить свою подпись под «рукописью женского почерка» и напечатать ее в своем журнале, говорит: «Я... могу позволить себе многое, над чем призадумался бы другой, или менее меня равнодушный к своей репутации, или менее меня уверенный в ее непоколебимости» (стр. 145).

Чернышевский имел право сказать это о своей репутации. И в глазах друзей, и в глазах врагов она действительно была непоколебима. Находясь в стенах Алексеевского рavelина, зная, что его долгая неравная борьба с «правосудием» Сената идет к концу, что приговор не только предрешен, но и вынесен, Чернышевский делает еще одну попытку обратиться к читателям. Создавая образ Панкратьева, описывая члена редакции «Современника» через призму восприятия либерала Верещагина, Чернышевский напоминает о журнальной полемике, еще недавно занимавшей общество. Сатира Чернышевского обращена не в адрес Панкратьева, а в адрес Верещагина—и верещагиных: всех тех, кто обвинял революционную журналистику в невежестве, аморальности и продажности.

Так страницы неоконченного романа «Повести в повести» оказываются связанными с литературной полемикой 60-х годов.

А. М. ГАРКАВИ

К СПОРАМ О СТИХОТВОРЕНИИ НЕКРАСОВА «Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ»

Стихотворение Некрасова о Чернышевском, начинающееся строкою «Не говори: «Забыл он осторожность!...», по праву считается одним из выдающихся произведений русской политической лирики. Бесспорно, это — лучшее из стихотворений, посвященных Н. Г. Чернышевскому. В сжатой форме (16 стихов, составляющих 4 строфы) поэт сумел глубоко раскрыть взгляды великого демократа, его задушевные мысли¹. Верность этого поэтического портрета во многом обусловлена тем, что он был создан близким другом и единомышленником Чернышевского.

Прямо сказать о революционных взглядах Чернышевского Некрасов, конечно, не мог по цензурным причинам. Да и само имя Чернышевского в то время нельзя было назвать в печати. Некрасов же ставил своей целью не просто назвать, а прославить Чернышевского и его деятельность. Чтобы выступить с таким стихотворением в легальной печати, поэту пришлось широко использовать различные приемы иносказательной, «эзоповой» речи. Стихотворение отмечено печатью конспирации. Вот почему вокруг него уже более полувека ведутся научные споры, причем высказываются самые различные догадки, предположения, гипотезы.

1.

Не имя возможности печатно указать, что стихотворение посвящено Чернышевскому, Некрасов публиковал его под ложным заглавием, создававшим видимость, что оно переведено с французского и, таким образом, не связано с русской действительностью: «Пророк. (Из Барбье)». С таким загла-

¹ См.: В. Е. Евгеньев-Максимов. Образ революционного демократа в поэзии Н. А. Некрасова, «Некрасовский сборник», II, Изд. АН СССР, М.-Л., 1956.

вием стихотворение появилось в обеих прижизненных публикациях поэта: в журнале «Отечественные записки» (1877, № 1) и в сборнике «Последние песни» (вышедшем в апреле 1877 г.)¹.

Однако людям, которые пользовались его доверием, Некрасов не раз указывал, что в стихотворении идет речь о Чернышевском. В мае 1875 г. поэт сказал об этом народнику П. В. Безобразову (Григорьеву), которому он и прочитал свое стихотворение, в ту пору еще не опубликованное². 3 апреля 1877 г. Некрасов подарил художнику И. Н. Крамскому экземпляр своих «Последних песен», в котором зачеркнул печатное заглавие «Пророк. (Из Барбье)» и надписал «Памяти Черского», а затем (поскольку Чернышевский в ту пору был жив) переправил эту надпись на «В воспоминание о Черском» (т. е. о Чернышевском)³. Наконец, в копии, стихотворения, принадлежавшей библиографу П. А. Ефремову, есть пометка (сделанная, вероятно, со слов Некрасова): «Н. Г. Ч»⁴.

Чтобы правильно понять это стихотворение, очень важно знать, когда оно было написано. Единственным документальным источником, в котором названа дата его написания, является пометка Некрасова в автографе стихотворения: «В избе лесника на 125 версте М<осковской> ж<елезной> д<ороги>, ночь 8 авг. 1874»⁵.

Между тем, несмотря на такие, казалось бы, бесспорные свидетельства самого автора, некоторые исследователи сомневаются и в датировке стихотворения, и даже в том, что оно было написано с мыслью о Чернышевском.

Главной причиной сомнений является последняя (четвертая) строфа:

Его еще покамест не распяли,
Но час придет—он будет на кресте:

¹ В комментариях к стихотворению в «Полном собрании сочинений и писем» Н. А. Некрасова содержатся два неточных и противоречивых указания: а) «В журнале стихотворение было напечатано под заглавием «Пророк» (назв. изд., т. II, ГИХЛ, М., 1948, стр. 726); б) указано, что в журнале стихотворение было напечатано «без заглавия» (там же).

² П. Безобразов. Воспоминания о Н. А. Некрасове. — «Правда» (Женева), 1883, 3 января, № 13, стр. 7.

³ Факсимиле этой надписи—см.: «Литературное наследство», т. 49—50, изд. АН СССР, М., 1946, стр. XXV.

⁴ «Литературное наследство», т. 53—54, Изд. АН СССР, М., 1949, стр. 156.

⁵ Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР, ф. 203, № 38. — На основании этого автографа в советских изданиях Некрасова стихотворение датируется 1874 г. В дореволюционных посмертных изданиях поэта стихотворение относили к 1876 г.—видимо, лишь потому, что оно было напечатано в январской книжке журнала за 1877 г. (См.: «Стихотворения Н. А. Некрасова. Посмертное издание», т. III, СПб., 1879, стр. 368).

Его послал бог Гнева и Печали
Царям земли напомнить о Христе¹.

В 1912 г. Е. А. Ляцкий (не знавший, впрочем, даты Некрасовского автографа) писал, что стихотворение следует отнести к 1862 г., ибо в нем, дескать, изображено не пребывание Чернышевского в Сибири, а заточение в Петропавловской крепости, когда Чернышевский ожидал приговора («креста»)². Ляцкий не сомневался в том, что стихотворение было посвящено Чернышевскому: в той же статье он отметил, что Некрасов верно отобразил психический склад Чернышевского в словах «Его судьба давно ему ясна». Приведя в качестве параллели к некрасовским стихам известное высказывание, сделанное Чернышевским еще в 1853 г., за много лет до ареста: «У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает, на сколько времени»,—Ляцкий писал: «Предчувствие, доходившее проникновенностью своей до ясновидения, играло немаловажную роль в душевной жизни Чернышевского. Оно всегда поражало Некрасова, который выразил его, как один из психологических мотивов, в той замечательной пьесе, которую он посвятил Чернышевскому»³. Исследователь допустил неточность: и в дневнике Чернышевского, и в стихотворении Некрасова речь шла не о предчувствиях, а о сознательной самоотверженности революционера, смело идущего навстречу опасностям. Однако сопоставление стихов Некрасова о Чернышевском с мыслями самого Чернышевского является, по нашему мнению, и верным, и плодотворным.

Вслед за Е. А. Ляцким с целым рядом «сомнений» и «раздумий» по поводу некрасовского стихотворения выступил В. Е. Чехихин-Ветринский в своей книге о Чернышевском (1923). Он выдвинул три предположения. Во-первых,—рассуждал он,—возможно, «что стихотворение написано еще до ареста Чернышевского <...>, может быть, под впечатлением слухов о нелегальной деятельности Чернышевского и о том, что ему не сдобровать и за свои статьи, и под обаянием всей незлобивой натуры «Пророка». В таком случае отыскан-

¹ В прижизненные публикации поэта это четверостишие не вошло. Впервые напечатано оно было в 1879 г., в примечаниях С. И. Пономарева к только что названному первому посмертному изданию «Стихотворений» Некрасова (т. IV, стр. С1). Однако до Октябрьской революции во всех изданиях последняя строка печаталась в цензурной редакции: «Раbam земли напомнить о Христе». Свободный от цензуры текст этой строки (со словом «царям») в ту пору был известен лишь в подпольных публикациях (чаще всего, в названной выше публикации П. Безобразова). Во всех советских изданиях Некрасова представлен текст со словом «царям».

² «Чернышевский в Сибири», т. 1, СПб., 1912, вступительная статья Е. А. Ляцкого, стр. VII.

³ Там же, стр. VI.

ная К. Чуковским дата автографа <8 августа 1874 г. — А. Г.> говорит лишь о новой записи старого стихотворения». Во-вторых, — размышлял В. Е. Чехихин-Ветринский, — если допустить, что стихотворение было написано в 1874 г., то вполне вероятно, что первоначально оно было посвящено не Чернышевскому, а какому-либо другому лицу, а потом уже переадресовано Чернышевскому; человеком, личность которого отразилась в стихотворении Некрасова, — предполагает Чехихин-Ветринский, — мог быть революционер-народник Д. А. Лизогуб, который «обладал чертами, внушавшими мысль о Христе (Степняк-Кравчинский называет его «святым революции»». Лизогуб в 1873 г. был одним из руководителей кружка молодежи, сформировавшегося в целях мирной социалистической пропаганды в Петербурге. В 1874 г. кружок разъехался по деревням, и не исключена возможность встречи Некрасова лично с Лизогубом». Наконец, в-третьих, — писал Чехихин-Ветринский, — «не исключено предположение, что и в 1874 г. стихотворение могло быть написано с мыслью о Чернышевском. В самом деле, в 1873 г. Некрасов был за границей, здесь он мог слышать о намерениях в среде революционеров насильно освободить Чернышевского и переправить его за границу, и в 1874 г. до Некрасова могли прийти сведения, что вследствие ставшего властям известным намерения освободить ссыльного писателя, его судьбе грозит новое отягощение...»¹. Бросается в глаза, что все эти рассуждения построены на очень шаткой основе: «не исключена возможность встречи Некрасова лично с Лизогубом», «до Некрасова могли прийти сведения» и т. д. Но ведь «сведения», о которых здесь говорится, вряд ли могли прийти до Некрасова, и с Лизогубом он, по всей вероятности, никогда не встречался.

Таким образом, гипотезы В. Е. Чехихина-Ветринского были весьма неубедительными. Вероятно, чувствуя их зыбкость, сам же Чехихин-Ветринский отверг многие из них в другой своей книге — о Г. Успенском (1929). Здесь он верно указал на типичность некрасовского героя, отметив, что стихотворение может быть отнесено «к любому человеку 70-х гг., соединившему в себе демократический революционный идеал с очарованием нравственной чистоты и красоты». Однако и в этой книге исследователь не удержался от бездоказательных предположений. Невозможно согласиться с ним, когда он, поднимая все же вопрос о прототипе стихотворения, пишет: «Таков был через несколько лет казненный Лизогуб, которого

¹ В. Е. Чехихин-Ветринский. Н. Г. Чернышевский, изд. «Колос», П., 1923, стр. 203—204. Ссылаясь на С. М. Степняка-Кравчинского, В. Е. Чехихин-Ветринский имел в виду очерк «Дмитрий Лизогуб» из книги «Подпольная Россия». (См. этот очерк в изд.: С. Степняк-Кравчинский. Сочинения в двух томах, т. 1, ГИХЛ, М., 1958, стр. 422—427).

Некрасов мог узнать в зиму 1873—74 г. в Петербурге, или тот же Г. И. Успенский». Невозможно согласиться и с его мнением, что «эти стихи не могут относиться к Чернышевскому, который в 1874 г. был уже в Вилуйске»¹.

Конечно, гораздо авторитетнее те сведения, которые сообщил о своем стихотворении сам Некрасов, и естественно, что они широко используются в научной и научно-популярной литературе о поэте.

Однако совсем недавно были предприняты новые попытки пересмотреть эти некрасовские указания.

А. А. Лучак в особой статье «Когда написано стихотворение Н. А. Некрасова «Н. Г. Чернышевский. (Пророк)»?», в основном повторяя аргументацию Е. А. Ляцкого, ссылается на то, что, дескать, «в стихотворении передано ожидание расправы с героем («его еще покамест не распяли», «час придет»), и делает вывод, «что рассматриваемое стихотворение Некрасова следует предположительно датировать июлем 1862 года (арест Чернышевского) — февралем 1864 года (вынесение Сенатом обвинительного приговора)»². Что же касается даты в автографе (8 августа 1874 г.), то ей, как полагает А. А. Лучак, можно не придавать решающего значения, ибо, дескать, Некрасов нередко указывал неверные даты написания своих стихотворений.

Скажем сразу, что последний довод неоснователен. Правда, поэт иногда ошибался, помечая *год* написания того или иного стихотворения, — ошибки такого рода он допускал, главным образом, во время предсмертной болезни, подготавливая к печати новые издания своих произведений; при этом годовые даты он определял по памяти, которая уже явно слабела. Что же касается датирующих пометок с указанием *числа и месяца* работы над произведениями (таких пометок довольно много в автографах Некрасова), то все они очень точны. Вряд ли уместно и другое предположение (высказанное, как говорилось выше, еще В. Е. Чехихиным-Ветринским), что дата автографа относится лишь к «новой записи старого стихотворения». Дело в том, что, выставляя числа в своих автографах, Некрасов всегда отмечал именно время написания стихотворений³. Правда, однажды (в автографе стихотворения «Мы вышли вместе... Наобум...») он указал дату новой записи, но, во-первых, он сам особо оговорил это обстоятельство («вспомнил и записал 11 янв.»), а во-вторых, как оказалось, он не просто переписал стихи, а существенно

¹ В. Чехихин-Ветринский. Г. И. Успенский. (Биографический очерк), изд. «Федерация», М., 1929, стр. 104—105.

² В. Петрушков, А. Лучак. Идеюность и мастерство, Сталинабад, 1961, стр. 190.

³ За исключением стихов, записанных в чьи-либо альбомы: их поэт помечал датой внесения в альбом.

переработал их, создав, по существу, совершенно самостоятельное произведение. Следует учесть и указание поэта, что запись стихотворения о Чернышевском, при которой выставлена дата «8 авг. 1874», сделана в избе лесника: вероятно, Некрасов сочинил стихотворение на охоте, а записал его несколькими часами позже, придя на ночлег, чем и объясняется беловой характер автографа; обычно же Некрасов выставлял числа не в беловых, а в черновых автографах.

Другая попытка пересмотреть комментарий к рассматриваемому стихотворению предпринята в недавно вышедшем сборнике «Вольная русская поэзия второй половины XIX века». В примечаниях к этой книге С. А. Рейсер и А. А. Шилов, развивая негативные положения В. Е. Чехихина-Ветринского, пишут: «Дата этого стихотворения неясна (от 1862 г. до 1874 г.), а содержание противоречит предположению о Чернышевском как его первоначальном адресате (см., например, строки: «Не хуже нас он видит невозможность Служить добру, не жертвуя собой» или «Его еще покамест не распяли, Но час придет — он будет на кресте», — отнести их к сосланному на каторгу Чернышевскому трудно). Некрасов, вероятно, поступил с этим стихотворением так же, как и со стихами «Смокли честные, доблестно павшие...» и «Еще скончался честный человек...», т. е. переадресовал написанное по другому поводу, но оставшееся ненапечатанным стихотворение»¹. Все это рассуждение не представляется убедительным. В нем есть и внутреннее противоречие: если (как полагают исследователи) стихотворение первоначально не было посвящено Чернышевскому, то откуда же взялась его датировка 1862 годом? Что же касается «переадресованных» стихотворений, то они, действительно, есть у Некрасова. Кроме только что названных, к ним относится «Ты как поденщик выходил...» (в новой редакции получившее заглавие «Тургеневу»). Но, переадресовывая свои стихи, поэт, конечно, следил за тем, чтобы их смысл подходил к новому адресату. В связи с этим стихотворения «Ты как поденщик выходил...» и «Еще скончался честный человек...» он подверг значительной переработке². Таким образом, аналогия с «переадресованными» стихотворениями не подтверждает, а опровергает предположение С. А. Рейсера и А. А. Шилова. Ведь Некрасов сам указывал, что стихотворение «Не говори: «Забыл он осторожность!...» посвящено Чернышевскому (кстати сказать, других лиц, к которым можно было бы отнести это стихотворение, он никогда

¹ «Вольная русская поэзия второй половины XIX века», больш. серия «Библиотеки поэта», Л., 1959, стр. 794—795.

² О переработке стихотворения «Ты как поденщик выходил...» — см.: К. Чуковский. Люди и книги, изд. 2-е, ГИХЛ, М., 1960, стр. 402—404. О переработке стих. «Еще скончался честный человек...» — см.: А. М. Гаркави. История создания Некрасовым первого собрания стихотворений, «Некрасовский сборник», 1, Изд. АН СССР, М.-Л., 1951, стр. 154.

не называл); если бы он считал, что содержание его стихов не соответствует такому посвящению, то, конечно, переделал бы их, независимо от того, когда он решил посвятить их Чернышевскому — непосредственно во время работы над ними или позже.

Очевидно, что Некрасовское стихотворение было написано с мыслью о Чернышевском, хотя и не все детали биографии великого демократа здесь точно отражены. Нет оснований сомневаться и в указанной самим поэтом дате написания этих стихов (8 августа 1874 г.).

Исследователи, пытающиеся пересмотреть эти (сообщенные самим автором), сведения, видимо, исходят из упрощенного понимания реализма в поэзии как фотографически точного воспроизведения действительности. Между тем, к такому воспроизведению Некрасов никогда не стремился — даже и в тех случаях, когда рисовал образы исторических деятелей. В таких стихах поэт ставил перед собой задачу — воссоздать духовный облик исторических деятелей, раскрыть их взгляды, показать их значение для русской общественной жизни. При этом Некрасов не считал себя обязанным точно излагать биографические данные о своих героях.

Сказанное легко подтвердить многими примерами.

Работая над образами персонажей в «Русских женщинах», поэт заботился не о точной передаче всех исторических фактов, а о создании ярких, художественно полноценных характеров. Когда Екатерина Ивановна Трубецкая уезжала к мужу в Сибирь, то, согласно поэме Некрасова, ее снаряжал в дорогу отец. А на самом деле ее отца в ту пору уже не было в живых. По этому поводу Некрасов писал: «... Эта неверность чисто внешняя, не имеющая важности в подобном произведении. Для меня важно, чтобы не было неверности существенной»¹. А когда М. С. Волконский, указывая, что его мать встретила с отцом не в шахте, а в тюрьме, настаивал на внесении соответствующих переделок, Некрасов возразил ему: «Не все ли равно, с кем встретила там княгиня: с мужем ли или с дядею Давыдовым; оба они работали под землей, а эта встреча у меня так красиво выходит!»².

Как известно³, в поэме «В. Г. Белинский» неточно переданы некоторые биографические данные о Белинском. А стихотворение «Памяти Добролюбова» Некрасов снабдил даже особым примечанием: «Надо заметить, что я хлопотал не о верности факта, а старался выразить тот идеал общественного деятеля, который одно время лелеял Добролюбов»⁴.

¹ Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. XI, ГИХЛ, М., 1952, стр. 207.

² Там же, т. III, 1949, стр. 590.

³ Там же, т. I, 1948, стр. 565.

⁴ Там же, т. II, 1948, стр. 679.

Все эти соображения, думается, должны быть учтены и при комментировании стихотворения «Не говори: «Забыл он осторожность!..», в котором следует видеть не биографический рассказ о Чернышевском, а воспроизведение духовного облика Чернышевского или, может быть, даже шире: не именно Чернышевского, а человека типа Чернышевского — передового революционного борца, вождя своего поколения, пророка великих общественных перемен. Здесь, как и в стихотворении «Памяти Добролюбова», Некрасов, видимо, «хлопотал не о верности факта, а старался выразить <...> идеал общественного деятеля».

Создавая это стихотворение, он, очевидно, думал о Чернышевском. Но почему же все-таки он вывел человека, ожидающего расправы, в то время, как расправа с Чернышевским давно уже совершилась? Полагаем, что он руководствовался соображениями как художественного, так и цензурного порядка.

Поэт решил прославить самоотверженность своего героя. Этой лирической теме в большей степени соответствовало изображение героя, еще не подвергшегося расправе, но спокойно и с сознанием исполненного долга жертвующего собой ради общего блага; ср. третью строфу стихотворения:

Так мыслит он — и смерть ему любезна.

Не скажет он, что жизнь его нужна,

Не скажет он, что гибель бесполезна:

Его судьба давно ему ясна...

Невозможно согласиться с А. А. Лучаком, трактующим эти стихи так: «Размышления героя в третьей строфе могут быть поняты только как ожидание приговора (смерть? жизнь? гибель?)»¹. Не об ожидании приговора говорится здесь (какое же это ожидание приговора, если «его судьба давно ему ясна?»), а о той готовности «умереть за других», (т. е. за народ), которая была характерна для этики революционных демократов, которую воспел Некрасов и здесь, и в стихотворении «Памяти Добролюбова» («Но более учил ты умирать»), и во многих других произведениях.

Не следует упускать из виду и цензурные условия. Если бы Некрасов рассказал об уже совершившейся расправе, то намек на судьбу Чернышевского был бы слишком явным. А ведь и без того стихотворение это Некрасову удалось опубликовать лишь в искаленном виде: последняя строфа («Его еще покамест не распяли...» и т. д.), как уже говорилось, не увидела света при жизни автора.

¹ В. Петрушков, А. Лучак, Идейность и мастерство, стр. 189.

Очевидно, что стихотворение было посвящено именно Чернышевскому. Об этом говорит и сама сущность созданного поэтом образа. Здесь выведен провозвестник («пророк») революционно-демократических идей — «Гнева» и «Печали»:

Его послал бог Гнева и Печали
Царям земли напомнить о Христе.

Кого же мог считать Некрасов провозвестником этих идей, если не Чернышевского?

Упоминание о Христе имеет здесь глубокий социальный смысл, о котором следует сказать особо. Этот смысл наиболее явственно выступает в приведенной нами бесцензурной редакции (со словом «царям»). Подцензурный текст, печатавшийся в дореволюционных изданиях («Рабам земли напомнить о Христе»), мог быть истолкован, как проповедь кротости и смирения. Видимо, так и понял эти стихи В. Е. Чешихин-Ветринский, усмотревший в них отражение личности Д. А. Лизогуба: ведь Лизогуб (согласно характеристике, которую дал ему С. М. Степняк-Кравчинский) был человеком, которому в высокой степени были присущи самоотречение и кротость.

Между тем, в гражданской поэзии Некрасова образ Христа постоянно употреблялся в системе иносказательной, «эзоповой» речи — в социальном и политическом переосмыслении. Так, в его стихотворении «Отрывок» (1877) слова

Ушла, туда, где чтут пути христовы
означают — вступила на путь революционного служения народу. В черновой редакции знаменитой «Песни Еремушке» стихи

Чти заветы вечно-правые
И учись им у Христа

имели значение революционного призыва.

А в рассматриваемом нами стихотворении о Чернышевском слова «Царям земли напомнить о Христе», да еще в связи с предыдущей строкой «Его послал бог Гнева и Печали», указывают, что герой произведения — революционер, и притом не рядовой революционер, а провозвестник и вдохновитель тогдашнего революционного движения.

Тайный смысл некрасовских стихов о Христе был, конечно, понятен читателям прошлого века, ибо эти стихи были связаны с традициями революционно-демократической литературы. Обращение революционных демократов к образу Христа, разумеется, ничего общего не имело с проповедью религии: Христос выступал без каких бы то ни было мистических атрибутов, исключительно как провозвестник социальной справедливости, как борец и мученик за свободу. Такая трактовка христианства была генетически связана с той

ролью, которую выполняло оно в древнем Риме, при своем зарождении: «...Христианство при своем зарождении было движением угнетенных: оно выступило сначала как религия рабов и вольноотпущенных, бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом народов»¹. Вместе с тем, своеобразное художественное осмысление христианских мотивов, характерное для нашей передовой литературы, решительно противостояло официальной церковной проповеди смирения и долготерпения. Ср. слова Н. Г. Чернышевского о христианстве (в передаче Н. И. Костомарова): «...Сначала оно заключало в себе великую двигательную силу для обновления человечества, но потом попало в руки жрецов под названиями пап, митрополитов, всякого рода архиереев, попов и монахов, которые завернули его в папильотки идолопоклоннического символизма, а земные цари и властители употребили его как орудие для порабощения людей и оправдания всяких насилий. Теперь оно не может приносить ничего, кроме вреда...»².

В передовой русской литературе середины XIX в. (вначале в публицистике, а затем и в поэзии) переосмысленный образ Христа как бы проецировался на современность и использовался для пропаганды революционных идей. Он очень хорошо соответствовал этике революционных демократов, которая, по удачному определению К. И. Чуковского, утверждала «святость и нравственную красоту героической гибели в неравной борьбе с угнетателями во имя грядущей победы»³.

Иногда злободневный политический смысл, хотя и скрытый под видимостью религиозной формы, ощущался столь явно, что его разгадывали реакционеры и сами представители властей.

Так, Ф. В. Булгарин, шантажируя А. В. Никитенко, в 1847 г. прислал ему письмо, в котором напоминал об одной статье в «Отечественных записках» за 1844 г. В этой статье (Никитенко, в качестве цензора «Отечественных записок», пропустил ее в печать) была следующая фраза: «Бог на кресте, освящающий свободу и равенство не одних *римских граждан*, но и всех людей, как членов одного человечества, присущего его божественности, — вот что победило древний мир и не перестает развиваться и оплодотворяться в мире новом»⁴. Вероятно, эту же фразу имел в виду Булгарин, ког-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. II, стр. 409.

² «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», под общей ред. Ю. Г. Оксмана, т. I, Саратов, 1958, стр. 158.

³ К. Чуковский. Мастерство Некрасова, изд. 4-е, ГИХЛ, М., 1962, стр. 36.

⁴ Письмо Булгарина приведено в книге М. Лемке «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.», изд. С. В. Бунина, СПб., 1908, стр. 336. Однако фразу из «Отечественных записок» Булгарин процитировал неточно. Поэтому воспроизводим ее непосредственно по «Отечест-

да в 1851 г. доносил своему «отцу и командиру», управляющему III Отделением Л. В. Дубельту на редактора «Отечественных записок» А. А. Краевского: «...Краевский печатал во всеуслышание: «Христос заповедал на кресте свободу, равенство и братство (*liberté, égalité, fraternité*) не одному римскому миру, но и всему человечеству, и все должны стремиться к этой цели»¹.

Чиновник особых поручений при министре внутренних дел И. П. Липранди в донесении от 17 августа 1849 г. писал о «Карманном словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка»: «...Издатель имел дерзость напечатать <...> следующие небывалые на русском языке строки (на стр. 294): «Учение христово в первобытной чистоте своей нанесло сильный удар всем возможным пифиям и прорицателям, изобличило их хищничество, коварство и деспотизм и, в противоположность тому являя пример бескорыстия, братолюбия, имея основным догматом милосердие, а целью—*водворение свободы и уничтожение частной собственности*, с каждым днем привлекало себе новых сподвижников... Как ни прекрасно начало сего учения, но оно еще не получило нормального развития...»². Слова, которые привел Липранди, были взяты из статьи М. В. Буташевича-Петрашевского «Оракул».

Наиболее же ярким примером обращения к образу Христа в нашей революционной публицистике являются пламенные слова Белинского в знаменитом зальцбрунском письме к Гоголю: «Он <Христос.—А. Г.> первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения»³. Характерно, что эти слова содержатся в том самом письме, в котором великий критик гневно осудил религиозную проповедь.

Письмо Белинского к Гоголю, как известно, пользовалось огромной популярностью в демократической среде, и многие

венным запискам» (1844, № 2, отд. «Науки и художества», стр. 98, курсив в подлиннике). Фраза взята из статьи Н. Ратынского «Иезуиты», Н. Ратынский— вероятно, Николай Антонович Ратынский (1821—1887), который в 1830-х гг. был товарищем М. Е. Салтыкова по Московскому дворянскому институту, в 1870-х гг. — цензором С. Петербургского цензурного комитета, а в 1880-х гг. — членом совета Главного управления по делам печати. Как видно, в молодости Ратынскому были не чужды те самые «крамольные» мысли, которые он позже по долгу службы преследовал.

¹ М. Лемке. «Николаевские жандармы...», стр. 351.

² Донесение Липранди приводит М. Лемке в книге «Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия», изд. М. В. Пирожкова, СПб., 1904, стр. 250. Однако цитата из Петрашевского напечатана здесь не только без имени автора, но и с текстовыми ошибками (вместо «пифиям» — «писаниям» и т. п.). Воспроизводим ее по подлиннику: «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», издаваемый Н. Кириловым, вып. 2, СПб., 1846, стр. 294—295. Курсив в подлиннике.

³ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. LX, изд. АН СССР, М., 1956, стр. 214.

знали его наизусть. Любопытно, что процитированную фразу почти дословно повторил А. П. Шапов в начале своей речи 16 апреля 1861 г. на панихиде в Казани по крестьянам, убитым в с. Бездне Казанской губернии. Судя по агентурному донесению, Шапов сказал: «Сам Христос возвещал народу искупительную свободу, братство и равенство во времена Римской империи и рабства народов и по пилатскому суду кровью запечатлел свое демократическое учение»¹.

Из революционной публицистики 1840-х гг. образ Христа, лишенный религиозного значения и интерпретированный в социально-политическом плане, перешел и в революционно-демократическую поэзию 1850—70-х гг. Он вошел в систему «эзоповой» речи, в систему революционных иносказаний, которыми была так богата эта поэзия. Образ Христа, осмысленный как образ великого революционера, встречается и в творчестве великого украинского поэта Т. Г. Шевченко (поэма «Мария»), и в бесцензурной русской поэзии середины прошлого века («Рождение Мессии» П. Л. Лаврова, «Мы были там... Его распяли...» С. И. Бардиной и т. д.). И не случайно в рассматриваемом стихотворении Некрасова была проведена аналогия между этим художественным образом и героем стихотворения — Чернышевским.

3.

Спорные вопросы возникают и при изучении заглавия этого стихотворения.

Выше уже говорилось, что, публикуя стихотворение, Некрасов в целях цензурной маскировки озаглавил его «Пророк. (Из Барбье)». Ссылка на иностранный источник при этом оригинальном стихотворении была фиктивной². Незадолго до смерти, подготавливая к печати новое издание своих сочинений, Некрасов зачеркнул это заглавие. Однако оно было сохранено и в первом посмертном издании некрасовских «Стихотворений» (1879), и лишь в примечаниях, составленных С. И. Пономаревым, было указано: «Под заглавием этого стихотворения стояло: «Из Барбье», уничтоженное в экземпляре поэта; по недосмотру это дополнение осталось в

¹ Факсимиле этого доведения—см.: «Литературное наследство», т. 67, Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 659. — Правда, сам Шапов на допросе изложил начало своей речи несколько иначе: «Христос бог наш, возвещая истинную свободу и братство, от Пилатова суда умер на кресте, искупив своею кровью всех нас» (А. П. Шапов. Панихида по убитым крестьянам в с. Бездне...—«Голос минувшего», 1917, № 9—10, стр. 98); ср. также: «Красный архив», 1923, т. 4, стр. 409. Впрочем, влияние письма Белинского к Гоголю чувствуется во всех редакциях речи Шапова.

² Рукописи Некрасова показывают, что он колебался, кому приписать это стихотворение — Байрону, Ларре или Барбье (Н. А. Некрасов. Полное собрание соч. и писем, т. II, ГИХЛ, М., 1948, стр. 727). Уже эти колебания с полной очевидностью говорят о том, что ссылка на иностранный источник была ложной.

нашем издании»¹. Впрочем, неясно, был ли то недосмотр или продолжавшаяся цензурная маскировка: подзаголовок «Из Барбье» оставался и в других дореволюционных изданиях.

В советских изданиях (начиная с первого советского однотомика Некрасова, вышедшего под редакцией К. И. Чуковского в 1920 г.) стихотворение печатается с двойным заглавием: «Н. Г. Чернышевский. (Пророк)». Бесспорное достоинство этого заглавия — в том, что здесь, наконец, раскрыто посвящение некрасовских стихов Чернышевскому. Но все же это заглавие представляется нелостаточно обоснованным с текстологической точки зрения и не очень удачным.

Выше было приведено примечание С. И. Пономарева о том, что в заглавии «Пророк. (Из Барбье)» Некрасов вычеркнул слова «(Из Барбье)». Примечание это не вполне точно: в действительности Некрасов зачеркнул все заглавие, включая и слово «Пророк», о чем свидетельствует письмо его сестры А. А. Буткевич к С. И. Пономареву от 12 мая 1878 г., которое и было источником пономаревского примечания. Из письма явствует, что Некрасов зачеркнул все заглавие, заменив его тремя звездочками². Итак, заглавие «Пророк. (Из Барбье)» Некрасов отменил. Не имея возможности (по цензурным условиям) выставить в заглавии имя Чернышевского, поэт решил печатать свое стихотворение без заглавия.

В распоряжении текстолога есть и некоторые вспомогательные данные, позволяющие строить догадки о том, каким бы хотел видеть Некрасов заглавие этого стихотворения. Это, прежде всего, материалы, уже названные в начале нашей статьи: копия П. А. Ефремова с выставленными вместо заглавия буквами «Н. Г. Ч.»; принадлежавший И. Н. Крамскому экземпляр «Последних песен», где Некрасов собственноручно надписал над текстом стихотворения: «В воспоминание о Черском» (т. е. о Чернышевском). Кроме того, нужно учесть и бесцензурные зарубежные издания прошлого века: в них это стихотворение нередко печаталось под заглавием «Н. Г. Чернышевскому»³.

Таким образом, есть основание утверждать, что в заглавии стихотворения Некрасов хотел назвать имя Чернышевского. Однако формулировка заглавия остается неясной. «В воспоминание о Чернышевском» — больше походит не на заглавие, а на пояснение. «Н. Г. Чернышевскому» — не вполне

¹ «Стихотворения Н. А. Некрасова. Посмертное издание», т. IV, СПб., 1879, стр. С1.

² Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР, Р. II., № 40, л. 13. (Опубликовано — без трех звездочек — в «Литературном наследстве», т. 53—54, М., 1949, стр. 173).

³ «Общее дело», Женева, 1882, август, № 50, стр. 9. Также: Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо. Поэма и другие стихотворения, не вошедшие в цензурные издания», изд. М. Эллидина, Женева, 1892, стр. 264.

соответствует содержанию стихотворения, ибо стихи посвящены Чернышевскому, но не обращены к нему; кроме того, нет уверенности, что заглавие «Н. Г. Чернышевскому» принадлежит самому Некрасову.

Более естественным представляется редакторское заглавие «Н. Г. Чернышевский» — простая расшифровка букв «Н. Г. Ч.», выставленных в ефремовской копии. Отметим кстати, что оно уже фигурировало в исследовательской литературе. Так, М. Лемке в книге «Политические процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского» (СПб., 1907) писал об этом стихотворении: «Пора бы перестать подписывать под его заглавием «Пророк» — «Из Барбье». Эту ширму автор изобрел специально для взоров цензуры. На самом деле стихотворение было озаглавлено (1874 год) просто: «Н. Г. Чернышевский»¹. Это указание принял Ю. М. Стеклов, который в своей книге о Чернышевском, ссылаясь на Лемке, писал: «Это стихотворение, которому Некрасов для цензуры дал заглавие «Пророк. (Из Барбье)», первоначально (1874 г.) было озаглавлено просто: «Н. Г. Чернышевский»². Читая книгу Стеклова, В. И. Ленин подчеркнул слова: «первоначально (1874 г.) было озаглавлено просто: «Н. Г. Чернышевский»³.

Таким образом, вопрос о заглавии этого стихотворения допускает два обоснованных решения: либо (формально следуя указанию Некрасова, отраженному в письме Буткевич к Пономареву) печатать стихотворение без заглавия, либо печатать его под редакторским заглавием «Н. Г. Чернышевский». Второе решение представляется нам более правильным, более соответствующим свободному замыслу поэта. Во всяком же случае, зашифровывающее слово «Пророк», которое предназначалось для отвода глаз цензуры, и было вычеркнуто Некрасовым, должно быть изъято из заглавия.

¹ Назв. соч., стр. 195.

² Ю. М. Стеклов. Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность. СПб., 1909, стр. 392.

³ «Литературное наследство», т. 67, Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 59.

В. В. ПРОЗОРОВ

ЭПИЗОД ИЗ ПРОПАГАНДЫ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В семидесятые годы стена вынужденного молчания вокруг Чернышевского исподволь, целенаправленно разрушалась «Отечественными записками» Некрасова и Салтыкова¹. В 1879 году, в пору обострившейся борьбы революционных народников с правительством, в «год ужасов и надежд», о сочинениях «государственного преступника» в довольно открытой форме вспомнил еще один подцензурный журнал.

В сентябрьской книжке «Слова» на странице 105 помещены следующие, приковывающие к себе внимание, строки:

«В 50-х годах наш известный писатель проповедовал своеобразную эстетику, которая гласила, что прекрасное есть жизнь, что природа и жизнь выше искусства, что произведение искусства никогда не достигает красоты или величия действительности.

«Разве из наблюдений жизни,—говорил этот писатель,—не выводится высокая мудрость? Разве наука не есть простое отвлечение жизни, подведение жизни под формулы?»—«Поэзия представляет полнейшую возможность выразить определенную мысль. Тогда художник становится мыслителем, и произведение искусства, оставаясь в области искусства, приобретает значение научное»².

Статья «Единство творческого процесса», из которой приведен отрывок, заключалась словами: «Мы счастливы, если основная идея нашего этюда, хоть в некоторой степени подкрепляется этими замечательными цитатами». Подпись: О. И. Под этим псевдонимом в «Слове» и в других периодических

¹ См. примечание в кн.: Е. Покусаев. Н. Г. Чернышевский. Очерк жизни и деятельности. Учпедгиз, М., 1960, стр. 194.

² В обоих случаях точно воспроизведены строки из диссертации Н. Г. Чернышевского (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. ГИХЛ, М., 1949, т. II, стр. 87, стр. 86. При последующих ссылках на это издание указываются том и страница).

изданиях выступал молодой литератор Иероним Иеронимович Ясинский (1850—1931)¹.

Ежемесячник «Слово» был основан в 1878 году. Сообщение об участии в нем Н. М. Курочкина, М. А. Антоновича, А. П. Плещеева привлекло к новому журналу пристальное внимание читателей. В отклике на первый номер Гл. Успенский призвал «Слово» следовать лучшим традициям отечественной печати, явно намекая при этом на Чернышевского: «Русский человек—не следует забывать этого—читал на своем веку политические обозрения, писанные Добролюбовым и еще кое-кем (курсив мой — В. П.), обозрения, в которых были и «события» и «взгляды»...². О дальнейшем направлении ежемесячника можно судить во верноподданейшему докладу министра внутренних дел в сентябре 1878 года: «Журнал «Слово», начавший выходить в свет с января текущего года, не замедлил уже обнаружить признаки материалистического и социал-демократического направления... Редакция журнала, сознавая невозможность проводить идеи материализма и социализма в форме целых и связных статей, намерена действовать на своих читателей, хотя отрывочным и замаскированным, зато частым повторением и восхвалением этих идей при всяком удобном случае и столь же учащенным дискредитированием идей противоположного порядка. При этом она предоставляет самим читателям договаривать недосказанные ею мысли, угадывать смысл условной терминологии, унаследованной от журналов 60-х гг...»³. (И снова явный намек на традиции Чернышевского и Добролюбова, на этот раз, из уст сановного лица!).

В работах советских исследователей история журнала «Слово» непосредственно связывается с революционными выступлениями 70-х и 80-х годов⁴.

Автор упомянутой выше статьи И. Ясинский вступил на литературный путь в начале 70-х годов. В будущем, как известно, судьба его сложится весьма неровно, противоречиво, общественная позиция и поиски в искусстве отнюдь не всегда будут последовательны и безошибочны. Сочувственная

¹ См.: И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Изд. Всесоюзной Книжной Палаты, 1957, т. II, стр. 279.

² Г. И. Успенский. Полн. собр. соч., Изд. АН СССР, 1953, т. 6, стр. 190—191.

³ Цитирую по кн.: В. Евгеньев-Максимов и Д. Максимов. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930, стр. 268. Характеризуя русскую периодику семидесятых годов, С. А. Венгеров писал; «К двум основным органам радикальной мысли — «Отечественным запискам» и «Делу», в конце 70-х годов (1878) присоединилось «Слово» Дмитрия Андреевича Коропчевского» (С. А. Венгеров. «Очерки по истории русской литературы», СПб, 1907, стр. 109).

⁴ В. Евгеньев-Максимов и Д. Максимов. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930, стр. 255—303.

встреча Салтыковым-Щедриным первых беллетристических опытов. Участие в «Отечественных записках». Позднее, к концу века, ратование за «чистое искусство», получившее резкую и справедливую отповедь М. Горького. Признание Октябрьской революции. Работа в Пролеткульте. Вступление в ряды РКП(б)... Тогда же, в 1879 году, перед нами едва оперившийся журналист, «не успевший еще ни установиться, ни определиться»¹. Обращение Ясинского к идеям Чернышевского нельзя считать неожиданным. Сам Ясинский позднее так вспоминал о своих идейных наставниках: «...писатели, которые наиболее толкнули вперед мое сознание, были Тургенев и Шевченко, а во время пребывания моего в четвертом классе и в пятом к ним присоединились еще Чернышевский, роман которого «Что делать?» я прочитал, и Некрасов. И вообще на юге России, где протекало мое детство и промчалась моя юность, а надо думать, и повсеместно в России, в шестидесятих годах «властителями дум» были именно эти писатели»².

Особенностям психологии творчества (хотя и не ставшим предметом специального разговора) автор «Эстетических отношений», как известно, посвятил немало страниц в своих исследованиях и рецензиях³.

Что же представляет собой статья «Единство творческого процесса», одна из первых в русской печати, но отнюдь не робких попыток материалиста проникнуть в тайны писательского дела?

В 70-х годах в среде психологов широко бытовали представления о всепоглощающей роли интуиции, подсознания в процессе работы художника, о патологических качествах, якобы, непременно присущих гениям, и т. п.

С первых же строк статьи Ясинский убежденно полемизирует с идеалистическими концепциями художественного творчества. Он рассуждает о писателе как о здоровой личности, лишенной обязательных болезненных свойств: «...мы знаем черты из жизни великих, даже величайших писателей, которые свидетельствуют, что этим писателям были чужды какие бы то ни было ненормальные привычки, что они работали медленно и с трудом, не стыдясь этого, несмотря на господствовавшую моду и общераспространенное убеждение, будто стоит

¹ А. М. Скабичевский. История новейшей русской литературы (1848—1890), СПб, 1891, стр. 399.

² Иер. Ясинский. Роман моей жизни. Книга воспоминаний. Госиздат, М.—Л., 1926, стр. 55—56.

³ О взглядах Чернышевского на творческий процесс писателя см. в статьях: Н. А. Дементьева. Вопросы психологии воображения и творчества в работах Н. Г. Чернышевского.—Ученые записки Саратовского пед. института, вып. 29, 1957; М. А. Соколова. Н. Г. Чернышевский о вопросах текстологии.—В сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, т. 2. Под ред. Е. И. Покусаева. Изд. Саратовского университета, 1961 и др.

только (по выражению Зола) открыть окно, и вдохновение влетит в него, как божественная птица»¹.

По мысли Ясинского, «представления о легкости литературной работы, о том, что гениальному писателю ничего не стоит сочинить стихотворение или роман» (92), глубоко ошибочны. В доказательство приводится ссылка на «автографы Пушкина и Лермонтова, при взгляде на которые можно подумать, что им давался стих также нелегко, как и тому щедринскому рифмоплету, который к слову «образ» не мог подобрать другого созвучия, кроме «нобраз» (92). Вспоминается и признание Некрасова о том, что «все его стихотворения—результат мучительной работы» (92) и т. п.

Итак, труд литератора тяжел, он более походит на «работу в каменоломнях», чем на легкое, бездумное «наслаждение поэзией». Уже эти основные исходные позиции автора статьи заставляют вспомнить Чернышевского, его размышления над пушкинскими рукописями: «...обращаясь к авторской манере Пушкина, мы находим у него перечеркивания и исправления в чрезвычайно обширном размере, как бы не только отделка стиха, но и самое облегчение мысли в стихотворную форму стоило ему чрезвычайных усилий, как бы эти стихи, поражающие прежде всего своею легкостью, писал он с большим трудом, как бы механизм стиха представлял Пушкину затруднения» (II, 463).

Как же, по Ясинскому, протекает процесс творчества? «Нельзя отвергать, что существует особенно сильная и тонкая органическая восприимчивость к внешним впечатлениям. В более слабой степени она присуща всем людям. В интенсивной форме она встречается только у немногих» (93) и является «врожденным даром» (97). Автор статьи различает в писательском труде две стороны, тесная и сложная взаимосвязь которых и позволяет говорить о «единстве творческого процесса». Если первая заключается в том, что «впечатления, воспринимаемые художником, вызывают в нем те или иные чувства и ощущения и он стремится представить их в соответствующих образах» (97), то вторая сторона творческого процесса состоит «в стремлении и умении передавать другим чувства, которые сам испытываешь, посредством воспроизведения того или другого образа—кистью, пером или резцом» (93). На эту же двуединость творческого акта ссылается и Чернышевский: «Понять, уметь сообразить или почувствовать инстинктом и передать понятое—вот задача поэта при изображении большей части изображаемых им лиц» (II, 66).

«В сущности способ возникновения творческих комбинаций в уме ученого и поэта едва ли доступен самонаблюдению»,—

¹ «Слово», 1879, № 9, стр. 92. В дальнейшем при ссылке на статью указана лишь соответствующая страница журнала.

замечает автор статьи и добавляет: «Поэтому желая сказать несколько слов о том, как работает художник, мы должны поневоле ограничиться рассмотрением лишь вторичных стадий его творческого процесса» (97). Если с известными оговорками мысль эту можно признать справедливой, то, во всяком случае, большие сомнения вызовет решительное утверждение современного исследователя о том, что в рукописях писателя зафиксирован «*весь* (курсив мой. — В. П.) процесс художественного мышления»¹.

Рассуждая, условно говоря, о внешней, закрепляющей, «вторичной стадии» творчества, Ясинский высказывает ряд любопытных мыслей о «способе возникновения» образов в сознании писателя, о роли воображения, о художественной типизации.

Как следствие особой восприимчивости писателя к жизни — богатые, разнообразные наблюдения. «Наблюдение — необходимый момент поэтического творчества. Чем внимательнее присматривается художник к окружающей действительности, тем богаче его память впечатлениями, представлениями, тем эластичнее его воображение» (98). Наблюдения, жизненный опыт дают пищу писательской фантазии. Воображение не в состоянии «сделать что-нибудь помимо наблюдения» (103). И здесь за исходное берется, правда, несколько упрощенно, известный тезис Чернышевского, неоднократно им выдвигавшийся: «Действительность не только живет, но и совершеннее фантазии...» (II, 91); «Сила нашей фантазии чрезвычайно ограничена, и создания ее очень бледны и слабы в сравнении с тем, что представляет действительность» (III, 227).

Размышляя над принципами художественной типизации, Чернышевский замечал: «...поэзия не может обнять слишком много подробностей и, по необходимости выпуская из своих картин очень многое, сосредоточивает наше внимание на удержанных чертах» (II, 85). Автор статьи в «Слове» развивает это предложение: «Когда схвачена самая характеристическая черта предмета, тогда поэт уже не заботится об остальных его признаках. В силу законов ассоциации идей, весь предмет возникает, как **вызываемое** представление, в уме читателя, который дивится волшебному искусству писателя, простоте его приема, силе его таланта» (98).

Чернышевский писал в диссертации: «...если человек, в котором умственная деятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюдением жизни, одарен художническим талантом, то в его произведениях, сознательно или бессознательно, выразится стремление произнести живой приговор о явлениях, интересующих его... Тогда художник становится

¹ Б. Мейлах. Художественное мышление Пушкина как творческий процесс. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 35.

ся мыслителем, и произведение искусства, оставаясь в области искусства, приобретает значение научное» (II, 86). Ясинский продолжает и конкретизирует рассуждения Чернышевского: «Не следует думать, что отыскать тип—легкая вещь для художника; ...открытие данного типа, свидетельствуя о необычайной сложности душевного движения, вызванного в художнике изучением его свойств и созерцанием его образа, и, следовательно, о высоте его нервной возбудимости, в то же время обличает в нем великий ум, может быть, величайший, который не уступит уму знаменитейших деятелей науки.

В самом деле, открытия Шекспиром Гамлета, Гончаровым Обломова, Пушкиным—Татьяны, Флобером—мадам Бовари, Гете—Фауста и Гретхен, Гоголем—Чичикова и др.—все эти открытия могут быть поставлены наряду с самыми выдающимися научными открытиями» (99). К этим открытиям ведут художника поиски правды, «жажда истины».

Ясинский осуждает субъективистское искажение правды жизни, «фальшивое представление» о предмете, картине, обществе», отмечая это как результат «недобросовестности», «чужезества», «небрежности» или, наконец, «бесталанности» литератора (99—110). Автору статьи претит и «беллетристическая вещь, заключающая в себе только снимки с натуры, только хроматографию природы, только «карточки людей, встречающихся на жизненной арене». Ведь за этим существенным изъяном таланта кроется не что иное, как «отсутствие концепции, осязательного и отчетливого влияния мысли художника на процесс своего творчества» (100).

Подобное отношение к унылому копированию действительности теперь воспринимается как само собой разумеющееся. Между тем, в пору быстрого развития натурализма на Западе и распространения его на русской почве слова эти были особо примечательны. Всего лишь годом позже по тому же поводу М. Е. Салтыков едко заметит: «Реалист французского пошиба имеет то свойство, что он никогда не знает, что он сейчас напишет. И никто его обуздать не может; ни обуздать, ни усовершенствовать, потому что он на все усовершенствования ответит: я не идеолог, а реалист; я описываю только то, что в жизни бывает. Вижу забор—говорю: забор, вижу поясницу—говорю: поясница»¹.

Под несомненным влиянием Чернышевского объясняется в статье и вторая стадия творческого процесса. Ссылаясь на авторитетные свидетельства французского литератора, автор обстоятельно говорит о создании Флобером «поэтических образов и типов»: «Чтобы написать книгу, ему приходится перерывать вселенную», «Он работает по плану, зрело обдуманному

¹ М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., ГИХЛ, Л., 1936, т. 14, стр. 205.

и подробно выработанному во всех частях»; «...первый набросок бывает нередко черновым, над которым он работает целые недели» (101); «Что касается слова, то он (Флобер.—В. П.) употребляет невероятные усилия, чтобы избежать малейших стилистических неровностей» (101—102) и т. д. В толковании важнейших компонентов труда художника: вопросов писательской эрудиции, роли плана в процессе работы, развития замысла от первоначальных набросков до последней редакции—явственно ощущается воздействие Чернышевского, его отзывы о творческом процессе Пушкина (II, 449—476).

Подытоживая свои суждения о литературном труде, Ясинский протестует против игнорирования натуралистами роли художественного воображения, против отрицания понятия «типичности» в поисках жизненной правды. Цель писателя—постичь «тайну типичности» (104), и именно поэтому «писатель-реалист не доверяется одному только воображению, а подчиняет его строгому контролю правды, жизни, действительности» (102). Эти тезисы во многом предвосхищают рассуждения современных нам критиков и литературоведов о прототипах и типах, о «списанном» и «созданном», о соотношении наблюдения и фантазии и т. д.¹

По мысли Ясинского, в литературе наступил «период позитивный, период сознательного творчества, когда кончается господство фантазии и когда она—не изгоняется, нет, а подчиняется контролю разума». Общество «перестает смотреть на искусство, как на забаву, оно начинает предъявлять к нему серьезные запросы...» (104), т. е., говоря словами Чернышевского, поэты все более становятся «руководителями людей к благородному понятию о жизни и благородному образу чувств...» (III, 313).

Идеи Чернышевского Ясинский воспринимал не до конца органически. В ряде мест статьи дают о себе знать механистичность, элементы позитивистского характера. Этим и объясняется, скажем, упрощенное уподобление двуединого творческого процесса физическим явлениям, подчиняющимся закону сохранения энергии (93), или почти полное отождествление роли воображения писателя и ученого (94).

Но более существенно, на наш взгляд, в этой статье другое—анализ творческого процесса с материалистических позиций, в духе эстетического учения Чернышевского. Тем более, что речь идет о таком периоде, когда психология творчества и в России, и на Западе находилась в плену идеалистических концепций «интуитивистского», «бессознательного». Статья в

¹ См., например: А. И. Ревякин. Проблема типического в художественной литературе. Учпедгиз, М., 1959; Г. Ленобль. От прототипа к типу.—«Нева», 1955, № 6, Е. Добин. «Списанное» и «созданное».—«Знамя» 1957, № 1. В. Сквозняков. «С натуры» или «из воображения»? «Вопросы литературы», 1961, № 5.

«Слове»—примечательный отклик на идеи Чернышевского в домарксистской легальной критике и научной публицистике конца 70-х годов—неприменно должна учитываться в современных исследованиях творческого процесса писателя¹.

¹ В последнее время распространяется мнение о психологии творчества как «научной дисциплине, которую еще нужно создавать», о том, что все еще только «предстоит обсуждение ее предмета, выдвижение ее задач, разработка методики ее исследования» (Б. Мейлах. Художественное мышление Пушкина как творческий процесс. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 17). Подобной же категоричностью отмечены и другие заявления Б. С. Мейлаха о том, что психология творчества «как научная дисциплина фактически еще не существует», что «серьезных исследований на эту тему ни в литературоведении, ни в искусствознании нет» (там же, стр. 17). Вероятно ощущая все же уязвимость своих заключений, исследователь ограждает их множеством оговорок. «Действительно, задача изучения психологии творчества, проникновения в «тайны» творческой лаборатории художника выдвинута давно,—предупреждает он возможных оппонентов.—но в большинстве старых работ представляет интерес лишь описание конкретных фактов и наблюдений; истолкование же фактического материала редко было удовлетворительным» (там же, стр. 17). Выходит, что еще в «старых работах» выдвинута задача «новой» науки, что существуют интересные «описания конкретных фактов и наблюдений» (Б. С. Мейлахом бегло упомянуты некоторые из этих «описаний»: работы А. Г. Горнфельда, Д. Н. Овсяннико-Куликовского, А. И. Белецкого, П. Н. Медведева, Е. Добина, А. Г. Ковалева...) и что были попытки—правда, «редко удовлетворительные»—«истолкования фактического материала».

Речь, видимо, стоит вести о неразработанности важных проблем психологии творчества, а не об учреждении новой области исследований. Тем более полезно вспомнить о статье И. И. Ясинского, с материалистических позиций решавшего в 70-х годах прошлого века многие вопросы науки о творческом процессе.

В. Б. СМЕРНОВ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ОЧЕРКИ ГЛЕБА УСПЕНСКОГО

1

Среди многочисленных откликов, которые вызвал цикл очерков Глеба Успенского «Власть земли», — то откровенно-озлобленных, то лицемерно-соболезнующих по поводу заблуждений автора, — привлекает внимание один, опубликованный в «Вестнике Европы». Это статья А. Н. Пыпина о писателях-народниках, вызвавшая бурную реакцию со стороны Н. Н. Златовратского¹, и замеченная Успенским². «Расправляясь» с народничеством, которое, по мнению А. Н. Пыпина, не представляет ничего нового, поеторя зады славянофильства, отличается неясностью идейных позиций и «спутанностью понятий»³, автор детально остановился на очерках Глеба Успенского.

А. Н. Пыпин более терпим к «прегрешениям» писателя в изображении народа, чем, допустим, сентиментально-народническая «Неделя» или славянофильская «Русь»; обвинившие Успенского в «измене» народу и даже ретроградных убеждениях⁴. Он далек от скандальных обвинений в невежественности и «бесталанности»⁵, но тоже не удержался от замечаний в адрес философской концепции Успенского. Исследователь упрекал писателя в том, что «власть земли» он «отождествляет с властью неодолимой нужды, и человек без этой веревки оказывается неспособным ни к элементарному расчету, ни к какой-нибудь выдержке. Достаточно получить несколько лишних

¹ См. открытое письмо Н. Н. Златовратского А. Н. Пыпину. — «Русские ведомости», 1884, № 48, 17 февраля.

² Об этом можно судить по письму Г. И. Успенского к М. М. Стасюлевичу от 22 декабря 1884 года. См.: Г. И. Успенский. Полное собр. соч. АН СССР, 1951, т. XIII, стр. 403.

³ А. Н. Пыпин. Народничество. — «Вестник Европы», 1884, № 2, стр. 702.

⁴ См.: В <енггеро> в. Критические очерки. — «Неделя», 1882, № 5, 31 января.

⁵ Созерцатель (Л. Е. Оболенский). До чего договорился Глеб Успенский? — «Русское богатство», 1883, № 7.

рублей и досуга, чтобы нравственные правила, внушенные «землей», испарились, чтобы человек сбился с пути, и когда подсобные явления самим автором выдаются за обычные и естественные, то это не может не возбуждать большого недоумения о крепости нравственного содержания, доставляемого «землей»¹.

Оспаривая теорию Успенского, критик делает упор на том, что земледельческий тип, о котором идет речь в очерках, тип покорного всему мужика, формируется не под влиянием земли и природы, а «учреждений,—в роде старинного московского правления, крепостного права, безжалостного распутства и т. п.»².

Отметил А. Н. Пыпин и еще одну сторону очерков Успенского: писатель «не воздержался от упреков «цивилизации», какие раздаются в ультранародническом лагере и имеют весьма двусмысленный вид»³. Но все эти «теоретические неясности» и «исторические ошибки» искупаются «удивительными картинами действительности, согретыми искренними чувствами скорбной любви к народу и исполненными с истинно художественной яркостью и простотой»⁴.

Статья Пыпина интересна как одна из первых и далеко не заурядных попыток разобраться в таком сложном литературном течении, как народничество. Но важна она и в другом плане: анализ произведений Глеба Успенского, сделанный А. Н. Пыпиным, был замечен и одобрен Н. Г. Чернышевским.

С произведениями Глеба Успенского писатель-революционер познакомился во время сибирской ссылки⁵. А получив весной 1884 года в Астрахани сочинения Успенского, он так писал А. Н. Пыпину: «Вчера получил посланные тобою <...> Сочинения Глеба Успенского.—Деньги, истраченные на покупку и пересылку сочинений Глеба Успенского,—деньги истраченные понапрасну. Ты сам в своей статье о школе, к которой принадлежит он, даешь совершенно верную оценку его произведений. Я никогда не имел терпения дочитать до конца ни одного из этих безалаберных рассказов и бессмысленных рассуждений»⁶.

¹ А. Н. Пыпин. Народничество.—«Вестник Европы», 1884, № 2, стр. 743—744.

² Там же, стр. 745.

³ Там же, стр. 744.

⁴ Там же.

⁵ Среди немногих газет и журналов Н. Г. Чернышевский получал в Сибири «Отечественные записки», в которых сотрудничал Успенский. См. об этом: Н. Г. Чернышевский. Полное собр. соч. ГИХЛ, М., 1949, т. XIV, стр. 563, т. XV, стр. 87, 365, 401; Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов. 1959, т. II, стр. 62, 143.

Любопытно, что в ссылке у Чернышевского было отдельное издание повести Г. Успенского «Разоренье».

⁶ Н. Г. Чернышевский. Полное собр. соч. ГИХЛ, М., 1950, т. XV, стр. 458. В дальнейшей ссылке на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

Отзыв—более чем резок. Но направлен он не только против Успенского. Речь идет и о «школе», к которой принадлежит писатель. Судя по письму, Чернышевский солидаризировался с пыпинской оценкой «власти земли». Показателен и отзыв революционера-демократа о рассказе Успенского «Взбрело в башку», который приводит в своих воспоминаниях В. Г. Короленко. Этот отзыв почти дословно повторяет некоторые суждения А. Н. Пыпина.

«Ну, вот вам рассказ,—говорил Н. Г. Чернышевский,—живет мужик, в нужде да в работе, как конь ломовой. Вдруг господа помогают, или там... урожаи. Разбогател на время, отдыхает. Полезли в голову мысли во время отдыха, стал пьянствовать, бить бабу, чуть не погиб. Вывод очевиден: не нужно мужику жить богаче и иметь отдых, чтобы не избаловался»¹.

Несмотря на некоторый субъективизм, эта оценка рассказа едва ли случайна. Достаточно, например, сопоставить ее с любопытными строчками из «Академии Лазурных Гор», чтобы в какой-то мере уяснить неприемлемость для Чернышевского сделанных им из рассказа Успенского выводов. «Нужен труд»,—неумолкаемо ни на минуту, с утра до ночи раздается оглушительный крик повсюду, повсюду во всех странах людей английского языка. Труд нужен, но нужен ли этот крик? Разве ленивы люди английского языка? Не обида ли им этот крик? Не бессмыслица ли он? Не вредная ли бессмыслица он? Не гораздо ли больше, чем о необходимости трудиться, склонны забывать люди английского языка о том, что чрезмерный труд и неуспешен, и губелен?

Нужен людям труд. Да. Но и отдых нужен людям. Много отдыха нужно человеку, много» (XIII, 619).

Вряд ли прав был В. Г. Короленко, сводивший суть недоброжелательного отзыва только к расхождению эстетического порядка: «Чернышевский остался при прежних взглядах; от художественного произведения, как от критической или публицистической статьи он требовал ясного, простого непосредственного вывода, который покрывал бы все содержание»². Но было бы неверно говорить и о том только, что Чернышевский осудил идеализацию «власти земли»³.

Дело в том, что философская концепция «власти земли», взятая, так сказать, в ее «чистом виде», т. е. без морально-этического идеала «божеской» жизни, отнюдь не свидетельствует о сугубо-народнических воззрениях Успенского, как утвержда-

¹ В. Короленко. Собр. соч., ГИЗ Украины. 1927, т. XXIV, стр. 129.

² Там же.

³ Подробно об этом см.: Н. Ф. Бельчиков. Н. Г. Чернышевский и вопрос о крестьянстве в 80-е годы.—Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1958.

ют некоторые исследователи¹. Она противоречила народничеству уже в самой постановке вопроса. Вот почему и Щедрин, редактор «Отечественных записок», критикуя противоречивость и непоследовательность многих положений Успенского, в целом одобрительно встретил циклы «Крестьянин и крестьянский труд» и «Власть земли». Думается, что и резкий отзыв Чернышевского направлен—в первую очередь—против народных иллюзий писателя.

В 80-е годы Чернышевский—родоначальник народничества—отрицательно относится к народническим идеям. Он «считал их прямо нелепыми»². Вот почему народнические иллюзии Успенского, его уступки народническим доктринам, а не теория «власти земли», непоследовательность и противоречивость философской мысли писателя³ не могли не вызвать недовольства революционера-демократа.

2.

Неоднократно задумывавшийся над многочисленными явлениями жизни деревни, встречавший в ней много несообразностей и загадок, Глеб Успенский, по его собственному признанию, только тогда понял эти явления и несообразности, когда «положил в *основание* всей организации крестьянской жизни, семейной и общественной, — *земледельческий труд*, попробовал вникнуть в него подробнее, объяснить себе его специальные свойства и влияния на неразрывно связанного с ним человека»⁴. Это был материалистический подход, верный подход, свидетельствующий о том, что в своих философских исканиях писатель не отмахнулся от революционно-демократической мысли. Чернышевский видел основу подлинной морали только в труде. Трудом, процессом материального производства объяснял он многие черты жизни различных народов. Более того, Чернышевский тоже склонен считать, что «особенными качествами отличается только труд, непосредственно связанный с землею» (IX, 82).

Глеб Успенский подчеркивает многосодержательность земледельческого труда. В условиях этого труда мужик «почерпает философские взгляды; в условиях этого труда рабо-

¹ См. История русской литературы. АН СССР. М.—Л., 1956, т. IX, ч. 1, стр. 128.

² Н. Скориков. Н. Г. Чернышевский в Астрахани.—«Исторический вестник», 1905, № 5, стр. 492.

³ «Главный недостаток русских писателей, вызывавший его осуждение,—вспоминал о Чернышевском Н. В. Рейнгардт,—заключался, по его мнению, в отсутствии образования, в особенности политического. Поэтому он высоко ценил Щедрина, который отличался, по его словам, обширным образованием».—Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников». Саратов, 1959, т. II, стр. 269.

⁴ Г. И. Успенский. Полн. собр. соч. АН СССР, 1950, т. VII, стр. 43.

тает его мысль, творчество; в этом же труде обретает он освежающие душу поэтические впечатления; на основаниях этого труда строит свою семью, строит свои общественные, частные отношения и из условий всего этого составляет взгляд на общую государственную жизнь»¹. Нравственные веления мужик тоже получает от условий труда. «Земледельческий труд со всеми его разветвлениями, приспособлениями и случайностями поглощает всю его (крестьянина.— В. С.) мысль, сосредоточивает в себе почти всю его умственную и даже нравственную деятельность и даже как бы удовлетворяет нравственно»². Причем эта сторона—«нравственная многосодержательность земледельческого труда»—наиболее важна—по Успенскому — «в объяснении непонятных сторон крестьянской жизни». И это тоже не противоречило взглядам Н. Г. Чернышевского. В рецензии на сочинения Т. Н. Грановского (М., 1856) он сочувственно цитировал следующие строки, принадлежащие Грановскому: «Нам еще далеко не известны все таинственные нити, привязывающие народ к земле, на которой он вырос и из которой заимствует не только средства физического существования, но значительную часть своих нравственных свойств» (III, 359, курсив мой.—В. С.).

Однако в рассуждениях Глеба Успенского, в верном в своей основе материалистическом подходе к объяснению зависимости народного характера от условий труда порою отчетливо проступает непонимание диалектического характера развития истории. Чернышевский видел в процессе производства два взаимовлияющих элемента: труд и природу. «Природа доставляет материал, из которого создаются трудом предметы, удовлетворяющие человеческим надобностям, и она же доставляет силы, которыми совершается переделка этого материала» (IX, 81). Значит, в конечном счете, человек становится в определенные отношения к природе и труд—сам уже—зависит от природы. Труд—это деятельность, направленная на то, чтобы подчинить силы и предметы природы производству предметов, соответствующих потребностям человека. Труд выступает как «посредник» между человеком и природой. По словам Н. Г. Чернышевского, «вся жизнь коренным образом определяется отношением к природе» (III, 357). «Под определенным влиянием Н. Г. Чернышевского»², замечает Р. Левита, складывалась щедринаская концепция исторического развития. Концепция Чернышевского не прошла бесследно и для Глеба Успенского. Положив в ос-

¹ Г. И. Успенский. Полное собр. соч., АН СССР, 1950, т. VII, стр. 54.

² Там же, стр. 35.

³ Р. Левита. Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина. Калуга. 1961, стр. 17.

нову всех влияний на человека труд, он «должен был корнем этих влияний признать природу, с ней человек делает дело, непосредственно от нее зависит»...¹. Но материализм Глеба Успенского метафизичен. Действие природы на человека, отмечал Чернышевский, «видоизменяется с каждым великим шагом его на пути образованности» (III, 359) и в связи с этим изменяется природа человека и человеческое общество. Успенский же не замечает изменений ни в отношениях человека к природе, ни в природе человека. «Неизменность основных черт земледельческого типа,—пишет он во «Власти земли»,—накладывает на крестьян всех стран неизменность природы <...> Неизменно, на том же самом месте, как тысячи лет назад, так и теперь, стояло солнце; как и теперь, оно заходило и восходило в тот же самый день и час, как и в «бесконечные веки»; могли сменяться тысячи поколений тиранов, всяких людей, нашествий, но тот человек, которого труд и жизнь обязывали быть в зависимости от солнца, должен был оставаться неизменным, как оставалось неизменно оно»². Отсюда—лишь один шаг до народнической апелляции к «вечным началам» мужицкой нравственности.

Уже в 80-х годах, после возвращения из сибирской ссылки, занимаясь переводом «Всеобщей истории» Вебера, Чернышевский писал, будто полемизируя с народническими воззрениями: «<...> всякая характеристика цивилизованного народа, приписывающая ему какие-нибудь неизменные нравственные качества, должна быть признаваема ложной» (X, 894). Становится ясно, что неустойчивость материалистической мысли Успенского не могла не вызывать нареканий со стороны Н. Г. Чернышевского³, «единственного действительно великого русского писателя, который сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников»⁴.

3

«В такой стране, как ваша,—писал в 1895 году Г. В. Плеханову Ф. Энгельс,—где современная крупная промышленность привита к первобытной крестьянской общине и где од-

¹ Г. И. Успенский. Полн. собр. соч. АН СССР, 1950, т. VII, стр. 43.

² Там же, т. VIII, стр. 82.

³ «Учению о вечности и неизменности этических норм,—верно отмечает в спорной во многом статье И. С. Кон,—Чернышевский противопоставил тезис об их относительности, об их зависимости от материальных интересов и условий жизни людей». И. С. Кон. Этические воззрения Н. Г. Чернышевского.—«Вопросы философии», 1950, № 2, стр. 153. См. также: В. М. Ключков. Этические взгляды Л. Фейербаха и Н. Г. Чернышевского.—«Вопросы философии», 1957, № 6.

⁴ В. И. Ленин. Сочинения. Изд. 4-е, т. 14, стр. 346.

современно представлены все промежуточные стадии цивилизации, в стране, к тому же окруженной более или менее прочной интеллектуальной китайской стеной, возведенной деспотизмом, не приходится удивляться возникновению самых невероятных и причудливых сочетаний идей... Постепенно, с ростом городов, изолированность талантливых людей исчезнет, а с нею исчезнут и эти идейные блуждания, вызванные одиночеством, бессистемностью случайных знаний этих чудаков-мыслителей, а отчасти также—у народников—отчаянием при виде крушения их надежд»¹. «Мужицкая философия» Глеба Успенского, отразившая сложность общественно-экономического положения России, так точно охарактеризованного Ф. Энгельсом, причудливо сочетает в себе верные исходные материалистические посылки в объяснении народной жизни с колебаниями в сторону субъективно-социологических воззрений народников, развитие революционно-демократического философского наследия и игнорирование его многих основных положений. Так и кажется, что именно Успенского имел в виду Ф. Энгельс, упоминая о «чудаках-мыслителях».

«Причудливость» и противоречивость теории Успенского проявились и в его взглядах на общину.

Антинароднический смысл теории «власть земли» стал ясен сразу, как только Успенский заявил, что типические черты народа лежат «не в землевладении, а в земледелии». Если народники объяснили психику мужика мистическим «общинным духом», то Успенский, напротив, указывал, что общинные отношения сами объясняются «требованиями, основанными только на условиях земледельческого труда и земледельческих идеалов»². В земледельческом труде — «устойчивость» общины³.

Это-то и насторожило народническую и либеральную критику. Публицист и критик «Вестника Европы» К. К. Арсеньев, умалчивая об истинных причинах полемики с Успенским, долго и длинно доказывал, что на характер крестьянского мирозерцания, нравственности и быта влияет не только земледелие, то есть земледельческий труд, но и — в первую очередь—землевладение: мир, артель, община⁴.

На первый взгляд, спор этот и это «уточнение» — не по

¹ Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями, Госполитиздат, 1951, стр. 341.

² Г. И. Успенский. Полн. собр. соч. АН СССР, 1950, т. VII, стр. 52.

³ См. об этом: Н. И. Соколов. «Власть земли» и крестьянские очерки Г. И. Успенского начала 1880-х годов.—«Ученые записки Ленинградского госуниверситета. Серия филологических наук», 1957, № 229, вып. 30.

⁴ К. Арсеньев. Лесная правда и высшая справедливость.—«Вестник Европы», 1883, № 10.

существо. Но именно эта «поправка» и была тем водоразделом, по одну сторону которого оставался Успенский, по другую—правоверные народники. Принять тезис Успенского—значило расстаться с народнической догмой об особом духе, который накладывает на крестьянина община. Поэтому, оценивая крестьянские очерки, критика вновь стремилась подчеркнуть, что «на крестьянина в высшей степени благотворно влияло <...> то, что он жил в «первобытном зародышевом государстве» (т. е. общине— В. С.), которое никогда вполне не поглощалось высшей формой государства»¹. Это «благотворное влияние» проявлялось в крестьянском коллективизме, отсутствии «индивидуалистических чувствований», «беззастенчивого эгоизма и жестокости»².

Ну, а Чернышевский? На чьей стороне оказался бы он? Чьим бы стал «союзником»? Несомненно, Глеба Успенского.

Задолго до автора «Власти земли» Чернышевский убедительно доказал, что проявление общинных начал не зависит «от особенного духовного развития» (III, 594), что нельзя «считать общинное владение особенною прирожденною чертою нашей нации, а надобно смотреть на него как на общую человеческую принадлежность известного периода в жизни каждого народа» (V, 362).

Чернышевский не считает общинное устройство типично русским институтом³. Но он не намерен распространять его, как спасительное средство, и на Западную Европу. Используя для доказательства гегелевскую триаду, он говорит об общинном быте как определенном этапе развития народной жизни, которому соответствуют определенные исторические условия. И только в этих условиях могут сказаться преимущества общины. Такой диалектический взгляд предшественника русского народничества ставил его на голову выше народников 70—80-х годов. Они прямолинейно-догматически сталкивали установки, которые более или менее были верны двадцать лет назад, а теперь начинали противоречить бурно развивающейся в сторону капитализма действительности. У Чернышевского «защита общины» вытекала из стремления воспользоваться революционной ликвидацией феода-

¹ Л. Алексеев (Л. А. Паночини). Земля и крестьянин.—«Русское богатство», 1882, № 8, стр. 4.

² Там же, стр. 10. Ср. высказывание нелегального органа революционных народников «Начало»: «Народ живет в обособленном мире общины особою внутреннею жизнью и мировоззрением, развивается в направлении, ничего не имеющем общего с антисоциальными началами государственного законодательства, созданного исключительно для привилегированных сословий». «Народ и государство». «Начало», 1878, № 3. «Революционная журналистика 70-х годов». Под ред. В. Базилевского, стр. 46.

³ См.: Н. Сладкевич. К вопросу о полемике Н. Г. Чернышевского со славянофильской публицистикой.—«Вопросы истории», 1948, № 6.

лизма для перехода к социалистической форме хозяйства в целях избавления трудящихся масс крестьянства от мучительного пути капиталистического развития»¹. Народники же продолжали твердить о спасительности общины тогда, когда Россия уже два десятилетия шла по этому «мучительному пути».

Как и Чернышевский, Глеб Успенский понимал историчность, самопроизвольность возникновения общинных порядков: «Община должна при известных условиях образоваться так же естественно, так же *сама собою*, как хлебное зерно, посаженное в землю, само собою вырастит колос и тот же хлеб»². Такая постановка вопроса сближала Успенского с марксизмом. Маркс указывал, что «община возникла естественным путем и представляет собой необходимую фазу развития свободных народов»³.

«<...> Несмотря ни на какие мероприятия, ни на какие усилия разрушить общину,—подчеркивает Успенский,—она будет существовать—при известных условиях—непрерывно». Отсюда, казалось бы, должен следовать вывод о том, что община— преходящее явление. Но Успенский—и в этом сказана его теоретическая непоследовательность—не допускал и мысли о том, что при известных условиях община должна погибнуть. Писатель, «пытливая мысль» которого «разлагала одно за другим все главные положения народничества»⁴, не сомневался в благотворном воздействии общины на народную жизнь. Он с болью говорил о начавшемся разложении общины, он резко выступал против извращения общинных принципов только для того, чтобы помочь общине избавиться от всего чуждого ей, мешающего истинно справедливым, «божеским» отношениям внутри нее.

Касаясь внутриобщинных отношений, экономической жизни крестьянства, Успенский симпатизирует тем сторонам ее, на которые возлагал надежды и Чернышевский. Община возникает в труде. А поэтому писатель неустанно пропагандирует необходимость коллективного труда, единственно способного защитить деревню от надвигающихся на нее «зол». В наборной рукописи очерков «Из деревенского дневника» («Отечественные записки», 1880, № 9) писатель подчеркивал, что «целебная сила» общины и «спасительность от настроения голытьбы, и вообще от несправедливости экономических отношений человеческих охрана»,—в общинном

¹ В. Н. Замятин. Экономические взгляды Н. Г. Чернышевского. Госполитиздат, 1951, стр. 165.

² Г. И. Успенский. Полн. собр. соч. АН СССР, 1950, т. VII, стр. 459.

³ Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. Госполитиздат, 1951, стр. 93.

⁴ Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения. Соцэкгиз, 1958, т. V, стр. 144.

труде, общинном хозяйстве¹. Он говорит, что нужно «правильное и справедливое употребление общинных сил на общинную работу»². В пропаганде коллективного труда Успенский идет дальше Чернышевского, который, не отрицая общинного производства, ограничивался общинным владением, так как «большинство русского земледельческого сословия еще не желает общинного труда, по незнакомству с его выгодами» (IV, 413). Но еще более проявился утопизм Успенского в требовании общинного распределения выработанного продукта. В условиях капитализма он хотел от общины чуть ли не социалистического распределения по труду. «Во всех общинных порядках и хитросплетенных дележах, — писал Успенский, — нас главным и существенным образом интересует вопрос именно насчет только того, — всякий ли общинный человек ест свой хлеб, т. е. выработано ли право всякому сообразно с своими силами участвовать в добывании хлеба и есть его сообразно аппетиту <...>. Сама по себе, мирская пчелиная толкотня, если она не добилась этого права, — не представляет для нас никакого существенного значения»³. Не случайно эти утопические рассуждения были выброшены Салтыковым-Щедриным из наборной рукописи⁴. По верному замечанию Е. И. Покусаева, Салтыков-Щедрин «отвергал народнические взгляды на современную общину как на возможную ячейку новых социалистических отношений»⁵.

Успенский солидаризировался с мнением Чернышевского, что «формой самого успешного производства» (VII, 54) должна быть признана форма товарищества, а также с мнением о необходимости широкого приложения капиталов к земледельческому производству. Но, «разлагая» народнические догмы, он волей-неволей должен был вступать в полемику со многими положениями Чернышевского, затверженными народниками.

Объясняя психику мужика велением земледельческого труда, Успенский приходит к выводу о крестьянском индивидуализме. Ведь мужик «по самому существу своей природы не может не существовать иначе, как с сознанием, что он

¹ Г. И. Успенский. Полн. собр. соч. АН СССР, 1953, т. VI, стр. 592.

² Там же, стр. 593.

³ Г. И. Успенский. Полн. собр. соч. АН СССР, 1953, т. VI, стр. 594.

⁴ О характере щедринской правки очерков «Из деревенского дневника» См.: В. В. Буш. К истории текста произведений Глеба Успенского. «Ученые записки педагогического ф-та Саратовского ун-та», 1927, т. VI, вып. III и Н. И. Мордовченко. М. Е. Салтыков-Щедрин — редактор Г. И. Успенского. — Глеб Успенский. Материалы и исследования. М.—Л., 1938, кн. 1.

⁵ Е. И. Покусаев. После крушения революционной ситуации — Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Изд-во Саратовского ун-та, 1962, т. 3, стр. 160.

«сам хозяин». «<...>живя старыми земледельческими идеалами, каждый полагает, что в возне на собственном дворе и должна быть сосредоточена вся жизнь и все интересы, и все удовлетворения»¹. В деревне не может быть и речи «о коллективных оборонах против всевозможных современных зол, так как «общинники» норовят урвать друг у друга копейку.

О каких общинных интересах может идти речь, если деревенское общество,—прозорливо замечает Успенский, и в этом его глубочайшая заслуга,—разъединяется «на разные лагеря, и лагеря не вполне дружелюбные»². И разве можно судить об общности мужицких интересов на том основании, иронизирует писатель над народническими иллюзиями, что «вот эти два крестьянина выпили каждый по отдельной рюмке, закусили *одним* яйцом»...³.

В предреформенное время крестьянин, по мнению Успенского, был поставлен в «более правильные отношения к земле», и расслоение деревни было незаметно или почти незаметно. Это и позволяло Чернышевскому говорить о том, что община «ограждает от страшной язвы пролетариатства в сельском населении» (IV, 331). В статье «Капитал и труд» Чернышевский, доказывая преимущества производственных товариществ, проводил мысль, что земледельцы не могут соперничать друг с другом. «Даже при нынешнем порядке распределения ценностей» им «нет интереса действовать во вред другим трудящимся» (VII, 50). Особенную симпатию Чернышевского вызывает «взаимное доброжелательство» крестьян. Если б к Ивану, предполагает он, пришел разоренный и поступил бы в наемные работники, то Иван «занял бы уже положение капиталиста» (VII, 50). Именно такая метаморфоза и произошла с Иванами после крестьянской реформы. И Глеб Успенский одним из первых среди русских художников обратил на этот процесс внимание. Возможно, не без влияния глубоко реалистических очерков Успенского сумел увидеть процесс крестьянского расслоения и Чернышевский. Если раньше он «рассматривал общинное крестьянство как нечто однородное..., солидарное внутри себя»⁴, то, работая над «Всеобщей историей» Вебера, утверждает, что народ—это не монолитная единица. Так что и наблюдения Успенского, полемичные по отношению к «прежнему» Чернышевскому, на самом деле были близки новым настроениям революционера-демократа. Можно предполагать, что многие из из-

¹ Г. И. Успенский. Полное собр. соч. АН СССР, 1950, т. VII, стр. 69.

² Там же, стр. 68.

³ Там же, стр. 459.

⁴ А. Л. Реуэль. Аграрный вопрос в трудах Н. Г. Чернышевского.— «Научные записки Московского финансового ин-та», 1955, вып. 6, стр. 135. См. также его работу «Н. Г. Чернышевский как критик капитализма». Там же, 1953, вып. 3.

лишь оптимистических выводов Чернышевского шестидесятих годов подверглись позднее существенным уточнениям. Об этом красноречиво свидетельствуют его письма конца 70-х годов.

В письме от 15 июня 1877 года Чернышевский благодарит сына Александра за присылку книг «по вкусу» — «Земледелие и землевладение» кн. Васильчикова. И замечает: «Это очень давний мой вкус, и давно он прошел у меня. Эти предметы перестали занимать меня. Я увидел, что они мелочны» (XV, 70). А о книге Кейслера «История землевладения русских крестьян» Чернышевский, с несвойственным ему раздражением, бросил в письме к А. Н. Пыпину: «Дружок мой, надоело мне все подобное. Тошнит меня от «крестьян» и от «крестьянского землевладения». Это о предмете книги <...>. От предмета ее тошнит».

И. М. Романов в целом правильно комментирует эти строки: они не означают, что писатель-революционер перестал интересоваться вопросами политики и экономики. Но вряд ли верно утверждение исследователя, что письма эти — своеобразное выражение отношения Чернышевского «к господствующим формам землевладения в России»¹. Нет, не о формах землевладения говорит он. Ведь этот предмет, по признанию самого Чернышевского, мелочен для него. Письма эти были ответом революционного демократа на народническую шумиху вокруг общины.

Возможно, что подобное отношение к общинному вопросу в какой-то мере диктовало и недовольство крестьянскими очерками Глеба Успенского, в которых проблема общинного землевладения занимала значительное место. В верности такого предположения убеждает и сопоставление фразеологии писем Чернышевского конца 70-х годов с письмом А. Н. Пыпину по поводу его статьи о народничестве.

4.

Наиболее резкие отзывы Н. Г. Чернышевского о творчестве Успенского, судя по свидетельствам современников, относятся ко второй половине 80-х годов. Н. В. Рейнгардт вспоминает о встречах с писателем: «Из всех моих бесед с Николаем Гавриловичем я вынес заключение, что он внимательно следил за русской литературой, не пропуская самых ничтожных явлений. Несколько свысока он относился к некоторым писателям, а к другим с легким презрением. Сильно недолюбливал он покойного Г. И. Успенского...»². Астраханский учитель Н. Скориков подтверждает «показания» Н. В. Рейнгардта. Н. Г. Чернышевский «недолюбливал <...>

¹ И. М. Романов. Мироззрение Н. Г. Чернышевского в 1872—1883 гг. Якутск, 1958, стр. 72.

² Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов, 1959, т. II, стр. 269.

Л. Толстого за его последние произведения¹ и много смеялся над его попытками пахать землю, шить сапоги, класть печи². Но с особенной резкостью отзывался он о Г. Успенском и Златовратском и вообще об идеях народников, считая их прямо нелепыми»³.

Эти отзывы, видимо, продиктованы свежими впечатлениями от последних очерков Успенского, в которых народническое влияние сказалось наиболее сильно. Закрывтие «Отечественных записок» поставило писателя перед необходимостью печататься в таких журналах, как «Русская мысль», который сам Успенский называл «телятным вагоном». По выражению Салтыкова-Щедрина, это был орган «сюсляевского мирозерцания». Лишился Глеб Успенский и опытной редакторской руки Щедрина. В этих условиях непоследовательность теоретической мысли Успенского сказалась самым отрицательным образом. Не случайно многие произведения бывшего сотрудника «Отечественных записок» в этот период вызывают нарекания Салтыкова-Щедрина. «Плохой он публицист,—замечает сатирик, прочитав очерк Успенского «Несбыточные мечтания», опубликованный в «Русских ведомостях»,—да и мыслитель не вполне исправный»⁴.

Успенский ограничивается установлением связи между трудом и социально-этической стороной народной жизни.

Это привело писателя, подписавшего «смертный приговор» народничеству, к тому, что он сомкнулся с народниками на общей почве симпатий к якобы незыблемой мужицкой нравственности, «праведности» жизни «трудами рук своих». Земледельческий труд, по Успенскому, единственно безгрешный, «святой» труд, складывающий отношения крестьян в безгрешные, безобидные формы. Образованное же общество живет в «узах неправды». «В узы неправды» попадает и мужик, порвавший с земледельческим трудом.

Было бы крайне неверно говорить, что Успенский игнорирует обусловленность нравственности народа обстоятельствами его жизни. Но в нравственной физиономии крестьянина он видит как бы два слоя: глубинный, неизменный, присущий крестьянину как земледельцу, и внешний, наносный, который то и подвергается воздействиям среды, обстоятельств. Успенский улавливает двойственность и противоречивость на-

¹ О неприятии толстовского непротивленческого учения говорит и А. А. Токарский. Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. Саратов, 1959, т. II, стр. 351—352.

² Ср. высказывание Щедрина о Толстом: «Говорит о вселюбви, а у самого 30 т. р. доходу. Живет для показу в каморке и шьет себе сапоги, а в передней—лакей в белом галстуке».—Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собр. соч. в 20 тт., ГИХЛ, М., 1937, т. 20, стр. 108.

³ Н. Скориков. Н. Г. Чернышевский в Астрахани. — «Исторический вестник», 1905, № 5, стр. 492.

⁴ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собр. соч. в 20 тт., ГИХЛ, М., 1937, т. 20, стр. 165.

туры земледельца как мелкого производителя. Однако, абсолютизируя влияние земледельческого труда, писатель-народник склонен преуменьшать значение материальных обстоятельств, упоая на неизменность внутреннего нравственного облика субъекта. Успенский считает нравственный облик, создаваемый земледельческим трудом, единospасающей нравственностью, не подверженной никаким социально-экономическим деформациям.

Такой взгляд не был приемлем для Н. Г. Чернышевского, диалектически рассматривавшего взаимосвязь между материальными условиями жизни человека и его нравственностью. Будто помня о народниках, он записывает в материалах по «Всеобщей истории» Вебера: «Вообще предполагается, что нравы земледельцев чище, чем нравы ремесленников. В некоторых случаях это, по всей вероятности, бывает справедливо. Например, если большинство земледельцев живет в довольстве, а большинство ремесленников терпит нищету, то, разумеется, дурные качества, порождаемые бедностью, будут развиваться у ремесленников гораздо сильнее, чем у земледельцев» (X, 892). «Нравственное состояние народа,—подводит итог Чернышевский,—сильно видоизменяется влиянием обстоятельств» (X, 893). А «народники,—говорил он Н. Скорикову,—готовы приходить в телячий восторг от одного магического слова «народ»¹.

Аналогичную критику вызвали очерки Успенского, опубликованные после закрытия «Отечественных записок» у другого выдающегося представителя революционной демократии—Салтыкова-Щедрина. «Толстой и Успенский,—сетовал он в письме к Н. К. Михайловскому 22 февраля 1885 года,—только и бредят мужичком: вот мол кто истинную веру нашел»². Как и у Чернышевского, у Щедрина имя Успенского оказывается в соседстве с Толстым. А в одном из писем к Михайловскому, рисуя «проект генеалогии» новых идей Успенского, Щедрин проводит нити к именам Толстого и Златовратского.

М. Е. Салтыкова-Щедрина особенно возмутил очерк «Трудами рук своих», опубликованный в ноябрьской книжке «Русской мысли» за 1884 год. «Ужасно любопытно мне знать,—спрашивал он у Михайловского,—читает ли Г. И. Успенский Вам свои новейшие произведения, и под Вашим ли наитием komponует их? Или только всуе призывает Ваше имя? Мне кажется, лавры Сюсляева (мужичок такой в Новоторжском уезде есть, который всех московских празднословов с ума свел), а отчасти Толстого, не дают ему спать,

¹ Н. Скориков, Н. Г. Чернышевский в Астрахани. — «Исторический вестник», 1905, № 5, стр. 493.

² Н. Щедрин (М. Е. Салтыков) Полн. собр. соч. в 20 т.т., ГИХЛ, М., 1937, т. 20, стр. 146.

и он серьезно задумал сделаться пророком. Но, право, я до сих пор не полагал, что Ваша критическая деятельность может иметь какое-нибудь отношение к Сюсляевскому мирозерцанию <...>»¹. Можно предположить, что именно этот очерк предваряет и высказывания Чернышевского о Толстом и Успенском, тем более, что он следил за «Русской мыслью» и даже публиковался в ней.

В очерке «Трудами рук своих» наиболее выпукло проявилась близость Успенского и Толстого, близость некоторых народнических положений и толстовства, как одного из идейных течений второй половины XIX века. Поиски нравственного возрождения человека и затем социального обновления человечества, отразившие противоречия Толстого и народников, стоявших на позициях мелкотоварного производителя, — вот тот фокус, в котором сходятся пути яснополянского проповедника и Глеба Успенского.

Лев Толстой, как и Глеб Успенский, склонен абсолютизировать влияние земледельческого труда на все стороны крестьянской жизни и придавать исключительное значение его нравственному содержанию. «Покидая земельный труд. — вторит он Успенскому, — рабочий невольно поддается тем соблазнам, которые связаны с фабричной и городской жизнью»². Отсюда — особенные симпатии обоих писателей типу патриархального крестьянина, живущего «трудами рук своих», крестьянина, который «сам удовлетворяет всем своим потребностям». Отсюда и восторженное отношение к произведению крестьянского философа Тимофея Бондарева «Трудолюбие и туеядство, или торжество земледельца».

Идеи Тимофея Бондарева не были откровением для Толстого и Успенского: задолго до памфлета философа-мужика они сами пришли к аналогичным выводам. А поэтому совершенно неверно говорить, что Бондарев «является вдохновителем социальных идей Толстого»³, что писатель «до конца жизни так и не сумел освободиться от соблазнительных идей крестьянского мудреца»⁴. Рукопись Тимофея Бондарева лишь подтверждала выводы Толстого и Успенского относительно «праведности» мужицкой трудовой жизни и гибельности врывающихся в деревню цивилизованных порядков.

¹ Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. в 20 тт., ГИХЛ, М., 1937, т. 20, стр. 113.

² Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. Юбилейное изд., т. 35, стр. 123.

³ См.: Е. И. Владимиров. Т. М. Бондарев и Л. Н. Толстой. Красноярск, 1938, стр. 54.

⁴ А. П. Косованов. Тимофей Бондарев и Лев Толстой. Абакан, 1958, стр. 25.

«Влияние Бондарева на Толстого, — утверждает далее автор работы, — отражается не только в теоретической части его философии, но и приводит вплотную его к изменению личной жизни, к известному «опрощению», происшедшему как раз в середине 80-х годов под прямым воздействием бондаревского учения» (стр. 27—28). Достаточно хоть сколько-нибудь вни-

Ссылаясь на теорию прогресса Михайловского—нравственно, справедливо и разумно лишь то, что уменьшает разнородность общества, увеличивая тем самым разнородность его членов; подтверждая правильность этой теории выводом Толстого, что основная масса населения, ведущего «безгрешный» образ жизни, «сама удовлетворяет всем своим потребностям»; привлекая в доказательство слово самих масс, т. е. памфлет Бондарева, Глеб Успенский поднимает вопрос о неразумности капиталистической цивилизации. Цивилизация не уменьшает разнородности общества и не усиливает разнородности его членов, как это делает земледельческий труд. Она не увеличивает «целостности» человеческого существования, напротив—дисгармонизирует личность человека. В типе же человека, удовлетворяющего всем своим потребностям, «есть и простота, и широта, и гармония, и независимость, и правда,—все, что хочется человеку, все, что таится в глубине глубин его тоскующей совести»¹. Главное же достоинство этого типа—его гармоничная нравственность. Цивилизация же, по мнению Успенского (а Толстой это доказывает в статье «Прогресс и определение образования», которой Успенский оперировал в очерке «Трудами рук своих»), не обогащает народные массы ни материально, ни духовно, ни нравственно.

Вполне понятно, что подобные заключения не могли не возмутить Н. Г. Чернышевского. В рецензии на «Песни разных народов» Н. Берга (М., 1854) он писал: «Здравый смысл едва ли допускает идею о том, что необходимость цивилизации нуждается в доказательствах, что неизмеримое превосходство цивилизованного быта над варварским или полуварварским может подлежать сомнениям. Но как и все на земле, развитие цивилизации сопровождается не одними выгодами. Как первые лучи солнца озаряют только вершины гор, и проходит долгое время, пока они достигнут низменных долин, так и цивилизацией сначала проникаются одни

матерью перелистать воспоминания современников о Толстом, чтобы убедиться в неверности этой мысли: ведь «опрощение» Толстого наступило уже в 1881 году. И не в результате влияния Бондарева, а в результате сютаевского влияния.

Справедливо высказывание М. Минокина, что «бондаревский памфлет явился для Толстого не источником идей и взглядов, а аргументом и материалом, подтверждающим его выводы». М. Минокин. К вопросу о творчестве Л. Н. Толстого 80—90-х гг. — «Ученые записки Орловского государственного пединститута», 1952, т. VI. Кафедра литературы, стр. 137.

См. также по этому вопросу: И. П. Белокопский. Тимофей Михайлович Бондарев. «На сибирские темы», СПб., 1905; М. В. Минокин. Тимофей Михайлович Бондарев. — «Записки Хакасского научно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории», 1951, вып. 2.

¹ Г. И. Успенский. Полное собр. соч. АН СССР, 1949, т. IX, стр. 102.

только могущественнейшие; высшие члены общества» (II, 297)¹.

Понимая это, Лев Толстой и Глеб Успенский, движимые сочувствием к страдающим массам, не могли мириться с таким прогрессом, который был в ущерб этим массам. Чернышевский замечал, что приверженцы патриархального быта «могут быть и часто бывают возбуждены к неприязни против цивилизации соображениями, вытекающими из благородного образа мыслей. Тем не менее их понятия никогда не могут заслужить одобрения. Они существенно ошибочны» (II, 297). Ошибочные суждения Успенского о цивилизации и дали повод Чернышевскому столь нелестно отозваться о его очерках.

Важен и еще один момент. Если народники и Толстой твердили о падении нравственности в цивилизуемом обществе, о том, что цивилизация и безнравственность идут рядом, то суждения Чернышевского по этому вопросу диаметрально противоположны. Революционер-демократ выступает страстным поборником общественного прогресса. Он убежден, что «все начала прекрасного» «вполне развивает в человеке только цивилизация» (II, 297), хотя эти начала и «лежат в сущности нашей нравственной организации» (II, 297).

Стоит ли удивляться после этого, что и религиозно-философские произведения Толстого, и очерки Успенского, отрицающие прогрессивность цивилизации, и иллюзии Златовратского на счет сохранения в неприкосновенности «деревенских Авраамов», показали Н. Г. Чернышевскому нелепыми.

5

По словам Н. В. Рейнгардта, Чернышевский называл Успенского «Миклухой-Маклаем, путешествующим и открывающим постоянно какие-то неведомые страны и каких-то диких людей»². Мемуарист относит этот разговор к 1886 году. Возможно, он ошибся всего-навсего на один год. И тогда многое станет понятным из этого иронического отзыва.

Ассоциация Чернышевского — Успенский — Миклухо-Маклай — была отнюдь не случайной. Весной 1886 года знаменитый русский исследователь народов, о которых до его путешествия никто не имел понятия, вернулся в Россию. Он начинает активно публиковать свои работы в различных русских и зарубежных изданиях. «Русский путешественник»,

¹ Ср. «...Всякий прогресс духа был до сих пор прогрессом в ущерб массе человечества, которая попадала во все более и более бесчеловечное положение». К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 2, стр. 92.

² Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, т. II, Саратов, 1959, стр. 269.

как именовали его заграничные журналы¹, сразу стал самой популярной фигурой. Из уст в уста передаются легенды, как своим непротивленчеством Миклухо-Маклай «завоевал авторитет» папуасов... Лев Толстой в письме просит «поделиться опытом» и сосредоточить свое внимание в дальнейших работах на отношениях с людьми. В сентябре 1886 года Миклухо-Маклай сообщает Толстому, что по его совету он решил включить в книгу все, что ранее «думал выбросить». «Я знаю,—писал он,—что теперь многие, не знающие меня достаточно, читают мою книгу, будут недоверчиво пожимать плечами, сомневаться и т. д. Но это мне все равно...»².

В следующем, 1887 году, Миклухо-Маклай продолжает публикацию своих работ, и шум вокруг его имени не утихает... А в это время публикуются очерки другого неутомимого «путешественника»—Глеба Успенского. Можно предполагать, что в разговоре с Рейнгардтом Чернышевский имел в виду самый крупный публицистический цикл Глеба Успенского 80-х годов—«Письма с дороги», появившийся в результате поездки писателя в 1886 году на юг России. Где только не побывал он в это время: на Северном Кавказе и черноморском побережье, в Севастополе и Одессе. С железной дороги переходил на пароход, а затем на лошадях пускался в путешествие по станицам. И радостный, переполненный новизной впечатлений, восклицал: «Здесь столько выкинуто из России преоригинальнейшего русского народа, что просто глаза разбегаются»³.

«Преоригинальнейший» народ... Может быть, он и показался Чернышевскому «диким». И не имел ли писатель в виду фантастические фигуры Захара Абрамовича Земли и Петра Ивановича Волги, героев книги И. Тимощенко «Борьба с земельным хищничеством», которыми так восторгался Глеб Успенский в очерке «Трудовая» жизнь и жизнь «труженическая» («Русская мысль», 1887, № 9). Такое предположение вполне закономерно. Дело в том, что многим бросилась в глаза диковинность героев, обычаев и картин, представленных в очерке. Тимощенко и Успенский создают в России «какие-то невиданные экономические законы»,—писали «Санкт-Петербургские ведомости»⁴. Любопытно привести и некоторые строки из предисловия Скабичевского к книге И. Тимощенко. «Начиная читать эти очерки,—писал он,—вы в удивлении протираете глаза: ни одного привычного образа

¹ См.: Д. Коропчевский. Несколько слов об этнологической коллекции г. Миклухо-Маклая. — «Дело», 1886, № 6.

² Цит. по кн.: Л. Н. Толстой. Полное собр. соч. Юбилейное изд., т. 63, стр. 381.

³ Г. И. Успенский. Полное собр. соч. АН СССР, 1951, т. XIII, стр. 501.

⁴ «Санкт-Петербургские ведомости», 1887, № 313, 13 ноября.

перед вами, все до такой степени новое, неведомое вам, точно будто вы знакомитесь с нравами какой-нибудь Полинезии, Канады или Патагонии, и в конце концов, вы оказываетесь положительно потрясены тем, что в одной с вами государственной системе, называемой Российской империей, могут совершаться явления, столь необычные и до такой степени чуждые нам»¹.

Один говорит о нравах Полинезии или Патагонии. Другой называет Миклухо-Маклаем. Да и сама «Русская мысль», опубликовавшая очерк Успенского, упоминая об этом произведении, отмечает, что писатель «не боится иной раз впасть и в преувеличение»².

Все эти косвенные свидетельства подсказывают, что и новый очерк Успенского, разрабатывавший старую тему — об идеале жизни «трудами рук своих», был замечен Чернышевским.

Отталкиваясь от книги Тимошенко, в которой фигурируют «редкие образчики людей самого благородного крестьянского типа», Успенский вновь задумывается над вопросом: «как жить свято». И утопические выводы его повторяют выводы очерка, в котором писатель пропагандировал памфлет крестьянского мудреца.

Глеб Успенский сосредоточивает внимание на многосторонности трудовой жизни, дающей простор развитию всех способностей и всех сторон «неделимого», то есть человека. Это позволяет говорить о разумности и нравственности земледельческого труда. Еще с большей силой, чем в каком-либо другом произведении, он противопоставляет земледельческий труд труду вообще. В этом противопоставлении и сказался отход Успенского от наследия революционных демократов и тяготение к сугубо народнической концепции трудовой деятельности.

Земледельческий труд, несмотря на его физические тяготы, богаче «нервной деятельностью», нежели городской. С этой точки зрения, с точки зрения полноты духовной и физической жизни рассматривает Успенский представителя «благородного крестьянского типа» Захара Абрамовича Землю и восторгается его альтруизмом, не знающим границ. Вместе с Толстым и Златовратским Успенский становится в конце 80-х годов апологетом тех самых патриархальных «устоев»,

¹ И. Тимошенко. Борьба с земельным хищничеством. Бытовые очерки. Изд. Ф. Павленкова. СПб., 1888, стр. 3. Курсив мой.—В. С.

² Т. (В. А. Гольцев). Литературно-житейские заметки. «Русская мысль», 1887, № 10, отд. 2, стр. 119. Кстати, в этом же номере опубликована рецензия на перевод «Всеобщей истории» Вебера сделанный Андреевым, т. е. Н. Г. Чернышевским.

которые, по собственному признанию Златовратского, были его творческим открытием¹.

Апология патриархальности, деревенского альтруизма и первобытных форм труда как средства нравственного оздоровления общества, были отмечены внимательными читателями². Тем более не мог их не заметить Чернышевский. Не мог не заметить и не мог принять. В этом убеждают отзывы писателя-революционера о крестьянских очерках Успенского.

Глеб Успенский так и «остался народником,—писала ленинская «Искра»,—в том смысле, что для него не было типа человека лучше, желаннее крестьянина, живущего при натуральном хозяйстве <...>»³. Именно эта сторона очерков Успенского неоднократно вызывала последовательную и резкую критику Н. Г. Чернышевского, сумевшего до конца своей жизни сохранить трезвость и диалектичность материалистического мышления, сумевшего, если не изжить, то критически оценить те иллюзии 60-х годов, за которые обеими руками цеплялось народничество. Последовательного и вдумчивого мыслителя не могли не раздражать шарахания теоретической мысли Успенского от материалистических посылок к метафизике и субъективному идеализму. Это ярко сказалось в оценке Чернышевским очерков Глеба Успенского из крестьянской жизни.

¹ См. письмо Н. Н. Златовратского к А. М. Скабичевскому. ИРЛИ, ф. 283, оп. 2, ед. хр. 106, л. 10.

² См. письмо одного из читателей к Успенскому. ИРЛИ, ф. 313, оп. 3, ед. хр. 415, л. 18.

³ Г. И. Успенский в русской критике. ГИХЛ, М.-Л., 1961, стр. 55.

В. А. МЫСЛЯКОВ

К ТЕОРИИ САТИРЫ

(В свете положений революционно-демократической эстетики)

В теории сатиры еще имеются вопросы, до конца не выясненные, требующие уточнений, дополнительной аргументации, одним словом, дальнейшего изучения. Привлечь внимание к некоторым из них, наметить возможные пути их разрешения — такова задача данного сообщения.

Автор сосредоточивает внимание на следующих моментах:

- 1) Целесообразно ли рассматривать сатиру как одну из форм комического?
- 2) В каком отношении можно разграничивать сатирический и отрицательный несатирический образ?
- 3) Является ли сатира поэтическим родом, как и эпос, лирика, драма?

Отвечая на них, мы сочли необходимым в ряде случаев обращение к соответствующим положениям эстетического учения революционеров-демократов, к фактам творчества их могучего соратника—М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В современных работах советских исследователей, интересующихся проблемами теории сатиры, широко использованы и творчески развиты наблюдения и выводы представителей революционно-демократической эстетики. Огромное внимание привлекала и привлекает к себе эстетическая теория Чернышевского. Много ценного извлекают ученые и по сей день из высказываний революционера-демократа о комическом, сатире. Однако не все в этой области учтено до конца. В качестве примера укажем здесь на недостаточное внимание исследователей к обоснованному Н. Г. Чернышевским «особенному виду трагического» — трагическому «нравственной погибели человека», «прока»¹.

Не совсем верно, как будет отмечено далее, истолковыва-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. в 15-ти томах, Гослитиздат, М., 1939—1953, т. 11, стр. 879.

ются отдельные суждения революционных демократов о специфике сатиры, ее структурных особенностях. Этим в известной мере и вызывается нерешенность выделенных нами вопросов теории сатиры.

Для преодоления ее (нерешенности) обращение к соответствующим положениям революционно-демократической эстетики закономерно приобретает всю важность и необходимость.

Прежде всего, можно ли безоговорочно зачислять сатиру по штату комического, рассматривать ее как один из оттенков смеха, пусть и главных, наряду с шуткой, насмешкой, иронией и т. д.? Утвердительный ответ на этот вопрос весьма пространен в литературоведении. Говоря о сатире как «разновидности комизма»¹ как одном из «важнейших и опаснейших его видов»², как «оттенке смеха»³, исследователи, очевидно, имеют в виду в этом случае не сатиру как таковую, т. е. особое явление в искусстве, а один из моментов этого явления. Но дело не ограничивается формулировками. И в широком смысле слова сатира начинает рассматриваться в таком же аспекте. Смех объявляется альфой и омегой сатиры, акцент на него в ее определениях провозглашается необходимым⁴. Исследователи могут говорить о большом удельном весе «инородных», некомических начал в художественной ткани сатиры—гнева, скорби, трагизма, — о заглушении смеха гневом, о том, что «особая эмоциональная критика в сатире» возможна «и не в форме смеха»⁵, но вопреки своим же наблюдениям, объявляют все это не столь уж характерным, второстепенным ее качеством⁶.

Несмотря на многочисленность и авторитетность, утверждения о комическом⁷ профиле сатиры не совсем верны. Они

¹ А. Лаврецкий. Эстетика Белинского. Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 204.

² М. С. Каган. Трагическое и комическое в эстетике Чернышевского.—«Ученые записки ЛГУ», № 160, серия историч. наук, вып. 20, «История искусства», 1954, стр. 123 и далее.

³ Ю. Борев. О комическом. «Искусство», М., 1957, стр. 137.

⁴ В. Ермилов. Некоторые вопросы теории советской драматургии. О гоголевской традиции. «Советский писатель», М., 1953, стр. 74—75; Я. Эльсберг. Вопросы теории сатиры. «Советский писатель», М., 1957, стр. 169 и далее; Н. И. Пруцков. Белинский и некоторые вопросы теории сатиры. — «Труды отдела новой русской литературы», т. 1, М.—Л., 1957, стр. 89.

⁵ Ю. Борев. О комическом, стр. 126.

⁶ См.: Я. Эльсберг. Вопросы теории сатиры, стр. 322—336. Глубоко верный тезис Я. Е. Эльсберга о многоцветности, многогранности сатирического искусства, положенный в основу концепции его «Вопросов теории сатиры», в ряде частных выводов не сохраняет, к сожалению, значения методологической опоры.

⁷ Термин «комическое» и нами употребляется в узкособственном значении: комическое, порождающее смех.

вызывают односторонние представления об эстетическом лице ее.

В самом деле, неужели обличение всего того, что противостоит идеалу сатирика, должно, чтобы иметь право называться сатирическим, облекаться в комические формы? Факты сатирического искусства не обязывают к утвердительному ответу. Не будем сейчас говорить о сатире Рылеева («К временщику»), Лермонтова («Смерть поэта», «Дума»), Л. Толстого («Смерть Ивана Ильича», «Воскресение»), Некрасова («Размышления у парадного подъезда», «Папаша», «Балет») и других мастеров художественного обличения. Сторонники обязательного комизма в сатире могут вследствие ненахождения его в указанных произведениях отказать им в праве именоваться сатирическими. Обратимся к произведениям, сатиричность которых общепризнана—к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. В щедринском творчестве много смеха, настоящего, «высокого» (Гоголь). По мысли М. С. Ольминского, Щедрин оставил на земле смеха, «может быть, больше, чем кто бы то ни было другой из живших на ней, не исключая Аристофана, Рабле, Свифта, Вольтера и Гоголя»¹. И тем не менее комическое у Щедрина лишено права единоначалия. Уже современные писателю критика и читатели отмечали этот факт, говоря о заметной струе трагизма в художественной ткани сатиры.

Позднейшие исследователи творчества Щедрина тоже указывают на сильное трагическое начало в нем, но делают это мимоходом, вскользь, не уделяя должного внимания такому важному моменту. Важному не только потому, что освещение его даст более точное, полное представление об идейно-эстетическом диапазоне сатиры Щедрина, но и потому, что это поможет уяснить многие положения теории сатиры вообще, так как они в ряде случаев непосредственно восходят к фактам щедринского творчества.

В многочисленных обращениях к наследию сатирика отчетливо проступает такая деталь: щедринская сатира обычно рассматривается сквозь призму «Истории одного города» и произведений, близких ей по формам воплощения темы. Сама «История одного города»—поистине излюбленное произведение исследователей. Отсюда преимущественно черпаются примеры, призванные иллюстрировать их заключения о гротеске, фантастике, осмеянии как обязательных признаках сатирического письма, характеристических чертах его. Слов нет, «История одного города»—одна из вершин искусства сатиры. Не учитывать творческих принципов, в ней использованных, нельзя. Но нельзя забывать и того, что из-под пера

¹ Цитирую по кн.: В. Кирпотин, М. Е. Салтыков-Щедрин. «Жизнь и творчество». «Советский писатель», М., 1955, стр. 686.

Щедрина вышли сатирические произведения, написанные в ином эстетическом, стилевом ключе.

Уже в эстетическом рисунке «Губернских очерков», как отметил Н. Г. Чернышевский, необычайно отчетливо проступают негодование и скорбь, лишенные веселых, комических красок. В ряде других произведений сатирика трагическое проступает настолько отчетливо, что ориентация на смех, комическое, как главный признак своеобразия сатиры, становится невозможной без риска впасть в упрощенчество. Из них назовем такие произведения, как «В среде умеренности и аккуратности», «Господа Головлевы», «Мелочи жизни». Сюда же следует отнести многие из рассказов так называемого «Сборника», цикла «Пошехонские рассказы», часть сказочного цикла. «Дворянские мелодии», «Чужую беду—руками разведу» («В среде умеренности и аккуратности»), «Дворянская хандра», «Больное место» («Сборник»), «Вечер третий. Комната третья», «Вечер пятый» («Пошехонские рассказы»), «Черезовы муж и жена», «Чудинов», «Сельская учительница», «Полковницкая дочь», «Портной Гришка» («Мелочи жизни»), «Коняга», «Путем-дорогою», «Приключение с Крамольниковым», «Христова ночь», «Рождественская сказка»—эти и многие другие страницы щедринской сатиры не являются комическими ни по пафосу, ни по воплощению¹.

Игнорирование трагического в сатирическом произведении может привести к упрощенному, ошибочному толкованию его идейно-художественной концепции.

Нам представляется, например, значительно верней трактовка щедринского молчалинского типа, предложенная Е. И. Покусаевым и А. С. Бушминым, в которой учитывается не только комическое, но и трагическое звучание его², чем попытка истолковать данный художественный образ как объект, достойный лишь осмеяния.

Сатирик, как известно, не ограничился общественно-политической характеристикой Молчалина, он раскрыл психологию молчалинства как социального явления, указал на причины, вызывающие его к жизни. Молчалин у Щедрина предстает как прямое порождение эпохи деспотизма и произвола. Он—действительно Молчалин, но Молчалин скорее поневоле, чем по призванию. Ему неизменно приходится участвовать

¹ Если же говорить об элементах комического, то они весьма распространены в произведениях большинства русских критических реалистов XIX в. (Пушкина, Грибоедова, Герцена, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Гл. Успенского), помимо Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова.

² Е. И. Покусаев. Идейно-творческий путь Салтыкова-Щедрина в 60-е и 70-е годы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Л., 1957, стр. 36—37; его же. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. Гослитиздат, М., 1963, стр. 281—327; А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина. Изд. АН СССР, М.—Л., 1959, стр. 116—126.

в той «многоактной трагедии», которая носит «одно общее название: Трепет»¹. Такой путь исследования данного типа, предпринятый писателем, естественно определил переходы от сатирического осмеяния Молчалина к признанию «трагизма его положения»². И чем ближе финал «молчалинской поэмы», тем отчетливее трагизм, яснее контуры «целого трагического сценария»³. «Большое место» — заключительный аккорд в «сплошной трагедии»⁴ молчалинства.

Известно, что Щедрин счастливо сочетал в себе качества практика-художника и литератора-теоретика. Все его творчество отмечено ясно проступающей осознанностью художественного метода. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные авторские разъяснения «секретов» сатирического письма, теоретические обоснования его важнейших идейно-художественных принципов. И среди них мы нередко встречаем осознание писателем трагической «подкладки» (Достоевский) сатиры.

Говоря об условиях, в которые была поставлена русская общественная жизнь, как о «нравственной смуте», эпохе «трепета», «лести» и «вероломства», Щедрин замечает: «Вступая в область вероломства, мы, так сказать, видим себя в самом сердце трагедии. Тут все трагическое: и вещи, и лица»⁵. Многие вопросы, возникающие в этой «насыщенной лганьем атмосфере», по мнению сатирика, «могут быть разрешены только в смысле трагедии»⁶. И это неудивительно. В поле зрения подлинной сатиры оказываются наиболее социально вредные явления, противостоящие передовым устремлениям времени, тенденциям осуществления идеала писателя. Общественно отрицательное находится в противоречии с последними, игнорирует, подавляет их. Раскрытие этого противоречия невозможно без чувства трагического.

Со всей страстью революционного демократа обрушился Щедрин на непригодные общественно-политические формы, на уродливые нормы морали, словом, на все «краеугольные камни» и «основы», загородившие дорогу русскому обществу к подлинному счастью. Они калечат людей, обесчеловечивают их. Жизнь, «находящаяся под игом безумия»⁷, трагична, без устали повторял сатирик, призывая общество осознать этот трагизм, устранить его источник. И, пожалуй, нигде так

¹ Н. Щедрин. (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., Гослитиздат, М., 1933—1941, т. XIII, стр. 541.

² Там же, т. XII, стр. 305.

³ Там же, стр. 406.

⁴ Там же.

⁵ Там же, т. XIII, стр. 541.

⁶ Там же, стр. 540.

⁷ Там же, т. XVIII, стр. 235.

сильно не отразилась «трагическая истина русской жизни»¹, как в сатире Щедрина.

Правда, в сатире часто вскрывается и противоречие другого плана, противоречие между внутренней несостоятельностью ее объекта и той ролью, которую он тщится играть в жизни. Отсюда и комический спектр, встречаемый в сатирических произведениях. Своеобразный эстетический сплав трагического и комического и определяет лик сатиры. К подобному выводу, выводу о диалектическом единстве этих двух эстетических противоположностей в ней приходит исследователь творчества Рабле—Е. М. Евнина. Сатира «включает в себя и смех и трагедию противоречия»²,—пишет она, указывая на предпосылки такого единства.

Трагическое в сатире разнородно. «Великое страдание человека» (Чернышевский), изнывающего под игом несправедливого социально-политического устройства, судьба «человека, питающегося лебедой» (Щедрин)—все это, безусловно, трагично. Кто усомнится в трагической окрашенности «Приключения с Крамольниковым», «Сельской учительницы», «Портного Гришки», «Коняги»? Но трагичным может быть и не подзащитный, а объект сатиры. Мы уже кратко отмечали трагическое звучание сатирического образа Молчалина. «Двоегласие» Молчалина, т. е. два лика его—казенный, наносный («кора молчалинства») и собственный, человеческий—не препятствовали этому. Однако трагическое в сатире простирается значительно дальше и способно проникать в область, казалось бы, запретную для него. Большой интерес в этом отношении представляет анализ образа Иудушки Головлева, данный Е. И. Покусаевым. «Ощутимые трагические штрихи» этого образа не случайны,—указывает исследователь,—они «имеют существенное значение для понимания сознательных намерений автора в конструировании величайшего сатирического типа»³.

Отвергая имевшую место интерпретацию этого явления в сентиментально-моралистическом плане, Е. И. Покусаев подчеркивает то, что трагизм не обеляет Иудушку, а наоборот, дает лучшую возможность ужаснуться зияющей бездне его падения. К тому же «раскрытие трагизма этого рода усиливает критику, усиливает обличение социального порядка, который уродует человеческую личность, низводит ее до положения Иудушки»⁴. Факт трагической осложненности данного

¹ Щедрин. (М. Е. Салтыков) Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 69.

² Е. М. Евнина. Франсуа Рабле. Гослитиздат, М., 1948, стр. 251.

³ Е. И. Покусаев. «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина. — «Ученые записки Саратовского университета», т. LVI, вып. филологический, 1957, стр. 399, 400.

⁴ Там же, стр. 405.

художественного типа, таким образом, находится в прямом соответствии с особенностями просветительски-материалистического мировоззрения Щедрина¹. Думается, что можно утвердительно ответить на вопрос—трагичен ли сам Иудушка, помня о возможных видоизменениях трагического. В этой связи интересно обратиться к отрывку из рукописи «Эстетических отношений искусства к действительности» Н. Г. Чернышевского, включенному с некоторыми изменениями в статью «Возвышенное и комическое».

«Объяснять, почему страшно, трагически действует на человека великое, ужасное страдание или гибель *великого*, того человека, которым гордится, на которого радуется всякий человек,—кажется нам совершенно излишним. Так определяется то трагическое, о котором обыкновенно говорится в эстетике. Но она забывает о третьем роде трагического, говоря только о трагическом страдании и трагическом гибели,—забывает о трагическом злодейства, преступления, порока, о трагическом злого»². Чтобы сделать свою мысль более наглядной, Чернышевский далее набрасывает портрет лорда-эпикурейца, социальная вредность которого замаскирована внешним благообразием и приличием.

Говоря, что эта эстетическая проблема еще не решена, не реализована в должной мере в искусстве, Н. Г. Чернышевский продолжает: «...изображенный в настоящем своем виде, такой человек будет самым страшным, самым трагическим лицом, и картина его жизни трагичнее картины жизни Макбета или Яго. В нем выразится ужас порока, ужас самого зла, а не отдельных злодейств, порождаемых злом»³.

Нетрудно заметить, что речь идет о потенциальном сатирическом типе и, таким образом, обосновывается возможность трагизма самого сатирического характера. Отчетливее это проступает в отрывке рукописи. Обосновав «особенный вид трагического»—трагическое «нравственной гибели человека», «порока» и «бездушного строго последовательного эгоизма»⁴, Чернышевский непосредственно указывает на возможность сатирической обрисовки его носителя, на переходы в ней от трагического к комическому: «...слишком трудно удержаться от негодующего отвращения при изображении подобной личности и не отомстить такому человеку за страшный вред, им приносимый, изобразив его не только пагубным, но и жалким, грязным, презренным. Трагическое здесь

¹ См.: Е. И. Покусаев. «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина.—«Ученые записки Саратовского университета», т. LVI, вып. филолог. 1957, стр. 405.

² Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, Гослитиздат, М., 1939—1953, т. II, стр. 184.

³ Там же.

⁴ Там же, стр. 879.

против воли автора обращается в ироническое, саркастическое. И этот род трагического подходит под определение, вышестоящее выше. Он естественным образом приводит нас к комическому»¹.

Нельзя не признать тонкости и верности этих наблюдений Чернышевского, их принадлежности к сильным сторонам его взгляда на трагическое. Нетрудно понять, что для непримиримого борца против зла, каким был Н. Г. Чернышевский, очень важно было говорить о трагизме сеятелей его. Обличение их, сатирическое оскорбление не ослабевает, а даже усиливается оставлением за ними права на мучительные трагические жизнесостояния, на трагическую безысходность. Не это ли видим мы в примере с Иудушкой Головлевым? К тому же определенные моменты трагического «порока», «нравственной гибели человека» могут предстать как прямое обвинение дурно устроенной общественной системе, содействовать отрицанию ее².

Ограничиваясь сказанным, подчеркнем еще раз, что трагическое имеет ничуть не меньшее право на анализ и учет при определении сатиры, чем комическое. Оно неизменно присутствует во всех подлинно сатирических произведениях³.

«...В подкладке сатиры всегда должна быть трагедия»⁴, считал Ф. М. Достоевский.

Помимо комического и трагического, в поэтике сатиры возможны и другие эмоциональные, эстетические начала. М. Е. Салтыков-Щедрин считал, что долг подлинной сатиры дать «почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее»⁵. Разумеется, формы воплощения этого долга различны, но по мере его выполнения обнажается не только негодующее, но и любящее сердце сатирика, открыто проступает возвышенный строй его мыслей и чувств, героическое воодушевление⁶.

Если брать Щедрину, то многие страницы его сатиры исполнены самого высокого лиризма. Определять сатиру как сложный эстетический комплекс, представляется нам, поэтому значительно плодотворнее, чем идти в определении ее от

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 880.

² В сноске статьи «Возвышенное и комическое содержит намек на такой поворот. См.: Там же, стр. 185.

³ Примеры отсутствия трагического в сатире, приводимые в «Вопросах теории сатиры» (стр. 326), лишены, на наш взгляд, убедительности.

⁴ Цитирую по книге: С. Борщевский, Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. Гослитиздат, М., 1956, стр. 296.

⁵ Н. Щедрин. (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. V, стр. 375.

⁶ Вопрос о героическом в сатире ставился уже в ряде исследований — см. работы Л. Ершова «Сатира и героика» («Звезда», 1960 № 9), «Советская сатирическая проза 20-х годов» (Изд. АН СССР, М.-Л., 1960); а также исследование О. Ильина «Героическая сатира Маяковского» (Саратовское книжное издательство, 1962) и др.

положения (или сводить к нему)—сатира—оттенок смеха, разновидность комического. Реалистической сатире свойственен эстетический синкретизм. Сатира—ветвь «карнавализованного» искусства, житель области «серьезно-смехового», где преимущественное внимание только кодной стороне неизбежно создает эстетическую схематизацию, перекокс. «Незримые миру слезы»—одна особенность сатиры. Другой особенностью ее может быть и «незримый миру смех».

Нельзя не учитывать и того факта, что в истории эстетической мысли часты примеры исключения сатиры из числа форм комического¹. Мы признаем справедливость мнения исследователей, считающих, что вслед за Платоном и Аристотелем многие представители идеалистической эстетики выводили сатиру за пределы комического чаще всего по причинам не эстетического, а идеологического порядка, стремясь «убе-речь» комическое от боевого, «агрессивного» духа сатиры. Однако предпосылки для разграничения содержатся в качественном различии комического и сатиры как эстетических явлений. Не потому ли в своей классификации видов комического Н. Г. Чернышевский не называет сатиру? Он, как известно, выделяет фарс, остроту (собственно остроту, насмешку, иронию), юмор².

Весьма неубедительным выглядит предположение, что Чернышевский не назвал сатиру видом комического, согласился с определением комического, представленным эстетикой Фишера, из цензурных опасений³. Зная принципиальность и последовательность революционного демократа, можно предположить, что он вообще обошел бы стороной или индифферентно оговорил запретный вопрос, нежели решился бы затронуть его для... изъявления согласия с воззрениями, противоречащими его собственному.

«С господствующим определением комического—«комическое есть перевес образа над идеею», иначе сказать: внутренняя пустота и ничтожность, прикрывающаяся внешнею, имеющею притязание на содержание и реальное значение,—нельзя не согласиться»⁴. Такое определение, как справедливо считает автор «Эстетических отношений искусства к действительности», в общем плане достаточно верно характеризует

¹ Жан-Поль Рихтер, по словам Н. Н. Сретенского, «отграничивает» сатиру от «собственно-комического» в своей классификации комических форм, считая, что сатира лишь «погранична» ему (см.: Н. Н. Сретенский. Историческое введение в поэтику комического. ч. 1, Ростов-на-Дону, 1926, стр. 27). Он советует различать в пределах комического остроумие, иронию, шутливость, юмор.

² Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 187—191.

³ Подобную точку зрения находим в статье М. С. Кагана «Трагическое и комическое в эстетике Чернышевского». — «Ученые записки ЛГУ», серия исторических наук, 1954, № 160, вып. 20, «История искусства», стр. 122, 123, 127.

⁴ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 31.

природу данного явления и может свободно быть истолковано в материалистическом духе. Н. Г. Чернышевского не удовлетворяет лишь ограничение понятия комического противопоставлением его только возвышенному, проистекающее из стремления сохранить «диалектический метод развития понятий» Гегеля: возвышенное—перевес идеи над образом, комическое—образа над идеею. Здесь он и вносит существенную поправку, говоря о наличии комического безобразного и его противоположности «прекрасному, а не возвышенному»¹.

Упрек М. С. Кагана в адрес Г. В. Плеханова, объяснившего согласие Чернышевского с «господствующей эстетической системой» в определении комического тем, что оно в основе своей не противоречило воззрениям автора «Эстетических отношений», является необоснованным². Г. В. Плеханов правильно заметил, что «с принятого идеалистами определения: «Комическое есть перевес образа над идеей», он мог без больших диалектических усилий стереть всякий след идеализма»³.

Дело не в цензурных опасениях, как думают некоторые исследователи⁴.

Н. Г. Чернышевский, вслед за Белинским, рассматривал сатиру в контексте критического реализма как одно из видоизменений последнего. Это ясно при прочтении следующих рассуждений автора «Очерков гоголевского периода русской литературы».

«Нельзя сказать, чтобы Гоголь не имел предшественников в том направлении содержания, которое называют сатирическим. Оно всегда составляло самую живую, или, лучше сказать, единственную живую сторону нашей литературы». Назвав далее имена Кантемира, Сумарокова, Фонвизина, Крылова, Грибоедова, подчеркнув важное «влияние Пушкина как сатирического писателя, каким он явился преимущественно в «Онегине», Чернышевский оставляет за Гоголем «заслугу прочного введения в русскую изящную литературу сатирического—или, как справедливее будет назвать его, критического направления»⁵.

Разъясняя, в каком смысле им употребляется термин «критическое направление», Чернышевский указывает на известную степень сходства последнего с «аналитическим направлением», «анализом в литературе». «Но различие состоит в том,

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 31.

² М. С. Каган. Указанная работа, стр. 122.

³ Г. В. Плеханов. Литература и эстетика, т. I, Гослитиздат, М., 1958, стр. 456.

⁴ Кроме автора цитируемой статьи «Трагическое и комическое в эстетике Чернышевского» подобного взгляда придерживается И. Дзеврин в своей книге «Проблема сатиры в революционно-демократической эстетике». Изд. АН УССР, Киев, 1962, стр. 152.

⁵ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, стр. 18.

что «аналитическое направление» может изучать подробности житейских явлений и воспроизводить их под влиянием самых разнородных стремлений, даже без всякого стремления, без мысли и смысла; а «критическое направление», при подробном изучении и воспроизведении явлений жизни проникнуто сознанием о соответствии или несоответствии изученных явлений с нормою разума и благородного чувства. Поэтому «критическое направление» в литературе есть одно из частных видоизменений «аналитического направления» вообще. Сатирическое направление отличается от критического, как его крайность, не заботящаяся об объективности картин и допускающая утрировку»¹. Из этого четкого и последовательного рассуждения невозможен другой вывод, кроме признания единокровия сатиры и критического направления в искусстве, невозможности их противопоставления друг другу.

Как правильно отмечает У. А. Гуральник, «нельзя понять требований, которые революционно-демократическая материалистическая эстетика и критика предъявляла к сатире, игнорируя целостную и целеустремленную революционно-демократическую теорию критического реализма»².

В высказываниях революционных демократов вы не найдете попыток рассматривать такие сатирические произведения, как «Ревизор», «Мертвые души», «Губернские очерки» по иным, чем предъявляемые к «просто» критическим реалистическим произведениям, законам. Наоборот, мы видим стремление доказать, что это тот же реализм, усиленный в своей критической функции. Возникновение сатиры и ее природа объясняются «общим направлением всей современной русской литературы к реализму»³. Выделяют же ее из общего русла критического реализма—интенсивность, «крайность» критики социальных пороков, энергия «оскорбления зла» (Чернышевский). В первую очередь это, а затем уж и формы воплощения, принимались в расчет при определении сатиричности произведения⁴.

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, стр. 18.

² У. А. Гуральник. Русская революционно-демократическая критика и вопросы сатиры. — «Известия АН СССР», отделение литературы и языка, 1953, т. XII, вып. III, стр. 238—239.

³ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 964.

⁴ Нам представляется несобоснованным распространение некоторыми исследователями высказывания В. Г. Белинского о специфике комедии на сатиру вообще. Так, говоря, что «прежде всего осуждающий смех, смех, порожденный осознанием комичности определенного рода отрицательных явлений действительности, и есть, согласно революционно-демократической эстетике, тот специфический признак, который отличает сатиру от других форм критики общественных недостатков, а также выделяет ее в особую разновидность художественного творчества», И. Дзеврин ссылается на следующее высказывание Белинского: «...Основа комедии — на комической борьбе, возбуждающей смех. См.: И. Дзеврин. Проблема сатиры в революционно-демократической эстетике, стр. 133—134.

Гнев и скорбь, порождаемые осознанием трагичности вскрываемого противоречия, столь же характерны для сатиры, как и смех.

Напомним слова Н. Г. Чернышевского о Щедрина: «...Никто ...не карал наших общественных пороков словом, более горьким, не выставлял перед нами наших общественных язв с большею беспощадностью. У него нет ни одного веселого или легкого выражения, не только целого очерка,—у него нет не только целого рассказа, похожего на «Коляску», или на «Тяжбу», или на «Лакейскую» Гоголя,—нет двух строк, которые бы ни были пропитаны грустным чувством. Он писатель по преимуществу скорбный и негодующий»¹. Это предпочтение Щедрина Гоголю, писателю, творчество которого незадолго до этого расценивалось Чернышевским как непревзойденный образец художественного критицизма, весьма примечательно. Не комическое, чувство которого было превосходно развито у Гоголя, отличает автора «Губернских очерков», делает его более сатиричным, а «беспощадность», непримиримость и, как ясно из всего содержания статьи, *сознательная* устремленность обличения самодержавно-крепостнического строя.

Да и в творчестве самого Гоголя комическое, смех далеко не определяли, по мнению революционеров-демократов, всего своеобразия эстетического лика сатиры². Выражая согласие с П. А. Плетневым, Чернышевский говорит: «И ошибочно было бы думать, что сильнейшее впечатление, производимое «Мертвыми душами»—смех: напротив, это книга очень серьезная и грустная»³.

Характерно следующее высказывание В. Г. Белинского: «Комизм еще не составляет основного элемента всех сочинений Гоголя». Усматривая его в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», критик видит в «Арабесках» переход Гоголя к «юмору», который эстетически шире комического: «его юмор смешит уже только простяков или детей; люди, заглянувшие в глубь жизни, смотрят на его картины с грустным раздумьем, с тяжкою тоскою... Из-за этих чудовищных и безобразных лиц им видятся другие, благообразные лики; эта грязная действительность наводит их на созерцание идеальной действительности, и то, что есть, яснее представляет им то, что бы должно быть... В «Миргороде» этот юмор особенно проникает насквозь дивную повесть о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем; оканчивая ее, вы от души воскли-

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 266—267.

² Нужно помнить, что термин «юмор», часто употребляемый Белинским в анализе гоголевских произведений, обозначал не форму комического в собственном значении, а сатиру в современном ее понимании, включающую и другие, помимо комического, эстетические категории.

³ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, стр. 132.

цаете с автором: «Скучно на этом свете, господа!», точно как будто выходя из дома умалишенных, где с горькою улыбкою смотрели вы на глупости несчастных больных... В этом смысле, комедия Гоголя «Ревизор» стоит всякой трагедии»¹. Как видим, критик вполне сознавал ведущую роль трагического в сатире.

Разумеется, революционно-демократическая эстетика не игнорировала того факта, что обличение «общественных язв» может осуществляться с помощью смеха, что последний способен выполнять в сатире важные функции и т. п. На этот счет можно привести не менее яркие высказывания Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Щедрина. Однако из этих высказываний вовсе не следует вывода о том, что смех должен объявляться единственным ликоопределяющим признаком сатиры, ее эстетическим законом и что сами слова «смех», «осмеяние» должны непременно наличествовать в формулировке ее. Опасения в недооценке значения смеха не должны оборачиваться другою крайностью.

Признание обязательности смеха в сатире неизбежно приводит к строгому разграничению на этой основе (что малоплодотворно, а иногда и вообще невозможно) «собственно» сатирического и несатирического отрицательного, в частности сатирического и «просто» отрицательного образов². Не плодотворность такого именно разграничения дает о себе знать в противоречивых, а порою и ошибочных суждениях его сторонников. Так, оспаривая верное в своей основе утверждение В. Я. Кирпотина, что принадлежность к сатире того или иного произведения определяется прежде всего, но не исключительно, «его критической устремленностью и в особенности силой, интенсивностью критики в нем отрицательных явлений»³, В. В. Ермилов, ориентирующийся на обязательный смех, излишне категоричен, когда совершенно отказывает в сатире обличительным произведениям Л. Толстого, М. Ю. Лермонтова⁴. Возражая В. В. Ермилову, справедливо считает сатирическим толстовское беспощадное обличение «устоев» дворянско-буржуазного общества М. Щеглов в своей интересной, хотя и несколько противоречивой, статье «Особенности сатиры Льва Толстого»⁵. Автор прямо указывает на то, что «в «Воскресении», в «Смерти Ивана Ильича», в

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., Изд. АН СССР, М., 1953 — 1959, т. V, стр. 566—567.

² В. Ермилов, Я. Эльсберг, Ю. Борев и др. Л. И. Тимофеев кладет в основу подобного разграничения *гротескность* сатиры (см. его «Основы теории литературы», М., 1963, стр. 375).

³ В. Кирпотин. Сатира Щедрина и современность.—«Октябрь», 1953, № 1, стр. 169.

⁴ В. Ермилов. Указанная работа, стр. 72.

⁵ М. Щеглов. Особенности сатиры Льва Толстого. — «Новый мир», 1953, № 9.

«Крейцеровой сонате» и в других поздних толстовских шедеврах сатира является одним из главных художественных элементов»¹. Разграничение, как указывалось ранее, основывают или на гротеске, или на комизме. Анализируя толстовское отрицание, М. Щеглов пришел к признанию того, что сатира может выступать «как утонченный психологический анализ» без тени «нарочитого шаржирования»², «без смеха»³.

Вполне закономерным считает постановку вопроса о мастерстве Л. Толстого-сатирика М. Б. Храпченко. В его книге «Лев Толстой как художник» имеется специальная глава, посвященная анализу сатиры этого могучего протестанта. Кстати, М. Б. Храпченко считает возможным говорить о существовании сатиры «вне комизма»⁴. В подтверждение этой мысли им проводится ряд примеров из области русской и мировой литературы. Убедительным свидетельством «сатирического изображения жизни вне комизма» М. Б. Храпченко считает и «художественные обобщения самого Толстого»⁵.

Выделяемые сторонниками категорического разграничения признаки, присущие якобы только сатире и этим отличающие ее от несатирической критики, зачастую носят далеко не специфический характер, не являются уделом лишь сатиры⁶.

Нам могут сказать, что недостатки в суждениях сторонников разграничения не есть качество самого разграничения, а лишь способа его толкования. В известной мере это так. Если не конкретизировать понятия отрицательный образ, если включать в это понятие и образ, в котором писатель вместе с критикой слабых сторон выразил и свои симпатии многим положительным качествам, воплощенным в нем, то разговор о разграничении закономерен. Кто же возьмется отрицать разницу между таким художественным образом и сатирическим типом? Но условность такого разграничения становится очевидной, если мы обратимся к «настоящему».

¹ М. Щеглов. Особенности сатиры Льва Толстого.—«Новый мир», 1953, № 9, стр. 176.

² Там же, стр. 181.

³ Там же, стр. 183.

⁴ М. Б. Храпченко. Лев Толстой как художник «Советский писатель», М., 1963, стр. 530.

⁵ Там же.

⁶ См., например: Ю. Боров. О комическом, стр. 127—128. Приводим один из признаков сатиры, выдвигаемый в качестве основного: «В третьих, что самое главное,—эта критика (сатирическая. — В. М.) не является простым осуждением явления путем прямого формулирования отрицательного отношения. В сатире зритель и читатель как бы естественно подвигаются к самостоятельному, активному противопоставлению данного явления высокому эстетическим идеалам» (стр. 127). Ну, а где это не так? Думается, что данный «главный» признак скорее пригоден для различения сатиры и критики, находящейся вне художественной сферы. Если же понимать «прямоту» осуждения в положительном смысле, то следует признать, что она в первую очередь свойственна сатире.

преимущественно отрицательному образу. Последний несет на себе печать если не явной, то «скрытой сатиры» (Луначарский), и часто в его квалификации становится неизбежным определение сатирический.

Помешики Лесинские в «Дмитрии Калинин» Белинского, Негровы в романе «Кто виноват?» Герцена, Аркадий Павлович Пеночкин в «Бурмистре» Тургенева, Дикой в «Грозе» Островского, Тоцкий в «Идиоте» Достоевского, Кригсмут в «Воскресении» Толстого, сторож Никита в «Палате № 6» Чехова, Клим Самгин в «Жизни Клима Самгина» Горького, Грацианский в «Русском лесе» Леонова—кто они, отрицательные несатирические или сатирические персонажи? Попробуйте, не рискуя впасть в схематизм и противоречивость, провести четкий водораздел. На наш взгляд, нет оснований отказывать им в сатиричности¹.

Для доказательства принципиального отличия сатирического и «просто» отрицательного типов обычно указывают на образ Обломова, образ Германа из «Пиковой дамы» Пушкина. В «Вопросах теории сатиры» с этой целью Обломов сопоставлен с Маниловым. По мысли автора указанной работы, это «глубоко родственные натуры», но даны они в разных планах—отрицательном и сатирическом. Действительно, известная разница в средствах художественной характеристики здесь имеется, но пример тем не менее не убеждает. Сам Я. Е. Эльсберг, вопреки отправному положению о «глубоком» родстве сравниваемых образов, вынужден признать, что Манилов и Обломов воплощают в себе далеко не однородные устремления их творцов, что «Гончаров в своем романе не раз отмечает и даже подчеркивает и положительные черты Обломова»². Правда, в рассуждениях исследователя дело представляется таким образом, что несатирическая характеристика Обломова заставила Гончарова подчеркнуть в нем положительные черты. Ясно, что мысли нужно придать обратное течение. Для Гоголя Манилов—насквозь отрицательное явление жизни. Обломов же для Гончарова — человек, которому можно и должно во многом симпатизировать, на

¹ Отметим, что некоторые из названных нами художественных образов расцениваются литературоведами именно как сатирические. См., например: Е. И. Покусев. «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина. «Ученые записки» Саратовского университета, т. LIV, вып. филолог., 1957, стр. 370; С. Г. Бочаров. Психологический анализ в сатире. — В кн.: Я. Эльсберг. Вопросы теории сатиры, стр. 246—279.

Еще Д. Н. Овсянко-Куликовский, видевший специфику сатирического образа в нарочитой «односторонности», полагал, что отрицательных персонажей пьес А. Н. Островского—представителей «темного царства» — «по праву можно отнести к области художественной сатиры», несмотря на их «разносторонность» (Д. Н. Овсянко-Куликовский. Вопросы психологии творчества. Спб., 1902, стр. 211.

² Я. Эльсберг. Вопросы теории сатиры, стр. 281.

«честное, верное сердце» которого «всюду и везде можно положить». Не случайно Добролюбов сразу же «заподозрил» автора в чрезмерном расположении к своему герою. Кстати, Н. А. Добролюбов рассматривает Обломова в ряду «лишних людей». Для Манилова такие параллели невозможны. Его генеалогическое древо совершенно другой породы. Из всего этого правомерно возникает вопрос: стоит ли удивляться разнице форм художественной характеристики этих типов? Можно ли строить на ней доказательство принципиального различия сатирического и отрицательного образов? Сопоставление с целью разграничения может быть убедительным лишь тогда, когда отрицательный образ будет, что называется, выдержанным в своем основном направлении. Но в этом случае, как правило, отпадает сама необходимость сопоставления, так как собственно отрицательный образ отвечает сатирой.

Итак, разграничение на указанном основании (наличие или отсутствие «осмеяния») малопродуктивно. Нет нужды отказываться в сатиричности отрицательным персонажам в зависимости от того, облекается ли отрицательное в форму комических несоответствий, или раскрытого другими, внекомическими средствами. Первым условием здесь является сила и устремленность «оскорбления зла», а затем уже структура, формы его воплощения. Такой критерий не содержит тенденций к отождествлению всего критического реализма с сатирой, как это может показаться. Но он и не позволяет суживать сферу сатиры рамками творчества нескольких общепризнанных мастеров смеха. Нам не кажется заблуждением стремление усматривать сатиру у большинства русских критических реалистов, разумеется, с пониманием степени, удельного веса ее в творчестве художника и применительно к конкретным фактам его. Революционеры-демократы считали сатиру живительной струей *всей* русской литературы, а «гоголевское направление» определяли как критико-сатирическое. Н. Г. Чернышевский счел возможным указать на важное влияние Пушкина «как сатирического писателя»¹. Неправильно было бы видеть сатиру только в творчестве Гоголя. Щедрина, Чехова преимущественно первого периода творчества — до 1887 г. С полным основанием можно говорить об искусстве сатиры Лермонтова и Герцена, А. Н. Островского и Некрасова, Лескова и Л. Толстого, Чехова (не только юмориста) и Горького, а также многих других мастеров художественного обличения². Как немыслима история русского критического

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III; стр. 18.

² Не вдаваясь в оценку, укажем, что некоторые шаги в этом направлении уже сделаны литературоведением: см., например, ранее указанные работы о сатире Л. Толстого, книги М. С. Горячкиной («Сатира Лескова», изд. АН СССР, М., 1963), И. С. Эвентова («Сатира в творчестве М. Горького», «Советский писатель», М. Л., 1962) и др.

реализма без Щедрина, так немыслима и история сатиры без Л. Толстого. Сделаем общий вывод. Определение сатиры как оттенка смеха, формы комического включает в себе серьезные недостатки: во-первых, затушевываются другие, не менее сильные эстетические начала и тем самым дается неверная ориентация; во-вторых, принадлежность к сатире произведения, художественного образа определяется не столько основным критерием—силою, глубиною и целеустремленностью «оскорбления зла», сколько подчиненным ему признаком — средствами воплощения критики в форме комических несоответствий. Последнее объявляется неизменным, обязательным, что непомерно суживает сферу сатиры, оставляет за ее пределами подлинно сатирические творения. Говоря о взаимоотношениях комического и сатиры, следует признать наличие тесной связи между ними. Комическое очень часто сигнализирует о присутствии сатиры, «выдает» ее читателю-другу, одновременно укрывая и защищая от многих придирок обличаемого противника. В природе, в искусстве встречаются такие идущие рука об руку явления: наличие одного из них может служить признаком присутствия другого.

Но как очевидна их связь, так очевидно и различие. Сатира, часто прибегая к услугам комического, в то же время включает в себя другие, иногда противоположные комическому эстетические начала и, таким образом, существенно отличается по природе своей, живет своими идейно-эстетическими законами. Неправоммерно поэтому включать сатиру в ряд форм комического.

В литературоведческих работах последнего времени наблюдаются попытки утвердить мысль о значении сатиры как четвертого рода литературы. Вслед за Л. И. Тимофеевым в этом плане высказываются и другие исследователи (Я. Эльсберг, Ю. Боров, Д. Николаев). Имеется ли необходимая аргументация выдвигаемого положения, возможна ли она? Для ответа на эти вопросы необходимо несколько подробнее рассмотреть взгляды, соображения названных исследователей. Выдвигая в качестве основания литературного рода «определенный тип изображения человека в жизненном процессе, определенный способ обрисовки характера»¹, Л. И. Тимофеев подводит к выводу, что как и в общепризнанных литературных родах—эпосе, лирике, драме—в сатире «налицо своеобразный способ изображения человека», «особая форма отражения жизни»². Это своеобразие, по мысли

¹ Л. И. Тимофеев. Основы теории литературы. М., 1963, стр. 329.

² Там же, стр. 373—374. Ранее взгляд на сатиру как род литературы был высказан Л. И. Тимофеевым, правда, без развернутой аргументации в его статье «О систематизации основных понятий теории литературы». — «Литература в школе», 1955, № 2, стр. 72.

исследователя, заключается в обязательном преувеличении, нарушении пропорций, изображении не «в форме жизни». «Сатирический образ—это образ гротескный, в котором сдвинуты жизненные пропорции»¹. Именно в этом, как указывалось ранее, и заключено для Л. И. Тимофеева принципиальное отличие сатирического образа от отрицательного несатирического.

Нельзя сказать, что такая аргументация не оставляет сомнений, если даже признать за сатирой обязательность преувеличений, нарушения пропорций и т. п. В таком случае естественнее говорить не о четырех поэтических родах, как это желательно, а о двух, охватывающих собою:

1) произведения, воссоздающие жизненное явление «в форме жизни»,

2) произведения, где его реальный облик нарушен. Различение эпоса, лирики, драмы при таком основании деления становится невозможным. Как видим, внешне сохраняющий облик традиционного—«как подражать»², выдвигаемый принцип фактически раскрывается в ином плане: здесь отодвигается в сторону основополагающий для традиционного принципа тип отношения между субъектом и объектом изображения.

Но прежде всего, трудно согласиться с точкой зрения Л. И. Тимофеева потому, что гротеск, деформация, допустимые в сатире, вовсе не являются обязательными для нее. Сатирический образ, как показывают факты искусства, способен сохранять и реалистическую верность художественной формы. Сошлемся в качестве примера на тип хищника-буржуа Дерунова или на одно из лучших сатирических обобщений—образ Порфирия Головлева в сатире Щедрина. Анализируя образ Иудушки, Е. И. Покусаев правильно указывает на то, что М. Е. Салтыков-Щедрин продемонстрировал здесь «величайшее мастерство построения сатирического типа, как раз не прибегая к условности, к нарочитой перелицовке, к гиперболизации»³. Нельзя игнорировать тот факт, что сатирик может создавать типы, «ничуть не отклоняющиеся даже от внешней бытовой достоверности»⁴. Очень подробно и обстоятельно рассматривается вопрос о художественном преувеличении, его формах, назначении и месте в реалистическом искусстве вообще и поэтике сатиры в частности в работе А. С. Бушмина «Сатира Салтыкова-Щедрина». Автор справедливо критикует исследовательское «увлечение крайними формами

¹ Л. И. Тимофеев. Основы теории литературы. М., 1963, стр. 375.

² Аристотель. Об искусстве поэзии. Гослитиздат, М., 1957, стр. 45.

³ Е. И. Покусаев. «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина. — «Ученые записки Саратовского университета», т. LVI, вып. филолог., 1957, стр. 369.

⁴ Там же, стр. 370.

художественного преувеличения—гиперболой и гротеском, их прославление, проповедь их обязательности в сатире»¹, доказывая, что «реалистическая сатира вполне возможна без гротеска»². Другие исследователи, не высказывающиеся за обязательность гротескного изображения в сатире, настаивают на признании за ней родового структурного своеобразия. Последнее усматривается в так называемой субъективности ее, несвойственной, мол, эпосу и имеющей иной характер, чем в лирике. В этом случае сатиру «судят» как будто бы по тем же законам, что и традиционные поэтические роды: исходят из учета типа отношения между субъектом и объектом изображения. Но сходство здесь внешнее. «Субъективность» сатиры раскрывается не в плане структурном, а как выражение открытого отношения писателя к изображаемому, как немаскируемая оценка его. Ведь она характерна не только, скажем, для «Современной идиллии», но и для «Теней» Щедрина, а это различные по структуре произведения. То же можно сказать относительно «Ревизора», с одной стороны, «Истории одного города»—с другой, и «Думы» Лермонтова—с третьей.

Тот факт, что с сатирой мы встречаемся и в эпических формах (эпическая сатира), и в лирических (лирическая сатира), и в драматических (драматическая сатира), и в синтезе их, весьма знаменателен. Он показывает, что не структура изображения, а угол зрения, особая идейно-эстетическая оценка отличают сатиру как широкое явление искусства. Только в таком плане можно понять распространение этого термина на некоторые виды его, живопись, например, где термины эпос или лирика теряют смысл. На наш взгляд, речь нужно вести не об «оккупации» сатирой «старых» родов литературы, не о двойном гражданстве ее, а об особом художественном способе изображения с характерным для него свободным использованием традиционных структурных форм. Мы говорим: *сатирический роман, сатирическая поэма, сатирическая комедия* и т. д. Что вызывает это определение? Может быть, наличие особых структурных особенностей, подобных тем, ощущая которые, мы называем одно произведение эпическим, другое—драматическим, третье—лирическим? Нет, конечно. В этом случае мы исходим прежде всего из идейно-эмоциональной *направленности* произведения, его критицизма как эстетической доминанты. Это и обозначаем мы термином «сатира», воспринимая ее и как драму («Горе от ума», «Смерть Пазухина»), и как эпос («Господа Головлевы», «Унтер Пришибеев»), и как лирику («Gute Gesellschaft» Огарева, «1-е января» Минаева, «Газетная» Некрасова) в их сравнительно «чистом» проявлении, и как структурную конта-

¹ А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина. Изд. АН СССР, М.-Л., 1959, стр. 473—474.

² Там же, стр. 484.

минацию («Мертвые души»). Из двух утверждений Д. Николаева: сатира «за время своего развития выработала свой способ типизации, свои средства этой типизации»¹ и «у сатиры нет каких-то специальных средств типизации, присущих только ей и не встречающихся в других поэтических родах»² мы отдаем предпочтение второму, помня, конечно, о возможности определенных видоизменений и трансформаций. Ко многим интересным наблюдениям автора книги «Смех—оружие сатиры»—о своеобразии конфликта, сюжета, средств типизации в сатирических произведениях можно добавить и ряд других—о своеобразии облика рассказчика, повествователя, о специфике построения образа автора, например. Но все это еще раз не дает права заявлять о существовании четвертого рода литературы вслед за теми тремя, следующим образом намечаемыми Аристотелем: «подражать в одном и том же и одному и тому же можно, рассказывая о событии, как о чем-то отдельном от себя..., или же так, что подражающий остается сам собою, не изменяя своего лица, или представляя всех изображаемых лиц как действующих и деятельных»³. В наши намерения вовсе не входит отрицание специфики сатиры. Нельзя не видеть художественных особенностей сатирических произведений. Но следует признать, что в родовом отношении, они—оригинальный узор на «старой» структурной канве.

В научной литературе имеется и другой план приобщения сатиры к родам литературы. Так, Ю. Боров считает, что эпос, лирика, драма, как и сатира, являются определенными типами эстетического отношения к действительности и, с этой точки зрения, все они—поэтические роды. Но поскольку «типов эстетического отношения к действительности, пишет Ю. Боров, многим больше, чем те четыре, которые закреплены в *эпосе, лирике, драме, сатире*», поскольку существуют и типы, закрепленные «в таких эстетических категориях и понятиях, как юмор, трагическое, возвышенное», то предлагается «признать родом литературы *юмор, трагедию* (произведения с трагедийным содержанием не только в драме), патетику (оды, гимны и другие произведения, ведущим эстетическим началом которых является возвышенное)»⁴. Исследователь сознает различие «старых» родов литературы, где на первом плане все же художественная структура, и «новых», где «более ощущается ведущая роль типа эстетического отношения», но спешит заверить, что «это различие не принципиальное, ибо

¹ Д. Николаев. Смех—оружие сатиры. «Искусство», М., 1962, стр. 218.

² Там же, стр. 137.

³ Аристотель. Об искусстве поэзии. Гослитиздат, М., 1957, стр. 45.

⁴ Ю. Боров. Метод и система эстетики. «Вопросы литературы», 1961, № 2, стр. 106.

структурные и эстетические моменты есть и в тех и в других родах литературы»¹. С этим трудно согласиться. Тип эстетического отношения к действительности и художественная структура не могут рассматриваться как явления однородные. В традиционном поэтическом роде, эпосе, например, могут доминировать самые разные типы эстетического отношения: комическое, трагическое, героическое и т. д. Достаточно сравнить «Коляску», «Вечер накануне Ивана Купалы», «Тараса Бульбу» Гоголя. Если в сатире мы имеем дело, по терминологии Ю. Борева, с особым, эмоционально-критическим отношением, то каков тип эстетического отношения в драме, куда входят и комедия и трагедия? А в лирике², где можно встретить и негодующее отрицание, «грозу духа» (Белинский), и яростное утверждение, и «комическое воодушевление»?

Как подчеркивалось ранее, сатира в собственном значении этого слова — художественное явление другой, идейно-эстетической, а не структурной природы.

Одно и то же жизненное явление может быть воплощено в разных структурных формах. Например, героизм личности и народных масс, утверждающих новую жизнь, параллельно находил свое отражение в советской литературе 20-х годов в эпических полотнах А. Серафимовича, Ю. Либединского, Д. Фурманова, А. Фадеева, в лирике В. Маяковского, Э. Багрицкого, М. Светлова, в драматургии В. Билль-Белоцерковского, К. Тренева, Б. Лавренева и других. Больше того, можно указать на факт непосредственного структурного «перевода», например, с эпического «языка» на драматический («Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова). Идейно-эстетический тип отношения к действительности при этом остается одним и тем же. Сатира в таких «переводах» участвовать не может.

Неправомерно, на наш взгляд, ссылаться на В. Г. Белинского, будто бы стремившегося рассматривать сатиру как четвертый поэтический род³. Не только в «Ответе «Москвитянину», но и в других статьях критика можно найти заманчивое соседство слов «сатира» и «род». Однако делать выше-

¹ Ю. Боров. Метод и система эстетики. — «Вопросы литературы», 1961, № 2, стр. 107.

² Термин лирики употребляется в 2 значениях. В одном случае им обозначается особая художественная структура, поэтический род; во втором — авторское сочувствие изображаемому, мягкость и задушевность писательского тона — лиризм. Лишь в последнем, не родовом значении можно говорить об определенности типа эстетического отношения к действительности.

³ Я. Эльсберг. Вопросы теории сатиры, стр. 32. Отметим, что А. Лаврецкий, подробно анализирующий учение Белинского о поэтических родах и видах, нигде не отмечает у критика такого стремления. См.: А. Лаврецкий. Эстетика Белинского. Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 254—290.

указанное заключение из этого невозможно. Часто сами термины «сатира» и «род» используются Белинским в иных значениях, чем те, в которых оперируем ими мы. См., например, следующие его высказывания: «Сатира—ложный род. Она может смешить, если умна и ловка, но смешить, как остроумная карикатура, набросанная на бумагу карандашом даровитого рисовальщика. Роман и повесть выше сатиры»¹. Или: «Сатиру заменили теперь художественные создания—роман и комедия, как выражения общественной жизни, и такой роман имеем мы в «Мертвых душах» и такую комедию в «Ревизоре»². Здесь налицо факт терминологического расхождения, так как роман и повесть не могут, очевидно, быть выше литературного рода, как не могут заменить его роман и комедия. Не вдаваясь в подробности вопроса об отношении В. Г. Белинского к сатире, отметим, что в процитированных нами высказываниях критик недифференцированно использует термин сатира, обозначив им отвлеченно-моралистическую сатиру, действительно далекую от реалистического «выражения общественной жизни»³. Термин «род» критик использует часто в видовом, жанровом значении, называя, например, родом поэзии басню, комедию. «Басня, как нравоучительный род поэзии, в наше время — действительно ложный род; ...но басня, как *сатира*, есть истинный род поэзии... Басня может заключать в себе элементы высших родов поэзии, как, например, комедии»⁴ и т. п. Далее мы видим, что сатира понимается критиком не как форма, структура, а как особое качество, эстетическая направленность произведения.

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., Изд. АН СССР, М., 1953—1957, т. VIII, стр. 89.

² Там же, т. VII, стр. 646.

³ Подробнее об этом говорится в работе А. Лаврецкого «Эстетика Белинского», стр. 211—214. Считаю необходимым подчеркнуть, что сложное отношение критика к сатире во многом продиктовано обстоятельствами борьбы за «натуральную школу», за реализм. Говоря, что «нельзя ошибочнее смотреть на «Мертвые души» и грубее понимать их, как видя в них сатиру» (указ. изд., т. VI, стр. 220), В. Г. Белинский стремился уберечь это произведение от постановки его на одну доску с отвлеченно-моралистической сатирой, с одной стороны, а с другой — отвести упреки в преувеличениях, карикатурности и т. п., свойственных сатире. Критик стремился утвердить мысль о подлинной жизненной правде «Мертвых душ», отрицаемой враждебной ему критикой. Термин «сатира» в те времена был для этой цели не совсем удобен. Однако хорошо понимая своеобразие идейно-эстетического угла зрения автора «Ревизора» и «Мертвых душ», Белинский использует для его обозначения термин «юмор», «глубокий юмор», раскрываемый в контексте статей как подлинная социальная реалистическая сатира. В этом смысле становится понятным следующее высказывание критика: «*Сатирическое* направление никогда не прекращалось в русской литературе, но только переродилось в *юмористическое*, как более глубокое в эхнологическом отношении и более родственное художественному характеру новейшей русской поэзии» (указ. изд., т. VIII, стр. 615).

⁴ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 575—576.

«Сатира есть поэзия басни»¹. «Рассказ и цель—вот в чем сущность басни; сатира и ирония—вот ее главные качества. Крылов, как гениальный человек, инстинктивно угадал эстетические законы басни»².

Даже этих немногочисленных примеров достаточно, чтобы убедиться в очевидной поспешности вывода о признании В. Г. Белинским сатиры как четвертого литературного рода.

Итак, нецелесообразно, на наш взгляд, говорить о сатире как явлении по природе своей однозначном с эпосом, лирикой, драмой, отыскивать в ней «родовые» признаки. Теоретическое осмысление ее как широкого художественного явления возможно лишь в направлении учета своеобразного угла зрения писателя, выражающегося в эстетической форме «энергического отрицания» всего того, что не соответствует его идеалам. Попытки определить сатиру как четвертый род литературы вслед за эпосом, лирикой, драмой лишены, на наш взгляд, твердых теоретических оснований.

«Роды поэзии,—писал в 1845 году В. Г. Белинский,—всегда были и всегда будут одни и те же: они изменяются, соотносятся с национальностями и эпохами, в духе и направлении, но не в форме»³.

Писатель, оскорбляющий зло, заслуживает наименования сатирика и будучи лириком, и будучи эпиком, и будучи драматическим художником, и будучи тем, и другим, и третьим вместе. Как художественное выражение негодования и протеста передовых общественных сил против несправедливого устройства бытия, как эстетическую реализацию диалектического закона об отрицании всего изживающего себя, мешающего поступательному движению общества вперед, понимали сатиру революционные демократы. Отсюда и преимущественное толкование ими сатиры как содержательной категории искусства, а не формальной⁴. Как бы ни изощрялся писатель, какую бы форму ни давал своему произведению, он не будет сатириком, если будет вращаться «в кругу общественных курьезов и странностей»⁵, утверждал М. Е. Салтыков-Щедрин.

Подводя итог всему сказанному, мы вправе, думается, сказать, что сатира не есть отдельная художественная форма в значении рода; она—особое художественное мировоззрение, которое вырабатывает оригинальные средства воплощения; приемы и принципы, реализуя широкие возможности всеобъемлющих эпических, лирических и драматических структур.

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 576.

² Там же.

³ Там же.

⁴ См., например, у Чернышевского: «Нельзя сказать..., чтобы Гоголь не имел предшественников в том направлении содержания, которое называют сатирическим» (Полн. собр. соч., т. III, стр. 18).

⁵ Н. Щедрин. (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 296.

А. Г. ТАТАРИНЦЕВ

РАДИЩЕВ В ОЦЕНКЕ ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ

Усилиями советских исследователей восстановлена общая картина исторически непрерывного и плодотворного воздействия творчества Радищева на развитие революционно-освободительных идей. Однако и сегодня в ней еще много неясного, предположительного, спорного. Отчасти это объясняется отсутствием или недостаточностью необходимых материалов, хотя некоторые из них оказываются просто забытыми.

В таком положении незаслуженно обойденного оказался А. П. Шапов, которого по справедливости следует отнести к идейным наследникам первого русского революционера. Одна из причин та, что в существующих библиографических обзорах оказались не учтены многие статьи историка-демократа, в которых упоминается имя Радищева. В известной работе Р. Мандельштам¹ указаны лишь три—четыре таких статьи.

¹ Р. Мандельштам. Библиография Радищева, «Вестник Коммунистической академии», 1925, кн. XIII—XV. Выпали из поля зрения составительницы библиографии следующие статьи Шапова, в которых упоминается имя Радищева: «Новая Эра. На рубеже двух тысячелетий» (напечатана в прибавлении к № 5 «Современного слова», Пб., 1863, 7 янв.); «Исторические условия интеллектуального развития в России» («Дело», 1868, № 1, 3, 4). «Естественно-психологические условия умственного и социального развития русского народа» («Отечественные записки», 1870, №№ 3—4, 12), «Мировоззрение, мысль, труд и женщина в истории русского общества» («Отечественные записки», 1873, №№ 2—3, 8; 1874, № 5—6). Кроме того, не учтено большинство высказываний о Радищеве ученика Шапова—С. С. Шашкова в статьях: «Движение русской общественной мысли в начале XIX века» («Дело», 1871, № 5, стр. 111); «Пушкин и Лермонтов» («Дело», 1873, № 7, стр. 333); «Н. И. Новиков и его журнальная деятельность» («Дело», 1876, № 1, стр. 130, № 2, стр. 192). «Литературный труд в России» («Дело», 1876, № 8, стр. 13—14); рецензия на «Историю русской литературы» П. Полевого («Дело», 1872, № 2, стр. 2, 19). Уже после появления в печати библиографии Р. Мандельштам были опубликованы вновь обнаруженные материалы Шапова и среди них такие, в которых упоминается Радищев: «Общий взгляд на историю Великоорусского народа» и «Научные заметки» в «Известиях О-ва археол. ист. и этногр. при Казанск. у-те, т. XXXIII, вып. 2—3, стр. 1—58; вып. 4, стр. 83—84; «Письмо к кн. <П. П.> Вяземскому (другое название—«О русском дворянстве»)», «Литературное наследство», т. 67, стр. 657—666».

тогда как их насчитывается более десятка. Обращение Щапова к Радищеву вызывалось глубокими раздумьями над судьбами родины, народа, над вопросом о своем собственном предназначении и пути.

Радищев и его книга оказались впоследствии тем пробным камнем, который помогал вскрыть общественно-политические взгляды, классовую принадлежность того или иного деятеля, выступавшего на поприще политики и науки, литературы и искусства. Такого рода критерий по отношению к Щапову тем более приложим, что в определении его общественно-политических позиций наблюдаются самые разноречивые мнения¹. Ученик славянофилов и славянофил сам (Н. Я. Аристов, Г. А. Лучинский, Н. Н. Козьмин)², «крестьянский историк» (М. Н. Покровский)³ «представитель просветительства 60-х гг.» (М. Гудошников, Н. Рубинштейн, П. Кабанов)⁴, революционер-демократ (М. В. Нечкина, Е. Чернышев)⁵—таков диапазон характеристик Щапова.

Раскрытие мотивов и характера обращения историка-демократа к Радищеву, осмысления им идей «Путешествия» позволит уточнить некоторые существенные моменты мировоззрения Щапова.

1

В 1850—1860 гг. имя Радищева вначале изредка, а затем все чаще и чаще появляется, несмотря на цензурный запрет «Путешествия», в печати.

Знакомясь с этими материалами, нетрудно заметить, как резко разделялись писавшие о нем на два непримиримо враждебных лагеря. Закоренелые крепостники и апологеты самодержавия характеризовали книгу и личность Радищева

¹ Библиография трудов А. П. Щапова и работ о нем наиболее полно представлена в книгах: Н. Я. Аристов. Афанасий Прокофьевич Щапов. СПб., 1883, стр. 54 и А. П. Щапов. Собрание сочинений. Дополнительный том. Иркутск, 1937, стр. 363—379.

² Н. Я. Аристов. Указ. соч.; Г. А. Лучинский. Афанасий Прокофьевич Щапов. Биографический очерк. В кн.: А. П. Щапов, соч. в 3-х томах, т. III, СПб., 1908, стр. 104; Н. Н. Козьмин. Очерки прошлого и настоящего Сибири. СПб., 1910, стр. 104.

³ М. Н. Покровский, А. П. Щапов. — «Историк-марксист», 1927, № 3, стр. 9.

⁴ М. Гудошников. Вступительная статья в кн.: А. П. Щапов. Собр. соч. Дополнительный том, Иркутск, 1937, стр. XXXI; Н. Рубинштейн. Русская историография, М., 1941, стр. 388; П. Кабанов. Общественно-политические и исторические взгляды А. П. Щапова. Госполитиздат, М., 1954.

⁵ История СССР, т. II, под ред. М. В. Нечкиной, М., 1949, стр. 449; М. В. Нечкина, А. П. Щапов в годы революционной ситуации. — «Литературное наследство», т. 67, стр. 646; Е. Чернышев. Революционный демократ-историк А. П. Щапов. — «Вопросы истории», 1951, № 8, стр. 39.

неприкрыто враждебно¹. Сама эта ненависть к революционеру свидетельствовала о силе и жизненности его идей.

Большая опасность заключалась в фальсификаторских устремлениях либеральных критиков, пытавшихся выхолостить революционное содержание творчества Радищева. «Реформист», «идеалист», «друг государства», одушевленный мыслью оказать «услугу самому правительству» — в таком умиротворенно-реабилитированном виде предстал «бунтовщик хуже Пугачева» в ряде статей и рецензий 1860-х годов.

С четкими и прямо противоположными оценками идейного наследия Радищева выступают в этот период революционеры-демократы. К 1855 году относится высказывание Н. Г. Чернышевского, напомнившего о Радищеве как об одном из «очень замечательных по благородству и энергии характера» писателей 18 века, достойных «почетного места» в истории России, в истории литературы². В статье «О новых условиях сельского быта» (1858) Чернышевский, характеризуя крепостное право как «величайшую несправедливость», берет себе в качестве соавтора Радищева, перефразируя известную его формулу «Крестьянин в законе мертв...» следующим образом: «Сословие, составляющее почти половину населения в Европейской России, стояло (по выражению, не нам принадлежащему) *вне закона*»³. И далее Чернышевский говорит о неправосудии, при котором кучка вельмож властвовала «над сотнями и тысячами людей, руководствуясь единственно произволом», о грубом попрании ими законов и т. п. Нельзя не связать это место статьи с книгой Радищева; оговорка о заимствовании «выражения» — свидетельство внимательного чтения ее⁴. Статья Чернышевского появилась

¹ Известен экземпляр рукописной копии «Путешествия» конца XVIII века, на котором (почерком XIX века, вероятнее всего, как раз середины 50-х годов) один из мракобесов вне себя от гнева написал: «Ты не блаженнамеренный автор, а бунтовщик, петля для слабоумных. Мало, что великая Екатерина тебя сослала, просто следовало повесить, как самого вредного пресмыкающегося». — «Книга и пролетарская революция», 1939, № 78, стр. 181 — 182. Реакционер М. Н. Лонгинов пытался представить Радищева сумасшедшим (М. Н. Лонгинов. Радищев и его книга «Путешествие из Петербурга в Москву». — «Русский архив», 1868, стлб. 1811—1817).

² Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II, стр. 611—612. В дальнейшем все ссылки даются на это издание.

³ Там же, т. V, стр. 66. (Курсив наш—А. Т.).

⁴ Чернышевский пользовался, вероятно, одним из списков «Путешествия». О распространенности их в революционно-демократической среде говорят многочисленные факты. В январской книжке «Современника» за 1858 год был опубликован критический отзыв Добролюбова на статью А. С. Пушкина «Александр Радищев»; нет сомнения в том, что предварительно критик обращался к тексту книги Радищева. Может быть, это был тот же самый список ее, который был у Чернышевского (вполне определенно можно сказать, что Чернышевский и Добролюбов пользовались не лондонским изданием «Путешествия»: оно вышло в апреле 1858 года. Про-

в февральской книжке «Современника»; в январском же номере, как известно, была опубликована рецензия Добролюбова на седьмой дополнительный том сочинений А. С. Пушкина, в которой было развернуто изложено революционно-демократическое понимание и столкновение идейного облика, личности Радищева и его книги. Добролюбов недвусмысленно показал, что он разделяет мотивы, которые двигали Радищевым. Критик убеждал, что цель автора «Путешествия» была благородной и высокой. Чернышевский читал, конечно, эту рецензию Добролюбова. Более того: именно тогда, в конце 1857—начале 1858 г., оба они перечитывают «Путешествие из Петербурга в Москву», первый—с целью характеристики современного состояния крестьянского вопроса, второй—для «ответа» Пушкину.

В 1860 году Чернышевский, вновь обращая внимание современников на «благородные и честные натуры» 1760—1780 гг., дает исключительно проникновенную характеристику личности Радищева, подчеркнув, что только «Новиков, Радищев, еще быть может несколько человек имели тогда то, что называется ныне убеждением, образом мыслей»¹.

Немногие, но исключительно емкие и значимые по своей внутренней аргументированности и смысловому богатству высказывания Чернышевского и Добролюбова определили и более поздние оценки книги Радищева представителями демократического лагеря, в частности, А. П. Шаповым и М. А. Антоновичем².

Шапов еще со студенческих лет с глубокой заинтересованностью следил за выступлением революционеров-демократов в журнале «Современник». В 1859 году здесь была опубликована первая статья Антоновича «Что иногда открывает-

фессор истории Казанского университета А. П. Шапов еще в 1860—1861 г. хорошо был знаком с книгой Радищева и даже цитировал ее; в 1868 году рецензент из «Отечественных записок» ссылаясь на такие примеры из книги Радищева, которых читатель не мог найти в препарированном издании Шигина. В 1871 году в предисловии к восьмому тому «Истории восемнадцатого столетия и девятнадцатого» Ф. К. Шлоссера М. А. Антонович процитировал 30 отрывков из «Путешествия»; сопоставление показывает, что источником цитирования было не герценовское (1858) и не шигинское (1868) издания.

¹ Н. Г. Чернышевский. Т. VII, стр. 484. Позиция редакции «Современника» по отношению к Радищеву выделяла этот журнал среди массы других. Не случайно П. А. Радищев в декабре 1858 г. обратился в «Современник», предлагая биографию А. Н. Радищева для опубликования (см.: Н. Г. Чернышевский, т. VII, стр. 719, 720 и «Литературное наследство», тт. 51—52, стр. 477). Немалую роль в этом сыграли как статья Добролюбова в защиту Радищева, так и выступления самого Чернышевского.

² Интересно отметить, что Антонович хорошо понял, вслед за Добролюбовым (статья «Русская сатира в век Екатерины») сатирический характер книги и эзоповский язык Радищева. Так, например, цитируя главу «Спасская Полесь», он подчеркивает, что Радищев делает самые пикант-

ся в либеральных фразах?», написанная (с помощью Добролюбова) по поводу книги Шапова «Русский раскол старообрядчества». По свидетельству современников, Шапов признавал, что этот отзыв «сильно отрезвил его», дал «сильный толчок» к работам «основательным» и принес «большую пользу некоторыми замечаниями»¹.

В том же 1859 году, в связи с опубликованием статьи Шапова «Голос древней русской церкви об улучшении быта несвободных людей», выступил Добролюбов с рецензией², в которой опровергал тезис автора о том, что будто бы церковь всегда выступала в защиту крепостных. Революционер-демократ писал, что доказательства Шапова были «слабы и основаны более на случайности, чем на истории»³, что от «общих мест» церковных проповедей, на которые ссылается историк, до «горячей заботливости об улучшении быта несвободных людей» еще «слишком далеко», что если и звучали среди духовенства голоса в защиту бедных людей, то их скорее надо признать исключением, но никак не голосом всего духовенства⁴, что, наконец, факт владения самим духовенством крестьянами опровергает концепцию Шапова. Шапов, видимо, задетый этими отзывами, продолжительное время считал направление «Современника» «искусственным»⁵; ему казалось, что редакторы не понимали его, причисляя к партии славянофилов; потому он, сообщает биограф Шапова Н. Я. Аристов, «делал попытки выяснить свой исторический взгляд, имея в виду компанию «Современника». Он доказывал, что ищет в прошлом не образцы для подражания, а живые и свободные начала, чего искал сам народ с детства»⁶. Журнал, как полагал Шапов, недостаточно отчетливо представлял дух народных обычаев, верований, инстинктов; необходимы исследования, которые углубляются «собственно в исторические проявления духа народного, в свободное историческое самовыражение, самоустройство, саморазвитие, в

ные сопоставления и приводит жестокие контрасты между положениями «Наказа» с действительными фактами. Центральную часть этой главы («Сон») Антонович истолковывает не как «фантазию» автора, а как картину, имевшую «историческое значение». Он выделяет при цитировании слова из книги Радищева: «Удержи свое милосердие... не возвещай нам его великолепным слогом, если не хочешь его исполнить», угадав в них ироническое обращение Радищева в адрес Екатерины II по поводу ее «Наказа». — Ф. К. Шлоссер. История восемнадцатого столетия и девятнадцатого. Изд. 2-е, 1871, стр. XXXVI—XXXVII. Подробнее об оценке М. А. Антоновичем книги Радищева см. сообщение А. И. Дуденковой в сб.: «А. Н. Радищев. Статьи и материалы». Изд. ЛГУ, 1950, стр. 293—297.

¹ Н. Я. Аристов Афанасий Прокофьевич Шапов, Спб, 1883, стр. 46.

² «Современник», 1859, кн. V, отд. «Новые книги», стр. 258—264.

³ Н. А. Добролюбов. ПСС в 6 томах, ГИХЛ, т. IV, стр. 318.

⁴ Там же, стр. 319.

⁵ Н. Я. Аристов. Афанасий Прокофьевич Шапов, Спб, 1883, стр. 89.

⁶ Там же, стр. 89—90.

свободную жизнедеятельность самого народа»¹. Народ же, по определению Щапова, это «многочисленный общественный организм, это—природа, живущая и развивающаяся по своим естественным законам, в связи и взаимодействии с внешней физической природой»².

В то время как Чернышевский в своих исторических воззрениях приближался к историческому материализму (движущей силой истории является способ производства, экономические условия), Щапов идеалистически исходил из некоей идеи субстанционального духа народа.

Личность и судьба Щапова самым непосредственным образом интересовали Чернышевского. Он явился инициатором сбора подписей под письмом в защиту Щапова, когда последнему угрожала ссылка в монастырь за речь на панихиде по жертвам Безднинского восстания 14 апреля 1861 года³. Весной 1862 г. состоялась встреча Чернышевского со Щаповым. Аристов пишет о ней: «Целый вечер продолжался спор между ними о коренных воззрениях на русскую историческую жизнь и современное состояние народов; Щапов узнал только при прощании, с кем он вел долгий и дельный спор— и однако ни на шаг не уступил из своих выработанных убеждений»⁴.

Можно предполагать, что на отношение Щапова к кругу «Современника» известное влияние оказали обнаружившиеся и особенно обострившиеся в 1859 году разногласия между редакциями «Современника» и «Колокола». Щапов с большим уважением относился к Герцену. В свою очередь Герцен, в противоположность рецензентам из «Современника», с восторгом приветствовал появление в печати статей Щапова. И не случайно исключительно смелую, бунтарскую статью «О русском дворянстве» Щапов предназначал для «Колокола»⁵.

Встреча с Чернышевским (а она была, очевидно, не единственной)⁶ не прошла бесследно. Некоторое время спустя Щапов пересматривает свои взгляды, начинает все более последовательно и определенно выступать против славянофильства. Он теперь уже ведет речь не только о «свободном внутреннем саморазвитии народа», но и о необходимости «обла-

¹ Н. Я. Аристов. Афанасий Прокофьевич Щапов, 1883, стр. 89—90.

² Там же, стр. 90.

³ Н. Г. Чернышевский, т. XIV, стр. 447.

⁴ Н. Я. Аристов. Афанасий Прокофьевич Щапов, Спб., 1883, стр. 91.

⁵ Об истории написания статьи см.: Н. Я. Аристов, указ. соч., стр. 74—75, 97 и статью М. В. Нечкиной в «Литературном наследстве», т. 67, стр. 645—656.

⁶ С. А. Рейсер в числе посетителей квартиры Чернышевского в доме Есауловой называет и А. П. Щапова. — Н. Г. Чернышевский в Петербурге. — В. кн.: «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы», вып. 1, Саратов, 1958, стр. 408—409.

гораживания его европейским просвещением». В 1863 году Щапов пишет для «Современника» статью «Разум и наука в былые времена» (не была пропущена цензурой)¹, а позднее, в 1864 году, ведет переписку с Н. А. Благовещенским о возможностях опубликования в «Современнике» статьи «Естественные и умственные условия землевладельческих поселений в России»². Сближению с кругом «Современника», сближению трудному, шедшему через преодоление ошибочных представлений о направлении журнала, через пересмотр собственных концепций способствовал арест А. П. Щапова после известного его выступления на панихиде по жертвам Безднинского восстания. Щапов шел навстречу Чернышевскому и в своих политических взглядах. В его лице мы имеем представителя той части русской демократической интеллигенции в науке, которая, порой жестоко ошибаясь, но не утрачивая ни внутренних связей с народом, ни страстной веры в его будущее, неуклонно приближалась к революционно-демократическому пониманию современных общественно-политических вопросов. И если все же Щапов в конце жизни не стоял целиком на революционно-демократических позициях, то это объясняется в значительной степени тем, что он лишен был возможности опереться в своих исканиях на поддержку идеологов революционного демократизма. В 1864 году в ссылку был отправлен и Чернышевский, и сам Щапов.

2

Щапов обладал обширными и глубокими познаниями в области русской литературы и постоянно обращался к ней: и тогда, когда читал лекции в Казанском университете, и при написании своих статей³. Он находил в ней живой материал для осмысления волновавших его вопросов. Часто, как бы убеждая читателя опытом истории, иллюстрировал свои идеи ссылками на Новикова, Радищева, декабристов, Герцена.

12 ноября 1860 года во вступительной лекции для студен-

¹ А. П. Щапов в Иркутске, Иркутск, 1938, стр. 71.

² Будучи в ссылке, Щапов читает «Капитал» Маркса, цитирует его, называя автора «глубокомысленнейшим современным исследователем политико-экономической истории» (А. П. Щапов. Сочинения, т. III, Спб., 1908, стр. 571); там же познакомился с известным революционером Г. А. Лопатиным. В последние годы жизни Щапов часто печатался в «Отечественных записках», где к тому времени уже работал М. Е. Салтыков-Щедрин. Об уважении, которое питал Щапов к этому журналу, говорит и такой факт: завещая свои бумаги и книги Сибирскому отделению географического общества, Щапов указывает, что эти бумаги могут быть рассмотрены каким-нибудь «честным человеком», по поручению редакции «Отечественных записок» («Отечественные записки», 1876, № 9, стр. 120).

³ Отправляясь в ссылку, Щапов «нарочно отобрал из библиотеки Крашенинникова редкие русские издания XVIII—XX стол., наполнил ими чемодан» и увез с собой (Н. Я. Аристов. Афанасий Прокофьевич Щапов. Спб., 1883, стр. 109).

тов Казанского университета, излагая свою концепцию исторического развития России, свою теорию «областности»¹, Шапов говорил о развитии принципов гуманности, человечности, сознания прав личности, из которых «простекали все прогрессивные стремления и действия лучших людей второй половины 18 века»². Применительно к своей теории «областности» Шапов и рассматривает выступления Радищева. Развивая тезис о том, что благоустройство целого государства зависит от благоустройства областей, от развития частного и народного благосостояния, Шапов ссылается на «просвещеннейших людей» второй половины 18 века, которые стали все лучше и лучше осознавать «расстройства» и важнейшие недостатки «общественного народного быта» в правлении Екатерины II. Особенно яркая и содержательная характеристика дается «Путешествию из Петербурга в Москву»: «А то либеральное ироническое изображение адской России под игом тирании, какое получаем в сочинении Радищева, напоминает нам думы Рылеева, идеи Искандера, «Мертвые души» России Гоголя. Отсюда, вследствие этого духа недовольства, отрицания в просвещенных, благонамеренных, умеренно-либеральных государственных людях видим энергическое требование реформы сверху, от правительства».

Радищев трактуется как автор свободолобивой книги, идеей которой было требование реформ. Шапов обращает внимание именно на те главы книги Радищева, которые могли быть истолкованы как подтверждение и обоснование его собственных воззрений. «Известно, — говорил Шапов, — каким чувством народности, чувством вражды к крепостному праву, требованием освобождения крестьян проникнуто знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, известен и проект его об освобождении крестьян»³. Такое толкование Радищева в 1860 году, в период напряженного ожидания крестьянской реформы, на которую Шапов возлагал немало надежд, вполне объяснима. Но даже и в таком осмыслении открыто сочувственное обращение к книге Радищева перед студенческой аудиторией было необыкновенно смелым актом. Движимый горячим желанием пробудить у слушателей чувство сопереживания, он совершенно в духе Радищева говорит о таланте и могуществе народа. Перечислением имен Радищева, Рылеева, Герцена Шапов словно устанавливал свою собственную родословную. Он мечтает о том «святом времени,

¹ Об исторических взглядах Шапова и его теории «областности» см. статьи Б. П. Козьмина: А. П. Шапов — историк-демократ. — В кн. «Очерки истории исторической науки в СССР», т. II, изд. АН СССР, М., 1960, стр. 66—81 и в кн.: «Историография истории СССР», Соцэкгиз, М., 1961, стр. 258—264.

² Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, т. XXXIII, вып. 2—3, стр. 84.

³ Там же, стр. 35.

когда Пугачев, двигатель масс народных <в котором, по Щапову, проявился «противогосударственный демократический, областной дух масс» — А. Т.> подаст руку декабристу Муравьеву или Пестелю <выразителям «конституционного духа». — А. Т.> или Петрашевскому, когда тяжелые грустные звуки и думы песни народной сольются с думами Рыльева»¹.

Имя Радищева, как правило, соседствует у Щапова с Емельяном Пугачевым или декабристами, Герценом или разночинцами — непосредственными предшественниками революционных демократов.

Составляя проспект курса «Программы истории русского народа», Щапов намечал последовательно и всесторонне освещать в лекциях по второй половине 18 века крестьянские волнения (бунты, восстание Пугачева), общественное недовольство законодательством Екатерины II и деятельность Радищева². Таким образом, историк-демократ неизменно отводит, вопреки официальной науке, существенное место в истории общественного развития Радищеву. В «Научных заметках» он прямо связывает имя Радищева с декабристами, с деятельностью тайных обществ: «Со времени Радищева начинается окончательная подготовка декабря, начинается народно-образовательная деятельность тайных обществ»³. По своему умонастроению в этот период Щапов был словно проникнут чувством родства с этими тираноборцами и народными заступниками: передовое студенчество ставило его самого в «ряд героев декабря»⁴.

После выступления на панихиде по жертвам Бездны Щапов под конвоем жандармов отправляется в Петербург. Под сильнейшим впечатлением от книги Радищева, он ведет путевые записки (получившие позже название «Путешествие от Казани до Петербурга»), которые потом прятал в тюремном матраце. Н. Я. Аристов сообщает интересные сведения о дальнейшей судьбе их. После освобождения, разбирая на квартире бумаги, Щапов «быстро выхватил свои скомканные «Путевые заметки» и стал читать мне из них выдержки, а потом засел за их обработку и видимо желал из них воспроизвести новое «Путешествие» в роде Радищева. Вышло у него несколько писем, которые отослал он в Казань на память о себе своим бывшим слушателям, студентам университета, между которыми распространялись они в небольшом количестве экземпляров»⁵.

Щапов свою судьбу соотносит с судьбой Радищева, вос-

¹ Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, т. XXXIII, вып. 4, стр. 84.

² Н. Я. Аристов. Афанасий Прокофьевич Щапов. Спб., 1883, стр. 150 — 154.

³ Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, т. XXXIII, вып. 4, стр. 84.

⁴ Там же, стр. 97.

⁵ Там же, стр. 70.

хищаясь смелостью и благородством его протеста и все более активно протестуя сам. Он прекрасно осознает общественно-революционное значение книги Радищева. Не случайно выдержанные в радищевском духе дорожные заметки он скрывает от жандармов и пересылает в Казань тайно. Показательно и то, что в своем письме на имя Александра II из тюрьмы Шапов вполне сознательно не упоминает имени Радищева, хотя по логике его рассуждений такая ссылка прямо напрашивалась. Он пишет, в частности, что учреждение положения об управлении губерний в 1775 году не внесло «в провинции надлежащего народного довольства и благоустройства, как видно из жалоб самой императрицы и записок Щербатова и Державина»¹. Обращает на себя внимание, что в лекции 12 ноября 1860 года в аналогичном контексте рядом с именем Щербатова стоял Радищев, а не Державин и не Екатерина II. Опускание имени Радищева в письме к царю свидетельствует о том, что Шапов отлично сознавал опасность даже простого упоминания о нем. Историк-демократ никогда не отождествлял позиций Щербатова и Радищева. В противном случае ссылка и на Щербатова в данном письме была бы невозможна. Однако нельзя не видеть увлечений Шапова реформистскими идеями и планами. Он озабочен тем, чтобы избежать новой «Бездны»; а добиться этого можно, осуществив идею «областности», для чего обязательны два условия: распространение образования в народе и создание новых форм местного и губернского управления — областных советов. Иллюзии, которые питал Шапов в освободительные намерения царя², сближали его с Герценом.

В восьмой книге «Русского вестника» за 1861 год было опубликовано стихотворение Вяземского «Заметка», в котором автор пытался дискредитировать революционно-демократическое понимание свободы, утверждая некую «возвышенную свободу», присущую лишь людям с высокими личными достоинствами. Позиция Вяземского, аристократически-высокомерная и презрительная по отношению к простому народу и его защитникам из демократических кругов, выпады против революционеров-демократов не могли не задеть Шапова. Он решил выступить с письменным протестом. Так появилось «Письмо к кн. (П. П.) Вяземскому». М. В. Нечкина верно заметила, что в нем дается «радищевски-страстное разоблаче-

¹ Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те, т. XXXIII, в 4, стр. 92.

² Нет никаких оснований считать, что Шапов «умышленно» изображает себя реформистом (Е. Чернышев. Революционный демократ-историк А. П. Шапов. — «Вопросы истории», 1951, № 8). Как показывают факты, он не только был им сам, но и в Радищеве видел своего единомышленника по этому вопросу.

ние дворян»¹. Действительно, его пафос—в защите демократического понимания свободы. Гневные интонации и бичующие памфлетные характеристики напоминают единственное по силе в этом роде обличение — радищевское «Путешествие». «Эта физиологически изгибающая, генеративная, родовая, геральдическая, столбовая каста, — пишет Шапов о «вельможестве», — налегла на земство, особенно на сельский народ всей тяжестью землевладельческого самовластия и грабежа, насилия и буквального поедания крестьянской крови!!» Эти строки перекликаются с известными радищевскими словами в адрес помещиков: «ненасытец кровей», «кровопиец», «пиявицы ненасытные»². Шапов использует эту же терминологию, называя дворян «тиранами-кровопийцами»³.

Письмо написано 8 октября 1861 года, спустя всего около двух месяцев после освобождения из-под ареста. И есть все основания полагать, что оно имеет самое близкое отношение к вышеупомянутым заметкам «Путешествие от Казани до Петербурга», над которыми Шапов работал как раз в это же время. Не случайно в «Письме к (П. П.) Вяземскому» мы встречаем полное большого смысла заявление автора о том, что он идет по стопам Радищева: «Я, не гонясь за благами дворянства, а гонясь за голытьбой за казацкою Стенек Разинных, — я сказал свободное слово об общинно-демократической свободе и за то пострадал...»⁴. «Историческая народная дума, — пишет далее Шапов, — мучит меня, заставляет бежать от всяких подлых интересов и искательств... заставляет гнаться не за благами великокняжеского дома, а за голытьбой казацкой... бежать не дальше могилы, не к Искандеру, а в могилу Радищевых, Рылеевых»⁵.

Имя Радищева упоминается неоднократно, и всякий раз Шапов берет его в высшие судьи, черпает у него не только идеи, но и отдельные выражения, образы и даже цитирует книгу: «Бурлак, идущий в кабак, скажу словами Радищева, и назад возвращающийся обогранный кровью — многое может решить доселе гадательное в русской истории»⁶.

Это письмо, предназначавшееся для Герцена, должно было сыграть немаловажную роль в пропаганде революционно-демократического понимания свободы, в разъяснении классово-враждебных позиций дворянства и крестьянства. Однако опубликованием его Шапов, по справедливому предположению М. В. Нечкиной, был бы поставлен под удар, и ему не уда-

¹ А. П. Шапов в годы революционной ситуации, «Литературное наследство», т. 67, стр. 645.

² А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. 1, изд. АН СССР, М.-Л., 1938, стр. 315, 326, 378.

³ «Литературное наследство», т. 67, стр. 665.

⁴ Там же, стр. 657.

⁵ Там же, стр. 664—665.

⁶ Там же.

лось бы избежать самой жестокой расправы. Поэтому письмо не увидело света в свое время¹. Известно, что Шапов знакомил своих друзей с его содержанием².

К 1862 году относится очерк «Гражданская грусть». Развивая здесь мысль о том, что «сердца истинных русских граждан» уже давно обуревают поток сомнений, грустных чувств, рождаемых сознанием невозможности основать «людские социальные отношения» на началах «естественности и гражданственности», Шапов иллюстрирует ее на примере Радищева: «Радищев весь был проникнут этой грустью. Его «Путешествие из Петербурга в Москву» исчерпывает всю глубину возвышенной, сильно наболевшей, накопившей в сердце гражданской грусти. Читая его, весь погружаешься в глубокую грусть. Сердечно-симпатичные, глубокомысленные думы Радищева обнимают почти все главные грустные стороны русской гражданственности, и то потоком слез и тихой сердечной грусти поливают горе народное, то раздражаются сильным воплем, раздирающей досадой самой мстительной иронии. И глубокая, сильная гражданская туга, боль, грусть сердца выливается во всей полноте и силе в думах и идеях Радищева. Внутренний мотив этой грусти — глубокое отрицание деспотических и варварских принципов существовавшего тогда общественного склада и социально-демократическое настроение идей Радищева. Гражданская грусть и сгубила сердечного Радищева...»³. И далее излюбленным радищевским приемом контрастного противопоставления дается картина современного состояния социально-политических отношений, исключительно проникновенно описываются горе и страдание простого народа и беспощадно разоблачается «фальшивый аристократизм» дворянства. Выделение в облике Радищева, в содержании его книги мотивов грусти, трагической безысходности сближает Шапова с Герценом. В предисловии к «Путешествию» и в других статьях Герцен стремился эмоционально воздействовать на читателя напоминанием о скорбной участи этой книги и ее автора. Радищев—«печальный часовой» у дверей в будущее»⁴.

¹ «Литературное наследство», т. 67, стр. 656.

² На допросе по «Делу 32-х» в декабре 1862 г. Шапов отрицал факт отправки статьи в Лондон так же, как и знакомство с В. И. Кельсиевым. О том, что письмо было отправлено, говорили в своих показаниях обвиняемые по тому же «Делу 32-х» А. И. Нечипуренко и Владимирова; с Кельсиевым встреча у Шапова могла состояться в марте 1862 г., когда тот приезжал в Москву и искал человека, «хорошо знакомого с расколом», которому можно было бы предложить «помочь в распространении его изданий и доставлении новых сведений». См.: М. Лемке. Очерки освободительного движения шестидесятых годов. Спб., стр. 18, 68, 101, 111, 122, 156, а также: Н. Я. Аристов, Афанасий Прокофьевич Шапов. Спб., 1883, стр. 33, 75, 97.

³ Н. Я. Аристов. Афанасий Прокофьевич Шапов, Спб., 1863, стр. 159.

⁴ А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 т., изд. АН СССР, - М., 1954, т. XIII, стр. 272.

«страдалец»¹, а книга его—«серьезная, печальная, исполненная скорби»².

Рассмотренные высказывания Щапова о Радищеве извлечены из работ, по цензурным условиям не появившихся в печати; и все же знакомство определенных кругов (семинаристы и студенты, демократическая интеллигенция Казани, Перми, Москвы, Петербурга) с этими статьями и содержащимися в них оценками Радищева, его книги способствовали распространению революционных идей. Знаменательно, что неоднократно, настойчивое обращение к Радищеву и его книге падает на очень короткий, менее чем в 1,5 года, отрезок времени (с ноября 1860 по март 1862), то есть на период приобщения Щапова к активной общественно-политической деятельности. Радищев сопутствовал Щапову, способствовал политическому его прозрению и утверждению как демократа в сложной обстановке борьбы эпохи революционной ситуации.

7 января 1863 года в прибавлении к «Современному слову» была напечатана статья Щапова «Новая эра. На рубеже двух тысячелетий». Она примечательна прежде всего как свидетельство сближения позиций Щапова и Чернышевского. Автор статьи корректирует «областническую» концепцию, открыто признает важность и необходимость для России усвоения передовой общественной мысли Запада. «Свой самобытный исторический гений, — пишет Щапов, — народ русский должен оживотворить, просветить мощною мыслью Запада, посвятить общеевропейской, общечеловеческой идее...»³. И вот в этой уточненной концепции исторического процесса, переключаясь с мнениями Чернышевского, находит свое место и Радищев. Щапов называет его «учеником Запада», предтечей, вместе с Ломоносовым и Белинским, «нашего лучшего европейского меньшинства».

В исторических воззрениях Щапова по-прежнему высоко ставится идея «свободного общинного всенародного устройства»⁴, выражается вера в «преобразовательный смысл и великую будущность нашего сельского мира и мирского схода»⁵. Потому-то и близок Щапову «западник» Радищев, что он, по словам историка, «с светлой европейской идеей 90-х годов болел о состоянии простых чернорабочих, крепостных и податных масс народа»⁶. В противоположность либералам с их восхвалениями правительственных мер по крестьянскому вопро-

¹ А. Г. Герцен. Собр. соч. в 30 т., изд. АН СССР, М., 1954, т. XIII, стр. 280.

² Там же, т. XVIII, стр. 178.

³ А. П. Щапов. Собр. соч. Дополнительный том. Иркутск 1937, стр. 4.

⁴ Там же, стр. 47.

⁵ Там же, стр. 7—8.

⁶ Там же, стр. 15.

су Щапов далек от мысли считать реформу 1861 года осуществлением идей Радищева. Всюду, где упоминается имя Радищева, контекст щаповской статьи говорит о вере в «будущность освобождения крестьян, в будущность самого освобожденного крестьянина»¹, в «новый будущий социальный порядок вещей...»².

3

После разобранных случаев вплоть до 1868 года ни в одной из статей Щапова имя Радищева не упоминается. В жизни самого Щапова за это время произошли серьезные изменения: вначале он был уволен из министерства, продолжая оставаться под строгим полицейским надзором, а в 1864 году сослан в Иркутск. Свое положение ссыльного, будучи оторван от передовой общественно-политической жизни, он переносил очень тяжело. Но это не изменило его убеждений. Перед ним стоял живой пример Чернышевского. Щапов глубоко задумывался над вопросом о преемственности передовых идей, об условиях умственного прогресса общества. Обращение в этом случае к Радищеву было неизбежным. Утверждая в одной из статей 1868 года, что при существующих в России общественно-политических и экономических условиях «индивидуальные остановки или уклонения в направлении и движении мысли... что-нибудь да составляют»³ в развитии общества, Щапов упоминает и Радищева: «Явись, например, в тяжелые времена несколько кающихся Радищевых, с ядом в руках или в коверкающем мозг страхе полиции отказывающихся от своих идей, которые они дотоле развивали и возвещали, явись несколько патологических Гоголей с перепиской с друзьями и т. п., — вот вам и в умственном движении общества, в развитии идей несколько попятных шагов или, по крайней мере, остановок: ибо во-первых, с падением или умственным расстройством подобных талантов, возвещанные ими вначале истинные, прогрессивные идеи не развиваются ими дальше, следовательно, задерживаются, лишаясь наиболее могучих интеллектуальных сил для своего развития, а, во-вторых, противоположные, реактивные, или болезненные и покаянные идеи подобных патологических талантов, при общей слабости русских мозгов, при незрелости и несамостоятельности юной русской мысли, на большинство русского общества могут действовать и действуют убедительно, воспитательно»⁴. И далее, Щапов детализирует эту свою мысль на примере «погрузившихся в мистицизм» Новикова и Гоголя.

¹ А. П. Щапов. Собр. соч. Дополнительный том, Иркутск., 1937, стр. 8.

² Там же, стр. 15 (выделено нами — А. Т.)

³ А. П. Щапов. Исторические условия интеллектуального развития в России, Соч., т. II, Спб, 1906, стр. 608.

⁴ Там же, стр. 608.

На первый взгляд, эти неожиданные определения—«кающийся», «отказывающийся» — применительно к Радищеву, даже в их обобщающем значении, кажутся просто необъяснимыми. Мы знаем, что Щапов истолковывал его вначале как реформиста; позже все более и более настойчиво выдвигает и подчеркивает в авторе «Путешествия» бунтарские мотивы, черты непокорства, протеста и олицетворение скорби, страданий русского народа, но никогда не высказывал и тени сомнений в твердости убеждений Радищева. Что же изменилось?

В 1865 году в «Чтениях в Обществе Истории и древностей российских» (кн. III) были опубликованы некоторые документы следственного дела Радищева. Неполнота их и фальсификаторские комментарии к ним либеральной критики способствовали распространению легенды о раскаянии Радищева. Дань ей, возможно, отдал и Щапов. И все же нельзя отождествлять позицию Щапова с точкой зрения либерально-буржуазных критиков. Последние ухватились за документы следственного дела для доказательства тезиса о лояльности Радищева в отношении к правительству. Щапов же рассуждал иначе: если допустить, что такие великие мыслители, как Радищев, вдруг изменяют своим идеям, то результатом этого может быть понятное движение всего общества. Это—своеобразное утверждение величия Радищева путем умозрительного допущения явно невозможного. В сознании Щапова Радищев не укладывался раскаявшимся. В статье «Естественно-психологические условия умственного и социального развития русского народа» (1870) автор «Путешествия» назван, вместе с Ломоносовым, Фонвизиным, Грановским, Белинским, человеком, возглавившим поколение последовательных «передовых интеллектуальных умов»¹. В другой статье того же года («Социально-педагогические условия умственного развития русского народа») имя Радищева опять-таки упоминается в контексте, прямо противоположном по смыслу с определением «кающийся». Говоря о значении трудов французских просветителей 18 века для развития «теоретической мыслительности русской молодежи», Щапов ссылается на «Житие Федора Васильевича Ушакова», характеризуя автора сочинения представителем «новых идей разума и нового самостоятельного мышления». «И в литературе,—пишет Щапов,—как весьма немногие, подобно Радищеву, отбросивши всякую память старины, умственным глазом заглядывали вперед, пророчествовали о будущей судьбе,—в то время многие писатели, как кн. Щербатов, Болотов, Сумароков и другие, вследствие преобладания исторической традиции памяти над но-

¹ А. П. Щапов. Соч., т. III, Спб, 1906, стр. 40.

выми идеями разума и новым, самостоятельным мышлением, со староверовским сочувствием вспоминали о «чистоте нравов и чистоте сердец—допетровской деревни»¹.

Как видим, в обстановке, когда усилилась либеральная фальсификация Радищева, Шапов высказывал мысль о том, что среди немногих деятелей своего времени он безбоязненно отметал отжившие представления, «умственным глазом» зрел «сквозь целое столетие» «будущую судьбу» и звал к борьбе, к революционному переустройству общества.

Последняя статья Шапова, в которой он много раз ссылается на Радищева, цитирует его книгу² — «Мировоззрение, мысль, труд и женщина в истории русского общества» («Отечественные записки», 1873, №№ 3, 8, 1874, №№ 5, 6).

Этот труд обнаруживает многогранность подходов историка при осмыслении произведений Радищева. Шапов ссылается на него, излагая историю развития в послепетровское время науки о строении человеческого организма. Проблемы отношения чувственного и рационального историк освещает, опираясь на радищевский тезис о преобладании в человеке добрых начал и о способности его к совершенствованию и т. д.³ Наиболее интересны те из упоминаний, в которых содержатся оценочно-определяющие характеристики Радищева. Говоря о трех «формах литературы»: сентиментально-критической, сентиментально-оптимистической и эстетико-романтической, Шапов утверждает, что первая форма проявилась «наиболее прогрессивно... в социалистических или публицистических рассуждениях Радищева» (со второй он отождествляет Карамзина, а с третьей — Жуковского и Пушкина)⁴.

Шапову органически присуще стремление рассматривать литературу в связи с условиями, ее породившими; для него литература 18 века — не только источник изучения истории общественно-политических, эстетических, этических воззрений века прошлого, но и арена борьбы, на которой сталкиваются различные тенденции развития. Он безоговорочно стоял на стороне того направления, которое воплотилось «наиболее прогрессивно» в произведениях Радищева. Несмотря на терминологическую неопределенность предложенной схемы, Шапов, вслед за революционерами-демократами, единственно живой струей русской литературы считает сатирическое («сентиментально-критическое») направление.

¹ А. П. Шапов. Исторические условия интеллектуального развития в России. Соч., т. III, Спб., 1906, стр. 307.

² Шапов цитирует «Путешествие» по изданию Шигина.

³ А. П. Шапов. Сочинения, т. III, Спб., 1908, стр. 465, 466, 469, 517, 528, 530.

⁴ Там же, стр. 517.

Таким образом, отношение Щапова к Радищеву, к его книге проявилось по-разному. В предреформенный период его более занимают исторические взгляды Радищева (отношение к государству, к реформам). Периоду активизации общественно-политической деятельности Щапова в начале 60-х годов соответствует живой интерес к личности автора «Путешествия», к мотивам его революционного выступления. Переключение же внимания на естественно-научные и эстетические взгляды Радищева в конце 60-х начале 70-х гг. отражало ту настроенность, в которой находился Щапов после крушения революционной ситуации.

Популяризация Радищева Щаповым — содержательная страница в истории развития революционных идей в России. И по содержанию, и по форме его слово в защиту Радищева обращено к демократической аудитории. Это — тайно распространяемое письмо-памфлет на русское дворянство, путевые заметки в духе Радищева, экспромтом сочиненная и произнесенная на панихиде речь с провозглашением требования демократической конституции. Революционно-демократическая идеология Чернышевских не могла бы существовать, не опираясь на сочувственно настроенные широкие демократические круги, которые складывались в результате деятельности Щаповых.

II. МАТЕРИАЛЫ
И СООБЩЕНИЯ

Е. Г. БУШКАНЕЦ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ—УЧИТЕЛЬ САРАТОВСКОЙ ГИМНАЗИИ

(По новым архивным материалам)

Педагогическая деятельность Н. Г. Чернышевского в Саратове в 1851—1853 годах давно уже привлекала внимание исследователей. Еще в дореволюционные годы Ф. В. Духовников, А. А. Лебедев и Е. А. Ляцкий опубликовали ценные материалы о Чернышевском-учителе. В советские годы особо значительный вклад в разработку этой темы внесли С. Н. Чернов, Ш. И. Ганелин и Н. М. Чернышевская¹.

К сожалению, исследователи не имели возможности сопоставить письма и дневниковые записи Н. Г. Чернышевского 1851—1853 годов и более поздние воспоминания его сослуживцев и учеников с официальными документами Саратовской гимназии: архив гимназии за эти годы не сохранился². Эта утрата частично может быть компенсирована изучением архивных материалов канцелярии Казанского учебного округа, в состав которого входили учебные заведения Нижегородской, Казанской, Симбирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Астраханской, Оренбургской, Пермской и Вятской губерний. В начале 1950-х годов работниками Центрального гос. архива Татарской АССР были предоставлены Саратовскому музею Н. Г. Чернышевского копии с формулярного

¹ С. Н. Чернов. Чернышевский — учитель Саратовской гимназии. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Неизданные тексты, статьи, материалы, воспоминания. Сборник. Саратов, 1926, стр. 170 — 176; Ш. И. Ганелин. Педагогические идеи Чернышевского и его деятельность в Саратовской гимназии. — В кн.: Н. Г. Чернышевский (1889 — 1939). Труды научной сессии к пятидесятилетию со дня смерти. Ленинградский гос. университет, 1941, стр. 107—141; Н. М. Чернышевская. Н. Г. Чернышевский в Саратове. Саратов, 1952.

² Несколько случайно дошедших до нас документов были опубликованы в статье С. Н. Чернова.

списка Н. Г. Чернышевского за 1852 год¹. Между тем, по нашим подсчетам, в фонде попечителя учебного округа находится около пятидесяти документов, имеющих прямое отношение к Чернышевскому, — в большинстве случаев с упоминанием его имени, иногда — с его подписями. Рассмотрение этих документов с точки зрения того нового, чем они обогащают наши представления о педагогической работе Чернышевского в Саратове, и является задачей настоящей статьи².

Разумеется, годовые отчеты, ежемесячные рапорты, переписка по административным и хозяйственным вопросам — все это расширяет наши представления о Саратовской гимназии начала 1850-х годов. Особый интерес представляют сведения о составе саратовских гимназистов. В начале 1850 — 1851 учебного года из 228 учащихся только 92 (т. е. 40%) показаны в ведомости детьми дворян. Видимо, здесь имелись в виду сыновья помещиков, владевших землей и крепостными: какая-то часть дворян была и среди детей чиновников; сюда же должны быть отнесены и офицерские дети. Всего дворян по происхождению в гимназии было не более половины. Из 74 детей чиновников большая часть росла, по-видимому, в разноточинной среде. Кроме того, в гимназии учились дети купцов (16), мещан (9), канцеляристов (4), отпущенников (2) и по одному — врача, подканцеляриста, цехового, унтер-офицера; были и дети духовных лиц (протоиерея, священника, пастора, дьякона — всего семь гимназистов). Характерно что процент разночинцев из года в год увеличивался: в седьмом классе, например, дворяне составляли 63, в пятом — 47 и в третьем — только 35 процентов. В этом факте, как в капле воды, отразилось то новое, что начинало в те годы властно вторгаться в русскую жизнь (№ 6392, лл. 229 и след.). Общее количество учащихся колебалось в гимназии в пределах 220—260 человек. В младших классах насчитывалось обычно по 45—50 детей, в пятом — шестом их число уменьшалось до 25—30, в седьмом, выпускном, классе числилось, как правило, не более 20, а иногда и 12—15 гимназистов.

Уровень подготовки гимназистов по русской словесности к моменту вступления Н. Г. Чернышевского в должность старшего учителя был крайне низок: директор и инспектор гимназии по итогам годовых экзаменов в июне 1851 года докладывали попечителю учебного округа: «Из русской словесности успехи учеников средственные, чему причиной от-

¹ См.: Н. М. Чернышевская. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского, М., 1953, стр. 74.

² Центр. гос. архив Татарской АССР, фонд 92 Канцелярии попечителя Казанского учебного округа. Ссылки даются в дальнейшем непосредственно в тексте статьи — указывается номер дела и листы. Следует иметь в виду, что дела 6302—6464 относятся к 1850 году, 6465—6625 — к 1851 году, 6626—6759 — к 1852 году, 6760—6882 — к 1853 году.

сутствие действительного учителя, а исправлявший его должность учитель греческого языка Синайский не выполнил все требования программы и все бывшие указания и наставления о современном преподавании словесности. Г. Синайский следовал методу бывшего учителя словесности Волкова, который считал достаточным, чтобы познания учеников ограничивались одним только изучением учебников риторики и пниктики. Для прочтения «Риторики» Кошанского не много нужно времени и труда; следовательно, г. преподавателю предстоит полная возможность познакомить учащихся с образцами лучших наших писателей и критическим разбором их творений. Из русской литературы успехи учеников седьмого класса средственны. Руководство, употребляемое при преподавании, кратко, и с биографиями и образцами творений писателей, упоминаемых в истории литературы, ученики не знакомы» (№ 6485, л. 151—151 об.). В справедливости этого вывода Чернышевский мог убедиться, лично участвуя в экзаменах за 1850—1851 учебный год¹.

Нормально занятия Н. Г. Чернышевский повел с начала следующего, 1851—1852, учебного года. Занятия в гимназии начинались в 9 часов утра и продолжались до половины третьего. Каждый урок продолжался по часу с четвертью, первые два урока следовали один за другим, затем полагался получасовой перерыв, после которого шли еще два урока. Николай Гаврилович имел по три урока в неделю в четвертом, пятом, шестом и седьмом классах (в четвертом и пятом классах один урок из трех отводился на изучение славянского языка)—всего 12 уроков в неделю².

Общее распределение курса русской словесности предусматривало в четвертом классе—«Синтаксис и слогосложение. Выучивание легких стихов, правописание и объяснение периодов. Практические упражнения в слоге»; в пятом—«Начала логики и риторики; упражнения в логическом и риторическом разборе периодов и кратких сочинений. Переводы с иностранных языков на русский»; в шестом—«Окончание логики и риторики. Извлечения из лучших писателей; упраж-

¹ Сохранилась подписанная всеми экзаменаторами, в том числе и Чернышевским, «Таблица окончательных испытаний учеников VII класса Саратовской губернской гимназии в июне 1851 г.» (№ 6492, л. 50). Аттестаты для выпускников изготовлялись в Казани типографским способом в двух экземплярах, затем подписывались директором и учителями и второй экземпляр возвращался в канцелярию округа. Вместе с «Таблицей» в деле находятся вторые экземпляры аттестатов и свидетельств об окончании Саратовской гимназии; шесть из них подписаны Чернышевским (№ 6492, лл. 145, 146, 147, 148, 150—151—первый выписан на имя П. Бахметьева, послужившего, как известно, прототипом для образа Рахметова в «Что делать?»).

² Ввиду отсутствия преподавателя французского языка предмет распределялся между другими преподавателями; в 1851—1852 учебном году Чернышевский вел уроки французского языка в пятом классе.

нение в переводах и легких сочинениях»; наконец, в седьмом классе следовали—«Пиитика с критическим разбором образцов. Упражнения в сочинениях и переводах. Краткая история российской словесности» (№ 6648, л. 92). При этом преподаватель должен был руководствоваться подробной программой. Самую программу обнаружить пока не удалось. В связи с ее поисками выяснилось, однако, что автором программы был... Чернышевский. В изданном типографским способом отчете по округу за 1851 год указано, что учитель Саратовской гимназии Чернышевский «составил программу для преподавания в гимназиях словесности, которая и введена в руководство по округу»¹.

Программа, видимо, была составлена Чернышевским осенью 1851 года. Никаких документов об утверждении программы и введении ее в руководство по округу в современных описях не значится—не исключено, что они были уничтожены чиновниками канцелярии попечителя после ареста Чернышевского. Не исключено, что и программа может быть все-таки обнаружена в делах какой-нибудь из гимназий округа; находка этого документа представила бы несомненный научный интерес.

В обязанность преподавателя словесности входило проведение ежемесячных «литературных бесед». Выделенный преподавателем гимназист зачитывал заранее подготовленное сочинение на заданную тему, затем полагалось проводить по теме сочинения «диспут». В большинстве гимназий «литературные беседы» проводились формально, преподаватели относились к ним, как к дополнительной обременительной нагрузке, схоластические темы и навязчивая проповедь официальной идеологии самодержавия и крепостничества не могли вызвать к ним интереса и со стороны гимназистов. Так было до весны 1851 года и в Саратовской гимназии. Лишь с приходом нового учителя, как вспоминает один из учеников, беседы «приняли живой, осмысленный характер, лишенный парений и коленопреклонения»².

Сочинения, зачитываемые на беседах, с записью «диспута» полагалось немедленно высылать для контроля в канцелярию округа. Оттуда они препровождались на кафедру словесности университета для рецензирования. Обязанности рецензента в начале 1850-х годов выполнял адъюнкт Н. Н. Булич. По получении его заключений канцелярия округа возвращала сочинения гимназиям обратно с сопроводительным письмом, в котором излагались замечания рецензента. Пухлые тома с перепиской по этому поводу в настоящее время

¹ Отчет по Казанскому учебному округу за 1851 год. Казань, 1852, стр. 40 — 41.

² М. Воронцов. Болото. СПб., 1870, стр. 123.

являются источником для изучения «литературных бесед» в Саратовской гимназии¹.

Как видно из переписки, в 1851—1852 учебном году Чернышевский уделил особое внимание изучению гимназистами творчества Пушкина—основоположника новой русской литературы. Ему было посвящено три доклада. Глубокий интерес Чернышевского в эти годы к народному творчеству отразился в постановке специального доклада о русской народной песне. Один из докладов был посвящен «введению действительности в роман и в историю»— в этом нельзя не видеть стремления Чернышевского довести до сознания учащихся свои взгляды на эстетические отношения искусства к действительности. В формулировке «и историю» сказалось стремление Чернышевского развивать историческое мышление воспитанников; не случайно на «литературных беседах» ставились доклады и на чисто исторические темы: «Состояние южной Франции до Альбийских войн, Альбийские войны и их влияние на политическое и гражданское состояние», «Взгляд на политическую и в особенности нравственную жизнь норманнов до появления у них христианской веры» и др. (№ 6590, л. 96, 100—100 об., 143—143 об., № 6730, лл. 44, 97—97 об., 113). Обратим внимание, что определение «политическое» Чернышевский смело вводил даже в официальную формулировку тем,—он стремился и на уроках, и во время «бесед», и при встречах с учениками в гимназической библиотеке воспитывать прежде всего будущих политических борцов.

Именно из этих намерений исходил Чернышевский, когда принял на себя исполнение обязанностей библиотекаря гимназии. В конце февраля 1852 г. в канцелярию округа поступило ходатайство из Саратовской гимназии о разрешении приобретения 27 книг для ученической и 45 для фундаментальной библиотек. В этом нельзя не видеть первого шага Чернышевского на посту библиотекаря. Чернышевский, видимо, решил проявить необходимую осторожность, и в обоих списках фигурируют такие книги (главным образом, по истории, географии и языковедению), которые не должны были вызвать возражений у начальства. Однако 18 марта 1852 года последовало распоряжение—приобретение книг «приостановить впредь до особых по сему предмету соображений» (№ 6710, л. 6).

В научной литературе не был до сих пор известен факт выступления Н. Г. Чернышевского с публичной речью на акте, посвященном окончанию 1851—1852 учебного года. Между тем в делах канцелярии округа сохранилась интересная переписка по этому вопросу.

¹ Из 25 рецензий Н. Н. Булича только девять были известны в печати по их изложению в официальных отношениях попечителя округа на имя директора гимназии, опубликованном С. Н. Черновым в 1926 г.

Как видно из документов, текст речи Чернышевского «О собирании образов народного языка и словесности» был отправлен в Казань директором Саратовской гимназии 17 мая 1852 года. В Казани он был «препровожден на рассмотрение» ординарному профессору К. К. Фойгту. Фойгт в своем заключении отметил, что у него «нет существенных препятствий к произнесению речи в торжественном собрании гимназии». Однако его совершенно смутил ее «поучительный тон». Этот тон «в скромном наставнике гимназии кажется мне,—писал Фойгт,—неуместным при обращении к лицам, частью по своему положению в обществе, частью и по своему образованию стоящим отнюдь не ниже автора». С точки зрения того впечатления, которое речь должна была произвести на публику,—а торжественные гимназические акты обычно удостаивало своим посещением все губернское начальство,—недовольство Фойгта вызвала и «крайняя сухость изложения». По последней причине речь «едва ли возбудит участие» привилегированной публики к избранному предмету. Что касается самого содержания речи, то ординарный профессор университета не мог сказать по существу ничего определенного. 5 июня 1852 г. текст речи был возвращен директору Саратовской гимназии. В сопроводительном письме указывалось, что «если нет возможности речь заменить другою», то предложить Чернышевскому, чтобы «он воспользовался замечаниями профессора г. Фойгта», и «исправив, произнести ее на торжественном акте гимназии» (№ 6729, лл. 39, 78). Насколько «скромный наставник» воспользовался присланными замечаниями, неизвестно. Директор гимназии вскоре докладывал попечителю, что «на акте гимназии 24 июня были прочитаны старшим учителем словесности Чернышевским речь «О собирании памятников народной словесности» и старшим учителем Ефремовым отчет о состоянии дирекции за минувший год, и ученики читали речи и собственные свои сочинения на русском, греческом, французском, латинском и немецком языках» (№ 6647, л. 78).

По результатам экзаменов в июне 1852 года нельзя было не признать огромных заслуг Чернышевского. «Можно сказать,—докладывали попечителю округа директор и инспектор гимназии,—что учитель Чернышевский употреблял все усилия исправить прежние недостатки, ответы учеников были очень отчетливы, видно было, что они с полным знанием говорили обо всем им переданном, из ответов учеников также видно было, что ученый преподаватель преимущественно старался научить их уметь отличить лучшее в сочинениях и, знакомя с классическими образцами словесных произведений во всех родах поэзии и прозы, сделать им известным писателя не по имени только, а по самим его произведениям и, тем по возможности образовавши его вкус, пробудить собственное стремление к изучению всего лучшего и самоусовершен-

ствованию». Далее в документе отмечалось, что в славянском языке познания учеников «не так удовлетворительны»; это объяснилось тем, что Чернышевский именно на преподавание словесности «употребил большую часть усердия и деятельности», но выражалась надежда, что он «при хороших его познаниях в славянском языке исправит и этот недостаток»¹. Интересен их вывод: «Учитель Чернышевский при знании своего предмета и усердии умел внушить ученикам любовь и уважение к предмету; ему можно сделать замечание за то, что много доверяет внимательностью учеников в классах и прилежанию вне их» (№ 6647, лл. 80—80 об.). В целом следует отметить, что начальство гимназии правильно определило некоторые особенности педагогической системы Чернышевского, но не видело главного—стремления молодого учителя разбудить политическую мысль у гимназистов, воспитать их в духе непримиримой ненависти к самодержавно-крепостническому строю; это произошло в следующем 1852—1853 учебном году.

В 1852—1853 году Чернышевский имел, как и в предыдущем, двенадцать уроков в неделю по русской словесности и славянскому языку; дополнительно на него было возложено три урока по французскому языку на этот раз в выпускном—седьмом классе². С начала года постепенно меняется отношение к Чернышевскому со стороны директора гимназии Мейера—ему становится все более ясна политическая «неблагонадежность» учителя русской словесности. Многочисленные

¹ Показательна и заключительная часть документа: «Все преподаватели Саратовской гимназии занимались усердно, постоянно посещали классы; но, судя по успехам учеников, надо определить преимущество по способностям, усердию и сведениям старшим учителям: Чернышевскому, Бауэру, Ефимову и законоучителю Смирнову» (№ 6647, л. 93 об.). Те же четыре фамилии отмечены заслуживающими внимания начальства «по усердию своему, способностям и успехам преподавания» в отчете гимназии за 1852 год. (№ 6628, л. 412).

² Сохранилось расписание учебных занятий в Саратовской гимназии на 1852—1853 учебный год (№ 6648, л. 22). Чернышевский, как видно из этого расписания, давал уроки следующим образом:

Понедельник	Вторник	Среда
1. Словесность—4 кл.		1. Слав. яз.—5 кл.
2. Словесность—6 кл.	Уроков нет	2. Словесность—6 кл.
3. Словесность—7 кл.		3. Словесность—4 кл.
4. —		4. Словесность—7 кл.
Четверг	Пятница	Суббота
1. —	1. Слав. яз.—4 кл.	1. —
2. —	2. Словесность—5 кл.	2. Словесность—7 кл.
3. Словесность—6 кл.	3. Фр. язык—7 кл.	3. Фр. язык—7 кл.
4. Фр. язык —7 кл.	4. —	4. Словесность—5 кл.

столкновения Чернышевского с Мейером засвидетельствованы в воспоминаниях современников.

Из округа в гимназию поступают заключения на материалы «литературных бесед» последних месяцев предыдущего учебного года. На основании отзывов Н. Булича начальство выражает неудовольствие, что саратовские гимназисты выступают на «беседах» как «диалектики», «щеголяют претензиями на насмешливость и оригинальность». «Литературные беседы» в Саратовской гимназии,—делает выводы попечитель—«с их всеобъемлющим содержанием становятся поэтому очень подозрительны» (№ 6730, л. 97—97 об.). Новые «беседы», проведенные уже в 1852—1853 учебном году, вызывают замечание: «Можно подумать, что это конференция Академии, а не литературные беседы в Саратовской гимназии, если б не уверенность, что... это просто детская, но вредная игра». «Она,—говорится в другом отзыве,—чрезвычайно вредна для гимназического развития» (№ 6370, лл. 152—152 об.)¹.

В марте 1853 г. состоялось объяснение Чернышевского с директором гимназии Мейером. Мейер при этом, как видно из дневниковой записи Чернышевского от 14 марта, подчеркивал свое «благородство», отказавшись «доносить» на Чернышевского в Казань. Думается, что наряду с некоторыми другими причинами здесь сыграло решающую роль отсутствие у Мейера конкретных улик против Чернышевского. Это предположение, как будет показано дальше, отчасти подтверждается документальными свидетельствами. В свою очередь и Чернышевский, видимо, не скрывал от Мейера своего намерения покинуть Саратов. В последние месяцы, ссылаясь на «болезнь», Чернышевский все реже бывает в гимназии, а в апреле 1853 г., не дождавись конца учебного года, уезжает в Петербург. До октября он числится в «дозволенном отпуску», затем некоторое время «неявившимся из отпуска», только в феврале 1854 г. после длительной переписки в очередном рапорте Саратовской гимназии было отмечено «перемещение» «старшего учителя русской словесности Саратовской гимназии, состоявшего в IX классе Николая Чернышевского учителем во 2-ой кадетский корпус (24 января)» (№ 6891, лл. 44—45,91)².

¹ Общий обзор отзывов Н. Н. Булича на все двадцать пять сочинений, представленных в округ за период службы Н. Г. Чернышевского в Саратове, дан нами в статье «Новые материалы о педагогической деятельности Н. Г. Чернышевского в Саратовской гимназии». — «Новая Волга» (альманах). Кн. 21. Саратов, 1954, стр. 142—151.

² Чернышевским было пропущено «по болезни» в октябре — 3, в ноябре — 3, в декабре — 4, в январе — 22, в феврале — 12, в марте — 10 занятий (№ 6633, лл. 383, 414, 462; № 6766, лл. 23, 67, 101). Формулярный список на Чернышевского за 1853 год был представлен — т. о. в делах канце-

В донесении директора и инспектора гимназии об итогах экзаменов весной 1853 г. о Чернышевском сказано довольно уклончиво: «Успехи в русской словесности гораздо ниже, нежели в прошлом году; на это имели влияние долгая болезнь учителя Чернышевского и его отъезд... Болезнь Чернышевского имела большое влияние и на практические занятия учеников, и на скудность наших литературных бесед, и на несвоевременное их исполнение» (№ 6779, л. 91). Таким образом, все было свалено на «болезнь» Чернышевского. В душе же Мейер, конечно, торжествовал, что избавился от крамольного учителя.

Имя Чернышевского всплыло в делах Казанского учебного округа через десять лет—в 1863 году. Революционные выступления саратовских гимназистов, активизация в Саратове высланных туда участников студенческих «беспорядков» в Казанском университете, появление в городе и уездах антиправительственных прокламаций не на шутку перепугали начальство. В Саратов с чрезвычайными полномочиями выехал помощник попечителя округа Шестаков. В своей докладной записке он анализировал причины «безотрадного состояния гимназии». «История внутренней жизни саратовской гимназии,—писал он,—шла особенным исключительным путем: в ней следовали один за другим несколько преподавателей, которые своими внушениями сеяли недобрые семена, павшие при местных благоприятствующих вредному направлению условиях не на бесплодную почву». Текст докладной в несколько сокращенном виде был переслан в Петербург. В 1941 году Ш. И. Ганелин извлек этот текст из дел Министерства народного просвещения и в цитатах опубликовал в своей статье о педагогической деятельности Чернышевского. Между тем оригинал донесения Шестакова, находящийся в Казани, полнее и включает ряд мест, отсутствующих в отправленном в Петербург тексте. Цитируя далее докладную, мы выделили фразу, которой нет в публикации Ганелина: «Первым таким вредным сеятелем,—продолжал Шестаков,—был г. Чернышевский... Г. Чернышевский два года был учителем словесности в Саратовской гимназии и в своих уроках проводил зловредные идеи, так что бывший тогда директором г. Мейер, хотя и не мог уличить и поймать его на месте преступления, потому что при входе директора урок г. Чернышевского принимал настоящее направление, вынужден был, однако, предложить г. Чернышевскому оставить гимназию». Вслед за Чернышевским («имевшим, по общим от-

лярии округа имеется три формулярных списка на Чернышевского: за 1851, 1852 и 1853 годы (№ 6480, л. 1549; № 6626, л. 415, № 6761, л. 421). Отметим, попутно, что годовой оклад Чернышевского, как видно из формулярных списков составлял 319 р. 15 коп., в 1851 г. при назначении он, кроме того, получил «третнее жалование не в зачет» и «прогоны на две лошади».

зывают, особенное влияние на учеников Саратовской гимназии») Шестаков называл имена Белова, Варенцова и Милового (№ 8342, л. 36)¹. Таким образом, Шестаков подтвердил, что не «благородство» Мейера, а отсутствие у него конкретных улик спасло весной 1853 г. Чернышевского. Не следует забывать, что в условиях политической реакции последних лет николаевского царствования дело для Чернышевского действительно пахло каторгой.

В свете сказанного следует отдать должное саратовским гимназистам, ни один из которых не выдал Чернышевского. Лучшие из них горячо восприняли идею революционного ниспровержения самодержавно-крепостнического строя, активно участвовали в борьбе за свободу и счастье народа. Они гордились тем, что слова Николая Гавриловича запали им в душу, ласково называли его своим просветителем (в письме из Казани от 5 апреля 1856 года в Горы-Горетский сельскохозяйственный институт к окончившему Саратовскую гимназию П. И. Зайцевскому; текст письма известен по перлюстрационной копии в делах Третьего отделения)².

Воспитанники Саратовской гимназии — ученики Чернышевского Иван Умнов, Петр Песков, Самуил Кляус и другие активно участвовали в нелегальных кружках в Казанском университете. В Москве саратовцы Юрий Мосолов, Виктор Попов, Захарий Овчинников, Алексей Мокшанцев создали подпольную организацию, известную в литературе под условным названием «библиотеки казанских студентов» (они поступили после гимназии в Казанский университет, а оттуда уж перешли в Московский, где к ним примкнули уехавшие из Саратова прямо в Москву Николай Шатиллов, Николай Волосатов и др.). В Петербурге Николай Турчанинов, поступивший в Главный педагогический институт и вошедший в антиправительственный кружок, руководимый Н. А. Добролюбовым, Василий Михалевский, учившийся в университете и поддерживавший связи с революционным подпольем, Михаил Воронов, слушавший лекции в Медико-хирургической академии и выполнявший обязанности литературного секретаря Чернышевского, свято сохраняли верность идеям своего просветителя.

Участие учеников Чернышевского по гимназии в освободительном движении до недавнего времени почти не поддавалось

¹ Ср.: Ш. И. Ганелин. Педагогические идеи Н. Г. Чернышевского и его деятельность в Саратовской гимназии. — Н. Г. Чернышевский (1839—1939). Л., 1941, стр. 139.

² Есть основания предполагать, что автором письма был Виктор Попов; вместе с Порфирием Зайцевским они учились у Чернышевского в пятом и шестом классах и окончили Саратовскую гимназию в июне 1854 г. Именно это письмо и явилось поводом для запроса министра просвещения А. С. Норова от 30 мая 1856 г. о «направлении духа и поведения» Н. Г. Чернышевского (опубликовано П. А. Бугаенко во втором сборнике «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы», стр. 293).

научному изучению—мы не располагали списком саратовских гимназистов 1851—1853 годов, не знали, кто именно учился у Чернышевского в Саратове. К сожалению, и дела канцелярии учебного округа за 1851—1853 годы не дают возможности установить полный списочный состав саратовских гимназистов. Только в материалах о посещении в 1854 году саратовских учебных заведений помощником попечителя округа имеется представленный ему список гимназистов по состоянию к началу 1854—1855 учебного года (№ 6956, лл. 141—247 об.). Привлечение других документов — материалов о выпускных экзаменах, переписки по поводу «литературных бесед» и т. д. — позволяет дополнить данные списка сведениями относительно окончивших гимназию в 1852 и 1853 годах. Таким образом, устанавливается, хотя и с некоторой неполнотой, состав учащихся Саратовской гимназии в годы службы там Чернышевского и открывается возможность проследить место каждого из них в общественно-политической борьбе шестидесятых годов¹. Не вызывает сомнения, что лучшие из учеников Чернышевского после окончания гимназии продолжали поддерживать связи с любимым учителем — в некоторых случаях эти связи удается проследить документально. И если на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов, в условиях сложившейся в стране революционной ситуации, они активно действовали в подполье, возглавляли антиправительственные кружки, участвовали в формировании первого общероссийского тайного общества «Земля и Воля», то это значит, что новые перспективы открываются и для изучения строго законспирированных революционных связей самого Николая Гавриловича Чернышевского. Но это уже тема особого сообщения.

¹ Некоторые аспекты этой темы намечены нами в работе «Ученики Чернышевского по гимназии в освободительном движении второй половины 1850-х — начала 1860-х годов». Казань, 1963.

М. НОЛЬМАН, М. ПЬЯНЫХ

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПО ДЕЛУ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

«Особый журнал Комитета министров, 15 сентября 1870 года, по внесенному, по высочайшему повелению, главным начальником III отделения Собственной вашего императорского величества канцелярии всеподданнейшему докладу относительно порядка обращения ссыльно-каторжного Николая Чернышевского в разряд ссыльно-поселенцев»¹ — в этом журнале под № 410 изложен, почти в дословной цитации, обстоятельнейший доклад генерал-адъютанта графа Шувалова, «разделявшего» опасения генерал-губернатора Корсакова, что с освобождением Чернышевского от тюремного заключения нельзя будет отвечать за его целость».

За этой констатирующей частью следовало само решение, санкционированное Александром II 25 сентября и на следующий же день переданное «к исполнению» шефу жандармов «выпиской» за № 1023.

Доклад Шувалова от 4 сентября и «выписка» от 26 сентября 1870 года, обнаруженные в архивах III отделения, послужили основой многочисленных публикаций, начатых статьями М. Н. Чернышевского² и Ю. Стеклова³.

Однако, не обращаясь непосредственно к «Особому журналу Комитета министров», исследователи «процесса Чернышевского» не могли иметь ясного, полного и точного представления о характере и обстоятельствах составления названного документа. К тому же недоставало подготовительных черновых материалов.

В этой связи значительный интерес представляет сохранившийся в Государственном архиве Костромской области, в фонде Н. Н. Селифонтова, бывшего в 1870 году помощником управляющего делами канцелярии Комитета министров,

¹ ЦГИАЛ, ф. 4263, оп. 1, 1870, д. 3480, лл. 102—113 об.

² «Былое», № 25, 1924, стр. 41.

³ «Каторга и ссылка», 1927, № 4 (33), стр. 192—193.

«Проект резолюции по делу Чернышевского»¹, несомненно, предшествовавший окончательному решению.

«Проект» писарски перебелен на трех листах плотной бумаги большого формата, с обеих сторон, с полями для исправлений и вставок, которые и внесены рукой Н. Н. Селифонтова, кому, по всей вероятности, принадлежит и составление «Проекта»².

Между поступлением «дела», т. е. «всеподданнейшего доклада» шефа жандармов Шувалова, и слушанием его в комитете министров прошла неделя. Не боясь ошибки, можно предположить, что подготовленный за это время министерской канцелярией «Проект резолюции по делу Чернышевского» был представлен царю на предварительный просмотр, и его цензуре следует приписать как исключение из текста ряда «излишне» откровенных формулировок, так и усиление некоторых акцентов. Последнее прежде всего касалось мотива предотвращения побега, служившего дополнительным предлогом для готовящегося «высочайшего» беззакония.

Выражение: «отвечать за *целость*» дважды заменено формулой «отвечать за побег». Исправлена фраза: «Необходимость полного, не допускающего ни малейших опасений *обеспечения всего Государства от появления в среде его* или за границу, такого преступника, как Чернышевский». Вместо зачеркнутых слов (выделенных нами курсивом) вписано: «охранения молодежи от увлечений, легко могущих зародиться с появлением в их среде...». Вместо первоначального: «не следует останавливаться *ни* перед *какими* необходимыми для сего материальными жертвами» оставлено просто: «перед необходимыми». О сокращении срока каторжных работ Чернышевского, согласно манифесту 1866 года, сначала было сказано: *еще на 1/4, т. е. на 1 год и 9 месяцев*», что затем исправлено: «еще на 1 год и 9 месяцев, а всего на 8 лет и 9 месяцев».

Далее (мы отмечаем лишь важнейшие разночтения) исключено выражение: «за истечением всех сроков» и произведена еще одна замена. В мотивировке «всех возможных мер к обращению сего преступника, согласно закону, в разряд ссыльно-поселенцев в такой местности и при таких условиях, *чтобы Государство было вполне обеспечено не только от его побега, но и от всяких покушений к его освобождению со стороны других лиц*», вместо зачеркнутого появилось другое придаточное: «которые бы устраняли всякие опасения на счет его

¹ Государственный архив Костромской области, ф. 655, оп. 2, ед. хр. 450. К «Проекту» приложена на листах 4—6 выписка из «Свода законов», т. XIV. «Устав о ссыльных», 1857, статьи 809 (п. 1), 808, 826.

² До поступления в канцелярию комитета министров Н. Н. Селифонтов — питомец Императорского училища правоведения — был крупным чиновником министерства юстиции.

побега, и тем самым сделали бы невозможными новые со стороны молодежи увлечения к его освобождению».

Отредактированный таким образом «Проект резолюции по делу Чернышевского» с тремя незначительными добавлениями вошел в «Особый журнал Комитета министров» в качестве окончательного решения, предопределившего ссылку Н. Г. Чернышевского в Вилуйский острог с тем, чтобы «сгноить его там», как писала старшему сыну 12 февраля 1874 года О. С. Чернышевская, проницательно разгадавшая беспримерный по жестокости и цинизму замысел самодержавного деспота и его раболепно исполнительных министров.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

(Новые документы)

Вступительная статья В. П. Барцевича. Публикация
В. Н. Курганова

I

«О пребывании Чернышевского в Алексеевском рavelине,—отмечает М. Н. Гернет в «Истории царской тюрьмы»,—сохранилось так мало сведений, что приходится дорожить каждой, хотя бы небольшой, дошедшей до нас об этом вестью»¹.

С учетом этого обстоятельства и нужно подходить к оценке тех материалов, которые найдены В. Н. Кургановым. Они представляют официальные «отношения» по делу Чернышевского—рапорты, описи, запросы и т. д. Их авторы—комендант Петропавловской крепости генерал-лейтенант А. Ф. Сорокин, управляющий III отделением генерал-майор А. Л. Потапов, С.-Петербургский Военный губернатор генерал А. А. Суворов, председатель следственной комиссии по делам политических преступников князь А. Ф. Голицын, смотритель Алексеевского рavelина майор А. П. Удом, крепостной доктор, священник и другие.

Есть и записки или объяснения, написанные рукой самого Чернышевского.

В документах отражен период со дня ареста Чернышевского до отправки его в ссылку, т. е. почти два года.

Администрация крепости по отношению к «государственному преступнику» Чернышевскому несла исключительно охранные функции. Она не имела права самостоятельно решать те вопросы, которые постоянно возникали в связи с его заключением. Начальство крепости осведомляло обо всем происходившем III отделение, но само ничего не пред-

¹ М. Н. Гернет. История царской тюрьмы. Т. 2, М., 1961, стр. 271 — 272.

принимало. Однако именно администрация крепости была непосредственным информатором о жизни заключенных. В этом смысле ее «отношения» можно назвать *перводокументами*—именно они лежали в начале цепочки донесений, многие из которых достигали кабинета царя. Рапорты о Чернышевском, возникнув в стенах крепости, как бы перекачивались по инстанциям, сохраняя, как правило, не только свое существо, но и свою форму, приобретая только новое «обрамление»—появлялся новый адресат и новый отправитель.

Документы, найденные В. Н. Кургановым, позволяют почувствовать атмосферу Петропавловской крепости, атмосферу, в которой находился Чернышевский и в которой он создавал свой роман.

Обращает на себя внимание тот факт, что буквально каждый шаг Чернышевского отражался в начальственных донесениях. Просьба отослать телеграмму Ольге Сократовне — рапорт, просьба о свидании—рапорт, просьба о покупке книги для перевода—рапорт, просьба о получении денег—рапорт, голодовка—рапорт, отказ от исповеди—рапорт и т. д. и т. д.

Со многими из этих документов Чернышевский был ознакомлен: Некоторые свои просьбы он должен был оформлять сам—в общепринятой форме, не очень-то дававшей свободулюбивому мыслителю. Так, заканчивая свое объяснение по поводу негодования комиссии, нашедшей в записке Чернышевского грубые выражения, он пишет в P. S.:

«Может, для формы нужно прибавить, и потому прибавляю: это отношение за № 61 читал. Титулярный советник Н. Чернышевский».

Живой ум Чернышевского трудно мирился с тайнами бюрократического делопроизводства.

В мертвом, однообразном потоке входящих и исходящих по делу Чернышевского есть свои, порой довольно любопытные, оттенки. Когда Чернышевский, Серно-Соловьевич и Ветошников были доставлены в крепость, возник вопрос о том, как их обеспечивать продовольствием. Естественно, появился рапорт Сорокина, заканчивавшийся так:

«Сообщая о сем Вашему Превосходительству, имею честь покорнейше просить почтить меня уведомлением, по сколько именно производить продовольствие пищею вышеприписанным арестантам».

Сам Чернышевский оказывается неким придатком «отношения»: «Препровождается при сем отставной титулярный советник Чернышевский». «При сем»—при бумажке. Чтобы резче ощутить бездушие этого документа, сравним его с другим. Перед отправкой в ссылку Чернышевского должны были одеть в казенную, арестантскую одежду. Полагалось две

пары, прислали одну. Последовало «отношение» с требованием вторых экземпляров арестантской амуниции, и в ответ на этот запрос были присланы вещи и бумажка из губернского правления коменданту крепости: «Губернское правление имеет честь препроводить при сем еще одну рубаху, одне подштанники и одну пару онуч...» Сравните: в первом случае «при сем» препровождался Чернышевский, в другом—онучи и прочее.

А вот образчик «заботы» об арестованном. Известно, что голодовка была объявлена Чернышевским в знак протеста против отказа в свидании его с женой. Когда же после голодовки Чернышевский вновь вернулся к этому вопросу, то родилось на свет такое «отношение»: «Высочайше учрежденная в С. Петербурге Следственная Комиссия в заседании своем 11-го сего февраля, положила объявить содержащемуся в крепости, отставному Титулярному Советнику Чернышевскому, что свидание с женою в настоящее время дозволено быть не может по неудовлетворительному состоянию здоровья...».

Или другой пример. За грубость выражений в записках Чернышевского комиссии («с неуместными в оных выражениях», как сказано в «отношении») «сделать Чернышевскому строгий выговор».

Думается, что в этих сгустках бюрократической фразеологии особенно рельефно ощущается мертвенная атмосфера, в которой пробыл два года своей жизни Чернышевский.

Возникают вопросы: есть ли в публикуемых документах свидетельства того, что Чернышевский достаточно отчетливо чувствовал и осознавал эту атмосферу и не стремился ли он *использовать* такую обстановку в своих целях?

Намеки на такие свидетельства есть. Это—недоумение Чернышевского в связи с тем, нужно ли засвидетельствовать «для формы» свое знакомство с официальной бумагой. Это его прорвавшееся в «неуместных выражениях» негодование на бюрократическую волокиту. Это—ироническая опись вещей, сделанная Чернышевским накануне отправки в ссылку. Как бы иронизируя над безразличием официальных бумаг к фактам самого различного рода, фактам совершенно не рядоположным, Чернышевский так составляет опись вещей своего саквояжа: «Пара сапог. Лермонтов 2 т.; Кольцов—1 т. Две простыни»¹.

Документы, найденные Кургановым, позволяют ощутить ту атмосферу, в которой находился великий узник Петро-

¹ Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. 3. Из-во Саратовского университета, 1962, стр. 302.

павловки—чинопочитание, фетишизм формы и равнодушие, равнодушие, равнодушие...

Возникает вопрос: а имеет ли все это какое-нибудь отношение к роману «Что делать?» Или же он создавался как бы вне этих условий и без всякого их учета?

Видимо, связь здесь была и связь, по крайней мере, двухсторонняя.

Буквально все исследователи, затрагивавшие цензурную историю «Что делать?», считают пропуск этого произведения в печать ошибкой цензуры. «Счастливой случайностью,—утверждается, например, в Истории русской литературы,—объясняется разрешение цензуры опубликовать роман в «Современнике» (Ист. рус. лит., т. VIII, кн. I, изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 487). «Недоразумением», «ошибкой» считали дозволение печатать роман и деятели охранительного лагеря.

Такая точка зрения односторонняя. Гораздо ближе к истине М. Лемке: по мере поступления в комиссию «роман читал кто-нибудь из членов комиссии, не находил в нем *ничего касающегося дела* (т. е. «дела» Чернышевского.—В. Б.), и его отправляли к Пыпину через оберполицмейстера, каждый раз напоминая, что печатание должно происходить на общем основании, с разрешения цензуры. Цензор «Современника» видел на рукописи печать и шнуры комиссии, проникался соответствующим трепетом и пропускал, не читая».

Это не совсем то, что названо «счастливой случайностью». Здесь учтен сам «дух» того конвейера, по которому шел роман Чернышевского. «Читал кто-нибудь»—форма была соблюдена, рукописи комиссией прочитаны. Прочитано—и с плеч долой. Кроме того, чиновники в романе искали отголосков «дела» и, не находя, успокаивались. Многолетняя практика, бюрократическая психология, административная инерция проявлялись здесь предельно рельефно. Об этом убедительно свидетельствует, например, сам цензор Бекетов, когда его и второго цензора (Рахманинова) призвали к ответу за пропуск «Что делать?»: «Помилуйте, мы читали и пропускали то, что дозволено III отделением». А III отделение говорит:

— Нам нет дела до содержания романа: на это существует персонал цензоров. Мы только со своей стороны проверяли, нет ли чего против верховной власти—и вообще в какой мере благонадежны умозаключения и убеждения автора¹. Жандармы не могли и подумать о том, что человек, находящийся на их «попечении», может быть озабочен чем-ли-

¹ Е. Бушканец. Царская цензура и «Что делать?» Чернышевского. — «Огонек», 1951, № 39, стр. 24.

бо другим, кроме собственной участи, что он решится пропагандировать идеи революции, намечать ее программу из каземата. И, нужно сказать, тюремная практика в известном плане давала основания для такого подхода. Ни декабристы, ни петрашевцы не проявляли тех качеств, которые были свойственны Чернышевскому: Чернышевский продолжал борьбу. И формализм мышления охранителей мешал им увидеть в этом «преступнике» заключенного «нового типа».

И, наконец, разве в этом «соответствующем трепете» цензора «Современника» перед «шнуром и печатью» князя Голицына не виден тот же пиетет формального мировосприятия, что и в предыдущих случаях?

И следственная комиссия, и цензура, конечно, допустили ошибку. Но это не была просто «счастливая» для Чернышевского случайность. Это была ошибка в высшей степени симптоматическая, с великолепной рельефностью обнажавшая кретинизм бюрократического мышления.

Другая сторона вопроса. Если утверждать, что цензурные разращения на печатание «Что делать?» были «счастливой ошибкой», то придется признать и нечто другое. А именно: Чернышевский, видимо, писал свой роман, надеясь только на такую «счастливую» случайность, т. е., говоря другими словами, на авось; играл в своеобразную лотерею, причем шансы на выигрыш были ничтожными. И вот только благодаря «везению» он выиграл—роман увидел свет.

Поведение Чернышевского свидетельствует о том, что он строго продумывал и точно рассчитывал весь ход и все детали следствия и неизменно выигрывал у комиссии шаг за шагом. Только подлог изменил ход дела. Чернышевский глубоко и точно понимал не только смысл фактов, а и психологию своих противников, о чем свидетельствуют, например, образы «просвещенного мужа» из «Что делать?», Савелова или Чаплина из «Пролога».

Чернышевский был не только художником-психологом, но и психологом-тактиком, прекрасно постигшим ограниченность, односторонность, схоластику мышления своих врагов. С учетом этих качеств и писался роман. И нельзя все сводить ни к «счастливой ошибке», ни к мастерству Чернышевского в сфере эзоповой маскировки революционных идей в романе. Успех Чернышевского не был случайностью, результатом «счастливой ошибки». Цензурная история «Что делать?» вряд ли может быть понята вне того обстоятельства, что великий мыслитель писал свой программный роман со строгим расчетом на людей, порожденных, вскормленных и воспитанных бюрократической хрией.

Публикуемые материалы в известной степени, причем с разных сторон, дополняют наше представление о жизни Чернышевского в крепости.

Н. Г. Чернышевский был арестован и посажен в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости 7 июля 1862 года¹ и отправлен в Тобольский Приказ о ссыльных 20 мая 1864 года. Из публикуемых здесь впервые документов мы узнаем подробнее некоторые стороны жизни Н. Г. Чернышевского в Петропавловской крепости².

Получено 7 июля 1862 г.
Секретно

Господину коменданту
С-Петербургской крепости.

3-е Отделение Собственной
Его Императорского Величества
канцелярии. Экспедиция
I. С. Петербург 7 июля
1862 г.

№ 1623

На основании Высочайшего повеления известного Вашему Превосходительству из отношения моего за № 1620³, препровождаю при сем, для содержания в Алексеевском рavelине чиновника Чернышевского, имея честь покорнейше просить, не изволите ли Вы, милостивый государь, о принятии его в вверенном Вам Управлении почтить меня уведомлением.

За отсутствием Главного начальника Свиты Его Величества генерал-майор Потапов».

На этом документе слева под штампом рукою коменданта крепости А. Ф. Сорокина сделана приписка:

«Предписать Г. Удому принять и донести»⁴.

Его Императорскому Величеству
Коменданта С-Петербургской крепости,
Генерал-лейтенанта Сорокина

Рапорт

Доставленный по Высочайшему Вашего Императорского Величества повелению, объявленному в отношении Управляющего 3 Отделением Собственной Вашего Императорского Величества Канцелярии за № 1620, Коллежский Секретарь Павел Ветошников и чиновники Чернышевский и Серно-Соловьевич сего числа в С-Петербургской кре-

¹ Все даты приводятся по старому стилю.

² Настоящая публикация является непосредственным продолжением статьи «Новые документы о пребывании Чернышевского в Петропавловской крепости», помещенной в сборнике «Н. Г. Чернышевский, Статьи, исследования и материалы. З». Изд-во Саратовского университета, 1962.

³ В документе за № 1620 генерал-майор Потапов писал:

«На основании Высочайшего повеления, последовавшего по всеподданнейшему докладу г. Генерал-адъютанта князя Долгорукова, препровождаю при сем к Вашему Превосходительству для содержания в Алексеевском рavelине Коллежского секретаря Павла Ветошникова, о принятии которого в вверенном Управлении я буду иметь честь ожидать уведомления Вашего Превосходительства». См.: ЦГИАЛ (Ленинград). ф. 1280 (Управление коменданта СПб, крепости), оп., 5, ед. хр. 104, л. 3.

⁴ Там же, ф. 1280, оп. 5, л. 4.

пости приняты и заключены в доме Алексеевского рavelина в покоях, первый под № 9, второй под № 11, и третий под № 16.

Подписал: генерал-лейтенант *Сорокин*.
Верно: управляющий канцелярией *Емельянов*.
№ 80. 7 июля 1862 года¹.

Г. Управляющему 3 Отделением
Собственной Его Императорского
Величества канцелярии.

Доставленные при отношениях Вашего Превосходительства № 1620 и № 1623 и № 1624, коллежский секретарь Павел Ветошников и чиновники Чернышевский и Серно-Соловьевич сего числа в С-Петербургской крепости приняты и заключены в доме Алексеевского рavelина в покоях под №№ первый 9-м, второй № 11 и третий № 16

Сообщая о сем Вашему Превосходительству, имею честь покорнейше просить почтить меня уведомлением, по сколько именно производить на продовольствие пищею вышеприписанным арестантам.

Подписал: генерал-лейтенант *Сорокин*
Верно: управляющий канцелярией *Емельянов*².

3-е Отделение Собственной
Его Императорского Величества
канцелярии Экспедиция 1. С.-Петербург 10 июля
1862 г.

Получено 11 июля 1862
Секретно
Господину коменданту
С-Петербургской крепости

№ 1686

Вследствие отношения Вашего Превосходительства за № 81, имею честь покорнейше просить Вас, милостивый Государь, о приказании отпускать на содержание поименованных в том отношении арестантов Алексеевского рavelина, согласно разрешению г. Генерала-Адъютанта князя Долгорукова, изъясненному в отношении моем от 15 февраля сего года за № 350, по пятидесяти копеек серебром в сутки на каждого.

Управляющий Отделением Свиты
Его Величества Генерал-Майор
Потанов.

На документе рукою коменданта крепости А. Ф. Сорокина приписано: «Уведомить Г. Удома»³.

7 декабря 1862 года из 3-го Отделения поступил запрос:

«Милостивый Государь
Андрей Федорович!

Потрудитесь спросить г. Чернышевского: куда он желает послать, или кому передать сделанный им перевод 15 т. истории Шлоссера, и расписку об этом Чернышевского пришлите с подателем сего.

*А. Переяславцев*⁴.

7 декабря 1862 г.

На документе рукою А. Ф. Емельянова приписка: «Требуемое сведение отослано 18 декабря в 9 часов утра»⁵.

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 6, об. (Копия).

² Там же, л. 7 (Копия).

³ Там же, л. 14.

⁴ Андрей Федорович Переяславцев, обер-аудитор, коллежский асессор, служил в Инспекторском Департаменте. В 1854 г. имел чин надворного советника и служил в комиссии по прошениям на высочайшее имя.

⁵ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 147.

28 декабря 1862 г.

№ 201

Секретно
Управляющему 3 Отделением
Собственной Его Императорского
Величества канцелярии

Написанное содержащимся в Алексеевском равелине Титулярном Советником Николаем Чернышевским письмо на имя Александра Николаевича Пыпина и перевод XVI тома Всемирной истории Шлоссера с немецкого на русский на 34 листах, при сем к Вашему Превосходительству в следствие отношения вашего № 3890 препровождаю.

Подписал Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*
Верно: управляющий канцелярией *Емельянов*¹.

3-е Отделение Собственной
Его Императорского Величества
канцелярии Экспедиция
I. С.-Петербург 6 января
1863 г.

№ 39

Получено 8 января 1863 года

Господину Коменданту
С-Петербургской крепости

Имею честь препроводить при сем к Вашему Превосходительству, для передачи Н. Г. Чернышевскому, письмо и связку с книгами, покорнейше просят приказывать выдать по принадлежности.

Управляющий Отделением Свиты Его
Величества генерал-майор *Потанов*.

На документе рукою коменданта крепости А. Ф. Сорокина сделана приписка: «Исполнить через Г. Удома»².

3-е Отделение Собственной
Его Императорского Величества
канцелярии Экспедиция
I. С.-Петербург 11 января
1863 г.

№ 98

Получено 12 января 1863 года

Секретно

Господину Коменданту
С-Петербургской крепости

Высочайше учрежденная в С-Петербурге Следственная Комиссия, по докладу мною словесной просьбы содержащегося в Алексеевском равелине Титулярного Советника Чернышевского, чтобы ныне же дано было разрешение на их свидание его с женою, приезда которой из Саратова ожидает г. Чернышевский, комиссия постановила объявить просителю, что таковое ходатайство еще преждевременно и разрешение не может быть дано раньше полного разъяснения производящегося о нем дела. О таком постановлении комиссии сообщаю Вашему Превосходительству, имею честь покорнейше просить объявить г-ну Чернышевскому.

Управляющий Отделением Свиты Его
Величества генерал-майор *Потанов*³.

«Коменданту С-Петербургской крепости.
Состоящего при крепости доктора медицины *Океля*⁴

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 153 (Копия).

² Там же, л. 157.

³ Там же, л. 158, и 158 об.

⁴ Федор Петрович Окель — статский советник, состоял ординатором 2-го Воен. Сухопутного СПб госпиталя.

Рапорт

Содержащийся в Алексеевском рavelине под № 11 арестант с некоторого времени воздерживается от всякой пищи, вследствие чего он заметно ослабел. При моем осмотре оказалось, что цвет лица у него бледный, пульс несколько слабее обыкновенного, язык довольно чистый. Прописанные мною капли для возбуждения аппетита он принимал только два раза, и сего числа объявил мне, что не намерен принимать их и что воздерживается от пищи не по причине отсутствия аппетита, а по своему капризу.

Доктор *Окель*.

3 февраля 1863 года.

На рапорте приписка: «Получено 3 февраля 1863 года»¹.

Управление

Секретно

Коменданта

Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцелярии

С.-Петербургской
крепости

3 февраля 1863 года.

№ 18.

Состоящий при крепости Доктор *Окель* рапортом сего числа донес, что содержащийся в доме Алексеевского рavelина <литератор>² Чернышевский, с некоторого времени воздерживается от всякой пищи, вследствие чего он заметно ослаб. При осмотре доктора оказалось, что цвет лица у Чернышевского бледный, пульс несколько слабее обыкновенного, язык довольно чистый, прописанные ему капли для возбуждения аппетита он принимал только два раза, а сего числа объявил, что не намерен принимать таковые и что воздерживается от пищи не по причине отсутствия аппетита, а по своему капризу.

О чем уведомляю Ваше превосходительство для доклада Его Сиятельству князю Василию Андреевичу.

Подписал комендант генерал-лейтенант *Сорокин*

Верно: управляющий канцеляриею *Емельянов*³.

3-е Отделение Собственной
Его Императорского Величества канцелярии Экспедиция 1. С.-Петербург 5 февраля 1863 г.

Господину Коменданту
С.-Петербургской крепости.

№ 370

Полученные, вследствие отношения Вашего Превосходительства за № 114, по контрамарке Государственного Банка, пятьсот восемьдесят три рубля девяносто копеек переданы, согласно желанию Титулярного Советника Чернышевского, для отправления к жене его, Коллежскому Советнику Терсинскому.

Уведомляю о сем Ваше Превосходительство, считаю долгом проводить при этом представленную ныне г. Терсинским квитанцию здешнего Почтамта в принятии оным, для отправления к г-же Чернышевской, помянутых денег, и возвращенные, по выдаче оных из Банка, документы: духовное завещание протоиерея Гавриила Чернышевского и свидетельство о смерти его—покорнейше прося почтить меня уведомлением о получении этих бумаг.

Управляющий Отделением Свиты
Его Величества генерал-майор *Потанов*⁴.

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 165.

² Слово «литератор» зачеркнуто и сверху карандашом приписано «арестованный».

³ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 166, 166 об.

⁴ Там же, л. 175 и 175 об.

На документе рукою коменданта крепости приписка: «Объявить г. Чернышевскому, а бумаги хранить при вещах». Ниже рукою смотрителя Алексеевского рavelина: «Документы получил, Майор Удом»¹.

3-е Отделение Собственной
Его Императорского Величества
канцелярии. Экспедиция
1. С.-Петербург. 12 февраля
1863 г.

Получено 12 февраля 1863 года.

Секретно
Господину Коменданту
С.-Петербургской крепости.

№ 431.

Высочайше учрежденная в С.-Петербурге Следственная Комиссия, в заседании своем 11-го сего февраля, положила объявить содержащемуся в крепости, отставному Титулярному Советнику Чернышевскому, что свидание ему с женой в настоящее время дозволено быть не может по неудовлетворительному состоянию здоровья Чернышевского и что разрешение последует в то время, когда он будет совершенно здоров.

Сообщая о сем Вашему Превосходительству для распоряжения об объявлении Чернышевскому, имею честь покорнейше просить почтить меня уведомлением, в каком положении в настоящее время находится здоровье Чернышевского, для сообщения этого сведения Комиссии.

Управляющий 3 Отделением Свиты
Его Величества генерал-майор Потапов.

На документе комендант крепости А. Ф. Сорокин наложил резолюцию: «Нужное. Уведомить, что в настоящее время Чернышевский здоров и деятельно занимается продолжением сочин. <ения> романа» (над последними тремя словами вверху над строкой сделана приписка карандашом: «переводом истории Гервинуса»²).

13 февраля 1863
№ 23.

Секретно
Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцелярии.

Вследствие отношения Вашего Превосходительства от 12 сего февраля № 431, имею честь уведомить, что содержащийся в Алексеевском рavelине отставной Титулярный Советник Чернышевский, в настоящее время здоров и деятельно занимается переводом истории Гервинуса.

Подписал: Комендант, генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: управляющий канцеляриею *Емельянов*³.

22 февраля 1863 года
№ 29.

Секретно
С.-Петербургскому Военному
Генерал-Губернатору

Рапорт

На предложение Вашей Светлости доношу, что Алексеевский рavelин на основании Высочайшего указа от 3 июля 1826 года со-

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. 104, л. 175.

² Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 181 и 181 об. Документ частично опубликован в изд.: «Процесс Чернышевского», Саратов, 1939, стр. 91 — 92.

³ Там же, л. 182. (Копия).

стоит в ведении 3-го Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии и с того времени по смыслу предписания бывшего Управляющего Министерством Внутренних дел от 20 июля того же 1826 года № 2000, обо всем, что касается Алексеевского рavelина и заключенных в оном, коменданты относились всегда к Шефу Жандармов как Главному Начальнику III Отделения, а отчетность представлялась Его императорскому Величеству.

Все письма и просьбы, если только дозволялось писать арестованным в Алексеевском рavelине, кому бы они ни были адресованы даже и на Высочайшее имя, всегда передавались секретно в 3-е Отделение; на том же основании было поступлено и с письмом содержащегося в Алексеевском рavelине Чернышевского, адресованным на имя Вашей Светлости.

При чем нелишним считаю доложить, что во время производства в прошлом 1862 году следствия Статс-Секретарем князем Голицыным над лицами, содержащимися в крепости, секретно было дозволено арестованным писать письма, но с тем, чтобы таковые к кому бы адресованы ни были, всегда доставлять в Следственную Комиссию, что исполнялось в точности.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: Управляющий канцеляриею *Емельянов*¹.

8 марта 1863 г.

№ 54.

Управляющему 3 Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

Секретно.

Написанный содержащимся в Алексеевском рavelине Титулярным Советником Николаем Чернышевским перевод истории XIX века Гервинуса с немецкого на русский, на 20 листах, при сем к Вашему Превосходительству для передачи по адресу препровождаю.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: управляющий канцеляриею *Емельянов*².

17 марта 1863 г.

№ 68.

Управляющему 3 Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

Секретно.

Написанный содержащимся в Алексеевском рavelине Титулярным Советником Чернышевским перевод «Истории XIX века», Гервинуса с немецкого на русский на 10 листах при сем к Вашему Превосходительству на зависящее распоряжение препровождаю.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: управляющий канцеляриею *Емельянов*³.

20 марта 1863 г.

№ 69.

Управляющему 3 Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии.

Написанный содержащимся в Алексеевском рavelине Титулярным Советником Чернышевским перевод «Истории XIX века» Гервинуса с

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л.л. 194, 194 об., 195 (Копия).

² Там же, л. 201 (Копия).

³ Там же, л. 218 (Копия).

немецкого на русский, на 7-ми листах, при сем к Вашему Превосходительству на зависящее распоряжение препровождаю.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: Управляющий канцеляриею *Емельянов*¹.

25 марта 1863 года Управляющему 3 Отделением Собственной
№ 73. Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Написанный содержащимся в Алексеевском равелине Титулярным Советником Чернышевским роман «Что делать?» (четвертая глава) на 10 полулистах при сем к Вашему Превосходительству на зависящее распоряжение препровождаю.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: управляющий канцеляриею *Емельянов*².

27 марта 1863 г. Секретно.
№ 75. Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Написанное содержащимся в Алексеевском равелине Титулярным Советником Чернышевским, продолжение четвертой главы романа «Что делать», на 11 полулистах при сем к Вашему Превосходительству на зависящее распоряжение препровождаю.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: управляющий канцеляриею *Емельянов*³.

30 марта 1863 г. Секретно.
№ 79. Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Написанное содержащимся в доме Алексеевского равелина Титулярным Советником Чернышевским продолжение 4 и начало 5 главы романа «Что делать», при сем к Вашему Превосходительству на зависящее распоряжение препровождаю.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: Управляющий канцелярией *Емельянов*⁴.

6 апреля 1863 г. Секретно.
№ 62. Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Написанное содержащимся в доме Алексеевского равелина Титулярным Советником Чернышевским окончание романа «Что делать» при сем к Вашему Превосходительству на зависящее распоряжение препровождаю.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: Управляющий канцелярией *Емельянов*⁵.

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 220 (Копия).

² Там же, л. 224 (Копия).

³ Там же, л. 226 (Копия).

⁴ Там же, л. 229. (Копия).

⁵ Там же, л. 228 (Копия).

8 сентября 1863 г.
№ 199.

Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Секретно.

Написанную содержащимся в Алексеевском рavelине отставным
Титулярным Советником Чернышевским статью под заглавием «Раз-
сказ о Крымской войне» по Кинглеку при сем к Вашему Превосходи-
тельству на зависящее распоряжение препровождаю.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.
Верно: Секретарь *Емельянов*¹.

21 октября 1863 года.
№ 217.

Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Секретно.

Написанный содержащимся в Алексеевском рavelине С-Петер-
бургской крепости отставным Титулярным Советником Николаем
Чернышевским роман «Повести в повести» на 58 листах при сем к
Вашему Превосходительству на зависящее распоряжение препровожд-
ается.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.
Верно: Секретарь *Емельянов*².

30 октября 1863 г.
№ 225.

Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Секретно.

Написанную содержащимся в Алексеевском рavelине отставным
Титулярным Советником Николаем Чернышевским статью о Крым-
ской войне, на 34 полулистах, при сем к Вашему Превосходительству
на зависящее распоряжение препровождаю.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.
Верно: Секретарь *Емельянов*³.

20 ноября 1863 г.
№ 246.

Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Секретно.

Написанное содержащимся в Алексеевском рavelине отставным
Титулярным Советником Николаем Чернышевским окончание первой
части романа «Повести в повести», на 64 полулистах, при сем к Ва-
шему Превосходительству на зависящее распоряжение препровожд-
аю.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.
Верно: Секретарь *Емельянов*⁴.

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 7 (Копия).

² Там же, л. 46. (Копия).

³ Там же, л. 65. (Копия).

⁴ Там же, л. 98 (Копия).

3 декабря 1863 г.
№ 254.

Секретно.
Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Написанная содержащимся в доме Алексеевского рavelина отстав-
ным Титулярным Советником Николаем Чернышевским статья «Пле-
мена и народы» Крика; перевод на 16 полулистах при сем к Вашему
Превосходительству на зависящее распоряжение препровождаю.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: Секретарь *Емельянов*¹.

22 января 1864 г.
№ 17.

Секретно.
Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Написанный содержащимся в Алексеевском рavelине отставным
Титулярным советником Чернышевским перевод «Истории Соеди-
ненных штатов» Неймана на 98 полулистах и немецкий подлинник при
сем к Вашему Превосходительству на зависящее распоряжение пре-
провождаю.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: Секретарь *Емельянов*².

Управление
Коменданта
С-Петербургской
крепости
Мая 19, 1864 года
№ 96.

Секретно.
Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Согласно личного объяснения с Вашим Превосходительством,
препровождая при сем находившиеся у содержавшегося в Алексеев-
ском рavelине преступника Чернышевского рукописи его в четырех
пачках и книги при написанной самим им описи оным, на усмотрение
Вашего Превосходительства, присовокупляю, что, как уведомил меня
С-Петербургский Обер-Полициеймейстер, Чернышевский будет отпра-
влен по назначению завтрашнего числа.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: Секретарь *Емельянов*³.

3-е Отделение
Собственной Его
Императорского
Величества канцелярии
Экспедиция
С-Петербург
27 мая 1864 г.
№ 1403.

Господину Коменданту
С-Петербургской крепости.

Вследствие отношения за № 96 имею честь уведомить Ваше Пре-
восходительство, что доставленные при том отношении в двух тюках
бумаги и книги государственного преступника Чернышевского, а также
составленная им опись сим бумагам и книгам, в 3-м Отделении Соб-

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 110/1 (Копия).

² Там же, л. 180 (Копия).

³ Там же, л. 306 и 306 об. (Копия).

ственной Его Императорского Величества канцелярии получена, за исключением значащейся в описи под № 48 книги «Vincenzo by Ruffini», при вскрытии тюка не оказавшейся.

Управляющий Отделением Свиты Его Величества генерал-майор *Потанов*¹.

Высочайше
учрежденная
в С-Петербурге
Следственная
Комиссия
№ 608.
12 марта 1863 г.

Получено 12 марта 1863 года

Господину Коменданту
С-Петербургской крепости.

Секретно.

По рассмотрении в состоящей под моим председательством Следственной Комиссии представленных в оную Управляющим 3 Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии двух записок к Вашему Превосходительству содержащегося в Алексеевском равелине отставного Титулярного Советника Чернышевского, от 7 и 10 сего марта с не уместными в оных выражениями заключено: просить Вас, Милостивый Государь, сделать Чернышевскому строгий выговор за неуместность и неприличность его выражений, и внушить ему, что если он и на будущее время позволит себе подобные выражения, то ему будет воспрещено вести вообще переписку.

О таковом заключении Комиссии долгом считаю Вас, Милостивый Государь, уведомить к исполнению.

Председатель Комиссии, член Государственного Совета, статс-секретарь князь Александр Голицын.

На первой странице документа рукою коменданта крепости сделана приписка:

«Объявить установленным порядком с подписью»².

13 марта 1863 г.
№ 61.

Смотрителю Алексеевского Равелина.

Высочайше учрежденная под председательством статс-секретаря Князя Голицына Следственная Комиссия по рассмотрении представленных двух записок содержащегося в Алексеевском равелине отставного Титулярного Советника Чернышевского от 7 и 10 сего марта, с неуместными в оных выражениями, заключила: сделать Чернышевскому строгий выговор за неуместность и неприличность его выражений и внушить ему, что если он и на будущее время позволит себе подобные выражения, то ему будет воспрещено вести вообще переписку.

Вследствие отношения о сем комиссии № 608 предписываю Вашему Высокоблагородию объявить о вышеизложенном г. Чернышевскому с подпискою, которую представить ко мне.

Подписал: Комендант, генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: Управляющий канцелярией *Емельянов*³.

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 346 и 346 об. (Копия).

² Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 209 и 209 об.

³ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 211 и 211 об. (Копия).

3-е Отделение
Собственной Его
Императорского
Величества канцелярии.
Экспедиция 1.
С-Петербург.
19 марта 1863 г.
№ 968.

Господину Коменданту
С-Петербургской крепости.

Секретно.

Согласно требованию Высочайше учрежденной Следственной Комиссии покорнейше прошу Вашего Превосходительства о приказании передать содержащегося в Алексеевском Равелине Титулярного Советника Чернышевского майору Зарубину для доставления в сию Комиссию, к допросу, по окончании которого арестант этот будет немедленно возвращен в вверенное Вам Управление.

Управляющий Отделением Свиты Его Императорского Величества генерал-майор *Потапов*».

На документе приписка:
«Получено 19 марта 1863 г.»¹.

3-е Отделение
Собственной Его
Императорского
Величества канцелярии.
Экспедиция 1.
С-Петербург.
12 апреля 1863 г.
№ 1267.

Получено 12 апреля 1863 года.
Господину Коменданту
С-Петербургской крепости.

Секретно.

Согласно требованию Высочайше учрежденной Следственной Комиссии покорнейше прошу Ваше Превосходительство о приказании передать содержащегося в Алексеевском равелине титулярного Советника Чернышевского майору Зарубину для доставления в сию комиссию к допросу, по окончании которого арестант этот будет немедленно возвращен в вверенное Вам Управление.

Управляющий Отделением Свиты Его Величества генерал-майор *Потапов*.

Рукою коменданта крепости сделана резолюция:

«Выдать и по возвращении принять обратно»².

Высочайше
Учрежденная
в С-Петербурге
Следственная
Комиссия
№ 737.
14 мая 1863 г.

Господину Коменданту
С-Петербургской крепости.

Секретно.

Содержащиеся в крепости, отставные Титулярный Советник Чернышевский и полковник Шелгунов, по Высочайшему повелению, преданы суду: первый—Правительствующего Сената, а второй—военному.

Сделав по сему предмету надлежащее распоряжение, я имею честь покорнейше просить, Ваше Превосходительство, зачислить их содержащимися под арестом, за Сенатом и за военно-судною Комиссиею.

Председатель Комиссии, Член Государственного Совета статс-секретарь князь *Александр Голицын*.

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 219.

² Там же, л. 231.

Делопроизводитель (роспись)»¹.

На документе надпись:

«Получено 15 мая 1863 года».

Рукою коменданта крепости написано:

«Исполнить».

Управление
Санктпетербургского
Военного
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Стол Секретный.
27 мая 1863 г.
№ 1161.

Получено 27 мая 1863 года.
Секретно.
Коменданту С-Петербургской крепости.

Вследствие Указа Правительствующего Сената я предложил и вместе с сим С-Петербургскому обер-полицеймейстеру распорядиться о представлении в Сенат 29 сего мая, в 12 с половиной часов пополудни, за надлежащим караулом, содержащихся в здешней крепости Титулярного Советника Чернышевского и мещанина Мартьянова.

Сообщая об этом Вашему Превосходительству, покорнейше прошу, если Мартьянов по состоянию своего здоровья еще не может быть представлен в присутствие Сената, то уведомить меня об этом немедленно для донесения Правительствующему Сенату.

С-Петербургский Военный Генерал-Губернатор, генерал-адъютант, князь Итальянский, граф *Суворов-Рымникский*.

Управляющий канцелярией *Четыркин*.

Рукою коменданта крепости:

«Исполнить, но спросить доктора о состоянии здоровья Мартьянова»².

С-Петербургского
Обер-Полицеймейстера
Канцелярия.
Стол 1-й
28 мая 1863 года.
№ 1353.

Получено 29 мая 1863 года.
Коменданту С-Петербургской крепости.

Согласно предложению Его светлости г. С-Петербургского Военного генерал-губернатора от 27 мая за № 1160 имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что для сопровождения в 1-е Отделение 5-го Департамента Сената в среду 29 мая Титулярного советника Чернышевского и мещанина Мартьянова назначены мною полицейские офицеры Шулепов и Олисевиц, которым, а равно и жандармам, приказано явиться к Вашему Превосходительству означенного числа в 10¹/₂ часа утра.

Генерал-лейтенант *Анисимов*.

Правитель канцелярии *Харламов*.

На документе приписка:

«Чернышевского принял для доставления поручик Олисевиц. Мартьянова принял для доставления в Сенат штаб-капитан Шулепов. 29 мая 1863 г.»³.

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 270.

² Там же, л. 285, 285 об.

³ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 286.

«Препровождается при сем отставной Титул. совети. Николай Чернышевский о востребовании коего, в случае надобности, вновь в Пр. Сенат будет сделано особое распоряжение.

За обер-секретаря (роспись)».

На документе приписка:

«Доставлен обратно в 2 ч. по полудни. Генерал-лейтенант Сорокин». 29 мая 1863 г.»¹.

Управление
Санктпетербургского
Военного
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Стол Секретный
31 мая 1863 г.
№ 1209.

Получено 1 июня 1863 года.
Секретно.
Коменданту С-Петербургской крепости.

Содержащийся в С-Петербургской крепости Титулярный Советник Чернышевский, по вызове его, 29 сего мая, в Правительствующий Сенат для допроса, обратился с словесною просьбою о дозволении ему подать особое объяснение по производящемуся о нем в Сенате делу.

Вследствие сего, согласно указу Правительствующего Сената, покорнейше прошу Ваше Превосходительство по изготовлении Чернышевским означенного объяснения доставить оное ко мне для представления в Правительствующий Сенат.

С-Петербургский Военный Генерал-Губернатор, генерал-адъютант, князь Итальянский, граф *Суворов-Рымникский*.

Управляющий Канцеляриею *Четыркин*.

Рукою коменданта крепости:

«Представить в 3-е Отд. и просить разрешение, как поступить впредь в подобных случаях»².

2 июня 1863 г.
№ 134.

Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцелярии.

Содержащийся в Алексеевском рavelине Титулярный Советник Чернышевский по вызове его 29 минувшего мая, в Правительствующий Сенат для допроса, обратился со словесною просьбою о дозволении ему подать особое объяснение по производящемуся о нем в Сенате делу.

Вследствие чего С-Петербургский Военный Генерал-Губернатор предписанием от 31 мая № 1209, просил по изготовлении Чернышевским означенного объяснения доставить оное к нему для представления в Правительствующий Сенат.

Сообщая о сем В<ашему> Превосход<ительству> и препров.<ождая> при сем написанное Чернышевским объяснение, покорнейше прошу уведомить меня, как я должен на будущее время поступить с подобными объяснениями: прямо ли представлять к С-Петербургскому Военному Генерал-Губернатору или через 3-е Отделение.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*³.

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, л. 287.

² Там же, л. 293.

³ Там же, л. 294 и 294 об. (Копия).

Управление
Санктпетербургского
Военного
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Стол Секретный.
10 октября 1863 г.
№ 2609.

Получено 10 октября 1863 года.
Секретно.
Коменданту С-Петербургской крепости.

Вследствие указа Правительствующего Сената я предложил вместе с сим С-Петербургскому Обер-Полицеймейстеру сделать распоряжение о представлении в Сенат, 14 сего октября, к 12 часам дня, за надлежащим караулом, содержащегося в С-Петербургской крепости отставного Титулярного Советника Чернышевского.

Поставляю Ваше Превосходительство в известность о настоящем распоряжении моем.

Генерал-Адъютант, Князь Италийский.
Граф *Суворов-Рымникский*
Управляющий Канцеляриею *Четыркин*¹.

«Препровождается при сем Отставной Титулярный Советник Чернышевский, который имеет быть представлен вновь в Правительствующий Сенат завтра т. е. 15 сего октября в 11-ть часов дня.

Октября 14 дня 1863 года.

Обер-Секретарь (ропись)»

Ниже на документе приписка.

«Доставлен обратно $\frac{1}{4}$ 5 ч. по полудни. Генерал-лейтенант *Сорокин*².

«Препровождается при сем отставной Титулярный Советник Чернышевский, о востребовании коего в случае надобности вновь в Правительствующий Сенат будет сделано особое распоряжение.

Октября 15 дня 1863 года.

Обер-Секретарь (ропись).

На документе рукою коменданта крепости:

«Доставлен обратно в $\frac{1}{4}$ 3 час. по пол.

Генерал-Лейтенант *Сорокин*³».

Управление
Санктпетербургского
Военного
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Стол Секретный.
25 октября 1863 г.
№ 2765.

Получено 25 октября 1863 г.
Коменданту С-Петербургской крепости.

Вследствие Указа Правительствующего Сената, мною вместе с сим сделано надлежащее распоряжение о представлении в I Отделение 5 Департамента, 28 сего Октября к 12 часам утра содержащегося в С-Петербургской крепости подсудимого Титулярного Советника Чернышевского.

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 38.

² Там же, л. 41.

³ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 40.

Долгом считаю уведомить об этом Ваше Превосходительство для сведения и подлежащего распоряжения.

Генерал-Адъютант, Князь Итальянский,
Граф *Суворов-Рымникский*.
Управляющий канцелярнею: *Четыркин*¹.

С-Петербургского Получено 26 октября 1863 г.
Обер-Полицеймейстера Коменданту С-Петербургской крепости.
Канцелярия
Стол I.
26 октября 1863 г.
№ 4155.

Согласно предложения Его Светлости от 25 октября за № 2764, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что для сопровождения в Сенат подсудимого Чернышевского назначен мною полицейский офицер Олисевиц, который и будет иметь честь явиться к Вашему Превосходительству 28-го октября в 10-ть часов утра.

Генерал-Лейтенант *Анисимов*.
Правитель канцелярии: *Харламов*.

На документе приписка:

«28 октября Чернышевского для доставления принял поручик Олисевиц. 29, 30 и 31 октября принял Чернышевского для доставления. Поручик *Олисевиц*»²

«Препровождается при сем отставной Титулярный Советчик Чернышевский, который имеет быть доставлен завтра, т. е. 29 октября в 12 часов утра.

Октябрь 28 дня 1863 года.
Обер-Секретарь (ропись).

На документе рукою коменданта крепости:

«Доставлен обратно в ¼ 4 ч. пополудни.
Генерал-Лейтенант *Сорокин*»³.

«Возвращается при сем отставной Титулярный Советчик Чернышевский, который имеет быть представлен вновь в Сенат 30 октября к 12 часам утра.

Октябрь 29 дня 1863 года.
Обер-Секретарь (ропись)».

Рукою коменданта крепости:

«Доставлен обратно в ¼ ч. попол<удни>
Генерал-Лейт. *Сорокин*»⁴.

«Препровождается при сем отставной Титулярный Советник Чернышевский, который имеет быть представлен вновь в Сенат завтра, т. е. 31 октября к 12 часам утра.

Октябрь 30 дня 1863 года.
Обер-Секретарь (ропись)».

Ниже рукою коменданта крепости сделана приписка:

«Доставлен в крепость в ½ 4 ч. по полуд.
Генерал-Лейтенант *Сорокин*»⁵.

¹ Там же, ф. 1280. оп. 5, ед. хр. 108, л. 50.

² Там же, л. 54.

³ Там же, л. 58.

⁴ Там же, л. 57.

⁵ Там же, л. 56.

«Препровождается при сем отставной Титулярный Советник Чернышевский, о вытребовании коего в случае надобности вновь в Сенат будет сделано особое распоряжение.

Октябрь 31 дня 1863 года.
Обер-Секретарь (роспись)»

На документе рукою коменданта крепости:

«Доставлен обратно в крепость в 2 ч. по пол<удни>.
Генерал-Лейтенант *Сорокин*»¹.

Управление
Санктпетербургского
Военного
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Стол Секретный.
2 мая 1864 г.
№ 1224.

Получено 2 мая 1864 года.
Господину Коменданту
С-Петербургской крепости.

Секретно.

Предложив С-Петербургскому Обер-полицеймейстеру о предоставлении, установленного порядком, в Правительствующий Сенат 4-го будущего мая к 12 часам полудня содержащегося в С-Петербургской крепости отставного Титулярного Советника Николая Чернышевского имею честь о том уведомить Ваше Превосходительство.

Генерал-Адъютант Князь Итальянский,
Граф *Суворов-Рымникский*,
Управляющий канцелярией: *Четыркин*».

На документе приписка:

«Чернышевского принял для доставления в Сенат 4 мая 1864 г. Поручик *Олисевиц*»²,

«С-Петербургского городского телеграфа.

Телеграмма. 48 слов.

Подписал на ст. Полиц. 3 мая 1864 г. 10 ч. 25 м. по п.

Получено 10 ч. 41 м. по п.

Весьма нужное в крепость.

Управление Коменданта крепости.

Для сопровождения подсудимого Николая Чернышевского в Сенат назначен полицейский офицер поручик Олисевиц, который и явится 4-го мая в 10-ть часов утра.

Действительный Статский Советник *Харламов*»³.

«Препровождается при сем бывший отставной Титулярный Советник Чернышевский.

Мая 4 дня 1864 года.

Обер-Секретарь (роспись).

На документе приписка:

«Доставлен в крепость в 1/2 2 часа по полудни.

Генерал-Лейтенант *Сорокин*»⁴.

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 55.

² Там же, л. 257.

³ Там же, л. 260.

⁴ Там же, л. 261.

3-е Отделение
Собственной Его
Императорского
Величества
Канцелярии.
Экспедиция 1-я
С-Петербург
7 июня 1863 г.
№ 2331.

Получено 9 июня 1863 г.

Секретно.

Господину Коменданту
С-Петербургской крепости.
Титулярный Советник Чернышевский про-
сит о разрешении ему иметь свидания с его
родственниками.

Покорнейше прошу Ваше Превосходительство о приказании спро-
сить г. Чернышевского, с кем именно желает он иметь свидания?

Управляющий Отделением Свиты Его Величества генерал-майор
Потапов.

Рукою коменданта крепости:

«Спросить г. Чернышевского и уведомить».

10 июня 1863 г.

№ 139.

Ответ на отношение

№ 2331.

Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Отобранное от содержащегося в Алексеевском рavelине Титуляр-
ного Советника Чернышевского сведение о его родственниках, с кото-
рыми он желает иметь свидание при сем к Вашему Превосходитель-
ству препровождаю..

Подписал: комендант генерал-лейтенант *Сорокин.*

Верно: управляющий канцелярию поручик (роспись).

Ближайшие мои родственники в Петербурге —

Александр Николаевич и } Пыпины,
Елена Николаевна }

и я имел в мысли их, когда просил у Правительствующего сената
разрешения видеться с моими родственниками, их адрес:

у Владимирской, в Свечном переулке,
дом Тулякова, квартира 43.

Подписал отставной Титулярный Советник *Н. Чернышевский.*

9 июня 1863 г.

Верно: Управ. канцелярию поручик (роспись)².

3-е Отделение
Собственной Его
Императорского
Величества
Канцелярии.
Экспедиция 1-я
С-Петербург
6 сентября 1863 г.
№ 3475.

Получено 7 сентября 1863 г.

Секретно.

Господину Коменданту
С-Петербургской крепости.

Содержащийся в Алексеевском рavelине отставной Титулярный
Советник Чернышевский словесно заявил Правительствующему Сена-
ту, что до времени представления его в Сенат для рукоприкладства,
ему воспрещено свидание с родными, а между тем вскоре возвратится

¹ Там же, ф. 1282, оп. 5, ед. хр. 104, л. 300.

² Там же, л. 301, 301 об. (Копия). Текст, принадлежащий Чернышев-
скому, опубликован в издании: «Процесс Чернышевского», Саратов, 1939,
стр. 100.

в С-Петербург жена его, с которою он хотел видиться. Вследствие сего Правительствующий Сенат, указом от 3-го сентября за № 2366, дал знать С-Петербургскому Военному Генерал-Губернатору, что представление Чернышевского в Сенат, для чтения записки и рукоприкладства, не должно служить препятствием к свиданиям его с женою и прочими родственниками.

Получив отношение о сем Генерал-Адъютанта князя Суворова, считаю долгом сообщить о том Вашему Превосходительству, для зависящего распоряжения к исполнению вышеизложенного и в дополнение отношения Генерал-Адъютанта князя Долгорукова от 14 июня сего года за № 2429.

Управляющий Отделением Свиты Его Величества генерал-майор *Потапов*».

На документе рукою коменданта крепости:

«Допустить к свиданию с соблюдением тех же правил, какие были установлены прежде»¹.

3-е Отделение
Собственной Его
Императорского
Величества
Канцелярии.
Экспедиция 1.
С-Петербург
4 октября 1863 г.
№ 3930.

Получено 5 октября 1863 г.

Господину Коменданту
С-Петербургской крепости.

Секретно.

Правительствующий Сенат, вследствие просьбы Титулярного Советника Чернышевского, просит С-Петербургского Военного Генерал-Губернатора о дозволении г. Чернышевскому иметь свидание с родственниками. Получив о сем отношение г. Генерал-Адъютанта князя Суворова, имею честь, (в дополнение отношений за №№ 2429, 2505 и 3475) уведомить Ваше Превосходительство, что к допущению родственников сего арестанта к свиданию с ним не встречается препятствия.

Управляющий Отделением Свиты Его Императорского Величества генерал-майор *Потапов* ².

Управление
Санктпетербургского
Военного
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Стол Секретный
5 марта 1864 г.
№ 642.

Получено 6 марта 1864 г.

Коменданту С-Петербургской крепости.

Секретно.

Учитель гимназии Дмитрий Щеглов обратился с просьбою о допущении его к свиданию с содержащимся в здешней крепости отставным Титулярным Советником Чернышевским, с которым ему необходимо объясниться по одному делу, касающемуся просителя. Вместе с тем Щеглов просил, в случае невозможности видиться с Чернышевским, дозволить ему послать этому арестованному письмо в незапечатанном конверте.

По всеподданнейшему докладу Главным Начальником 3-го Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии об означенном ходатайстве учителя Щеглова Высочайше разрешено

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 4 и 4 об.

² Там же, л. 36.

пустить Надворного Советника Григория Елисеева и Коллежского Секретаря Максима Антоновича к свиданию с содержащимся в С-Петербургской крепости политическим преступником Николаем Чернышевским.

Генерал-Адъютант, князь Итальянский
Граф Суворов-Рымникский
Управляющий Канцеляриею *Четыркин*.

На документе рукою коменданта крепости:

«Допустить с соблюдением правил»¹.

Управление
Санктпетербургского
Военного
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Стол Секретный
19 мая 1864 г.
№ 1363.

Получено 19 мая 1864 г.
В <есьма> нужное.
Господину Коменданту
С-Петербургской крепости.

Покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать распоряжение о дозволении видеться с содержащимся в С-Петербургской крепости арестантом Чернышевским, кроме известных уже Вам лиц, так же Обер-Секретарю Святейшего Синода Ивану Григорьевичу Терсинскому, доктору Петру Ивановичу Бокову и литератору Николаю Алексеевичу Некрасову. В случае же, если будет просить свидания с Чернышевским родственница его Михаелис, то ей в том разрешении покорнейше прошу не давать.

Генерал- Адъютант князь Итальянский
Граф Суворов-Рымникский
Управляющий канцелярией *Четыркин* ².
Получено 17 октября 1863 г.

Секретно.

Весьма нужное.

С-Петербургский Военный Генерал-Губернатор, покорнейше просит Его Превосходительство Алексея Федоровича истребовать от содержащегося в крепости подсудимого Титулярного Советника Чернышевского сведения, где находятся документы о его звании и летах, и полученный по сему предмету отзыв поименованного подсудимого сообщить ему безотлагательно.

№ 2675

17 октября 1863 года.

Его Пр-ству А. Ф. Сорокину ³.

Управление
Коменданта
С-Петербургской
крепости
Октября 18 дня 1863 года.
№ 215.
Донесение на № 2675.

Секретно.
С-Петербургскому Военному
Генерал-Губернатору,

Р а п о р т

Отобранный от содержащегося в С-Петербургской крепости подсудимого Титулярного Советника Чернышевского отзыв о месте на-

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 288.

² Там же, л. 299.

³ Там же, л. 42.

хождения аттестата о службе его при сем представляю к Вашей Светлости.

Подп. Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: секретарь *Емельянов*¹.

Управление
Санктпетербургского
Военного
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Стол Секретный
25 октября 1863.
№ 2767.

Получено 25 октября 1863 г.
Коменданту С-Петербургской крепости.

Покорнейше прошу Ваше Превосходительство истребовать от содержащегося в здешней крепости отставного Титулярного Советника Чернышевского и доставить мне сведения о том, где именно он состоял в последнее время на службе и из какого Управления выдан был ему аттестат о службе.

Генерал-Адъютант Князь Итальянский.
Граф *Суворов-Рымникский*
Управляющий канцелярией *Четыркин*.

На документе А. Ф. Сорокин сделал распоряжение:

«Г. Удому отобрать требуемые сведения и представить»².

Получив сведения от Н. Г. Чернышевского, комендант крепости сообщил об этом военному генерал-губернатору³.

В деле имеются документы, относящиеся к последним дням пребывания Н. Г. Чернышевского в Петропавловской крепости, распоряжения и указания официальных лиц.

Как только стало известно определение Правительствующего сената об обсуждении Н. Г. Чернышевского, военный генерал-губернатор А. А. Суворов сообщал коменданту крепости:

Управление
Санктпетербургского
Военного
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Стол Секретный
6 мая 1864 г.
№ 1265.

Получено 7 мая 1864 года.

Секретно.
Нужное.
Коменданту С-Петербургской крепости.

Государственный Совет в Департаменте Гражданских и духовных дел в общее собрание по рассмотрении определения Правительствующего Сената 5-го Департамента об отставном Титулярном Советнике Николае Чернышевском (35 лет), признав его по уликам и обстоятельствам виновным в сочинении возмутительного воззвания, передаче оного для тайного напечатания, с целью распространения, и в принятии мер к испровержению существующего в России порядка управления, мнением положил: Чернышевского на основании 283 и 284 ст. 1 кн. XV т. Св. Закона уголовн. лишив всех прав состояния, сослать в

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, лл. 43 (Копия).

² Там же, л. 51.

³ Там же, л. 52. (Копия).

каторжную работу в рудниках на четырнадцать лет, а затем поселить в Сибири навсегда.

На вышеизложенном мнении Государственного Совета, собственною Его Императорского Величества рукою написано: «быть по сему, но с тем, чтобы срок каторжной работы был сокращен наполовину.

Получив от Правительствующего Сената указ о точном и немедленном исполнении Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета по делу об отставном Титулярном Советнике Чернышевском, я предложил 2-му Департаменту Управы Благочиния сделать немедленно зависящее к тому распоряжение, с тем, чтобы для публичного приведения, на основании 541 ст. XV т. Св. зак., в исполнение приговора, Чернышевский был переведен, накануне для исполнения, в С-Петербургский тюремный замок.

Распоряжение это возложено мною на Генерал-Майора Чебыкина, которому поручено по соглашению с председателем 2-го Департамента Управы Благочиния перевести Чернышевского из крепости в тюремный замок и затем по объявлению ему публично приговора препроводить обратно, в С-Петербургскую крепость, откуда он имеет быть отправлен по назначению на почтовых с двумя жандармами.

Назначенные для сопровождения Чернышевского жандармы, по получении подорожной, прогонных и кормовых денег, обязаны явиться к Вашему Превосходительству для принятия означенного арестанта.

Долгом считаю сообщить о сем Вам, Милостивый Государь, покорнейше прошу о времени отправления Чернышевского меня уведомить.

Генерал-Адъютант Князь Италийский.

Граф Суворов-Рымникский

Управляющий канцелярией *Четыркин*¹.

Рукою коменданта крепости:

«Предложить Протоиерею Полисадову² приготовить к принятию Св. Таин. и потом сделать надлежащее распоряжение согласно предписания».

Ниже следует приписка:

«Преступника Чернышевского принял 19 мая. Генер.-майор Чебыкин.

Далее рукою коменданта крепости:

«Доставлен обратно в $\frac{1}{4}$ 11 часа по полудни. Генер.-Лейт. Сококин»³.

7 мая 1864 г. № 82.

Секретно.

Его Высокопреподобию Протоиерею
Петропавловского Собора.

С-Петербургский Военный Генерал-Губернатор отношением от 6 сего Мая № 1265 уведомил меня, что Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета, определено: содержащегося в Алексеевском равелине отставного титулярного Советника Чернышевского, лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на 7 лет и затем поселить в Сибири навсегда.

Вследствие чего покорнейше прошу Ваше Высокопреподобие привести Чернышевского на основании 541 ст. XV т. Св. Зак. Граж. в

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 271, 271 об. и 272.

² Полисадов Василий Петрович — протоиерей кафедрального придворного собора Петропавловской крепости.

³ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 271.

самом исполнении содержания к исповеди и, если признается возможным, к Св. Причастию и по исполнении сего почтить меня уведомлением в возможной скорости.

Подписал Комендант, генерал-лейтенант -Сорокин.
Верно: Секретарь *Емельянов*¹.

М. В. Д.
Второй Департамент
С-Петербургской
Управы Благочиния.
Отделение
Секретное.
Стол 2.
7 мая 1864 года.
№ 9797.

Получено 9 мая 1864 года.

Господину Коменданту
С-Петербургской крепости.

Секретно.
в. нужное.

С-Петербургский Военный Генерал-Губернатор от 6 сего мая за № 1264 сообщил сему Департаменту к исполнению Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета об отставном Титулярном Советнике Чернышевском (35 лет), приговоренном к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на 7 лет.

Вследствие сего, на основании 541 ст. 2 ч. т. XV пр. уголов. (изд. 1857 г.) Второй Департамент Управы Благочиния имеет честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать зависящее распоряжение, об исполнении над Чернышевским, через одного из священников, упоминаемого в означенной статье св. законов религиозного обряда, и затем почтить Департамент уведомлением, для дальнейшего исполнения.

За председателя священник (ропись)

Священник (ропись)

Начальник Отделения (ропись)

За столоначальника (ропись)

На документе рукою коменданта крепости:

«Объявить распоряжение и о последствии уведомить»².

9 мая 1864 г.
№ 87.

Срочно.
Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцелярии.

С-Петербургский Военный Генерал-Губернатор уведомил меня, что Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета по делу об отставном Титулярном Советнике Чернышевском, на основании 541 ст. XV Св. Зак. Гражд., имеет быть приведено в исполнение публично, для чего Чернышевский, согласно распоряжению Генерал-Губернатора, накануне дня объявления будет переведен из крепости в СПб тюремный Замок и затем по объявлении ему публично приговора, обратно доставлен в крепость и отправлен из оной по назначению на почтовых с двумя жандармами.

О чем долгом считаю сообщить Вашему Превосходительству.

Подписал: Комендант генерал-лейтенант *Сорокин*.
Верно: Секретарь *Емельянов*³.

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 273 и 273 об. (Копия).

² Там же, л. 274 и 274 об.

³ Там же, л. 276 и 276 об. (Копия).

12 мая 1864 г.
№ 93.

Секретно.
Во 2 Департамент СПетербургской Управы благочиния.

Вследствие отношения оного Департамента от 7 сего Мая за № 9797 долгом считаю уведомить, что содержащийся в СПетербургской крепости отставной Титулярный Советник Чернышевский, на основании 541 ст. 2 ч., XVI. Уголовн. Закон. был подвергнут <священническому>¹ уведомлению протоиерея Петропавловского Собора Василия Полисадова, но при всесторонней сего священного служителя <помощи> возбудить и приготовить его к покаянию и приобщению Св. Таин., он, Чернышевский, не изъявил желанья приступить к этим таинствам.

Подписал: Комендант, генерал-лейтенант *Сорокин*.
Верно: Секретарь *Емельянов*².

Относительно предстоящей отправки в ссылку Н. Г. Чернышевского комендант крепости А. Ф. Сорокин сообщал управляющему 3-м Отделением генерал-майору А. Л. Потопову:

Комендант С-Петербургской крепости свидетельствует совершенное почтение Его Превосходительству Александру Львовичу. Имею честь уведомить в дополнение отношения от 9 сего Мая за № 87, что по случаю некоторых изменений в порядке исполнения приговора над преступником Чернышевским, как уведомил о том по поручению С-Петербургского Военного Генерал-Губернатора, Генерал-Майор Чебыкин, Чернышевский будет отправлен на место исполнения приговора не из Тюремного Замка, а прямо из крепости, откуда завтра 19 мая в 7 часов утра примет его Генерал-Майор Чебыкин и по объявлении приговора обратно доставит в крепость. На этом основании Чернышевский сего числа вечером будет перемещен из Алексеевского Равелина на Главную крепостную гауптвахту в отдельный номер.

Верно: Секретарь Емельянов.
№ 95, 18 Мая 1864 г.³

С-Петербургскому Обер-Полицеймейстеру.

Не имея в виду распоряжения по отправлению Чернышевского к месту назначения, прошу уведомить меня о времени и порядке отправления его; причем распорядиться высылкою для него арестантской одежды.

Подписал: Комендант крепости *Сорокин*.
Верно: Секретарь *Емельянов*.
19 мая 1864 г.⁴

СПб. креп. Коменданту.
Т е л е г р а м м а
№ 534, слов 46.

Подпи. на ст. Обер-Полиц. 19 Мая 1864 г. 1 ч. по п.
Получена—1 ч. 5 м. по п.

Коменданту

Об отправлении Чернышевского предложено 2 Департ. Управ. 18 Мая № 3278 с сим вместе я подтверждаю о извещении Вас о вре-

¹ Слово «священническому» зачеркнуто.

² Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 277 и 277 об. (Копия).

³ Там же, л. 292 и 292 об. (Копия).

⁴ Там же, л. 293 (Копия).

мени и порядке отправления, а также и об арестантской одежде. Мне известно, что его светлость¹ приказал отправить Чернышевского завтра 20 Мая.

Анненков»².

М. В. Д.
Второй Департамент
С-Петербургской
Управы Благочиния.

Отделение
Следственное
Стол 2.

19 мая 1864 года.

№ 10781.

Получено 19 мая 1864 года.
Господину Коменданту
С-Петербургской крепости.

С-Петербургский Военный Генерал-Губернатор от 6 сего Мая за № 1264 дал знать Департаменту о Высочайше утвержденном мнении Государственного Совета, о бывшем Титулярном Советнике Николае Чернышевском, осужденном к ссылке в каторжную работу, с тем, чтобы Чернышевский был отправлен по назначению, из здешней крепости, в сопровождении двух жандармов.

Вследствие сего 2 Департамент в Управе Благочиния имеет честь уведомить Ваше Превосходительство, что для сопровождения Чернышевского в Тобольский Приказ о ссыльных назначены С-Петербургского Жандармского Дивизиона старший вахмистр Ион Ильин и рядовой Тимофей Горохов, которым и будет приказано за принятием Чернышевского явиться во вверенное Вам управление 20 сего Мая в 4 часа по полудни; независимо от сего 2 Департамент покорнейше просит Ваше Превосходительство почтить сей Департамент уведомлением, для доклада Санктпетербургскому Военному Генерал-Губернатору о времени отправки по назначению преступника Чернышевского, причем долгом считаю присовокупить, что одновременно во вверенное Вами Управление арестантской одежды Департамент сей снесся с командиром С-Петербургского Батальона Внутренней стражи 16 мая за № 10612.

За председателя (роспись)

Священник (роспись)

Начальник отделения (роспись)

И. д. столоначальника (роспись)³.

19 мая 1864 г.

№ 97.

С.-Петербургскому Военному
Генерал-Губернатору.

Р а п о р т

По принятому порядку отправление из крепости по назначению осужденных политических преступников всегда прежде производилось в зимнее время, когда смеркается, а потом по пробитии вечерней зори или рано утром.

Между тем 2-й Департамент Управы Благочиния от сего числа за № 1678 уведомил меня, что назначенным для сопровождения преступника Чернышевского в Тобольский приказ о ссыльных двум жандармам приказано явиться ко мне за принятием его завтра в 4 часа по полудни.

Донося о сем Вашей Светлости, покорнейше прошу почтить раз-

¹ СПб военный генерал-губернатор кн. А. А. Суворов.

² Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 298. Анненков Иван Васильевич— обер-полицеймейстер городской полиции, генерал-лейтенант.

³ Там же, л. 302 и 302 об.

решением, в какое время Чернышевский должен быть отправлен по назначению, тот час по прибытии жандармов, т. е. в 4 часа пополудни, или после пробития вечерней зори.

Подписал: Генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: Секретарь *Емельянов*¹.

19 мая 1864 г.
№ 98.

Управляющему 3 Отделением Собственной
Его Императорского Величества канцеля-
рии.

Родственники преступника Николая Чернышевского представили мне опись изготовленным для него вещам, просят разрешения об отправлении их вместе с Чернышевским в Тобольский приказ о ссыльных.

Препровождая при сем вышеупомянутую опись на усмотрение Вашего Превосходительства, покорнейше прошу с возвращением оной уведомить меня, можно ли дозволить Чернышевскому дать с собою означенные вещи.

Подписал комендант Генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: секретарь *Емельянов*².

Управление
Коменданта
С.-Петербургской
крепости.

В Канцелярию С.-Петербургского баталь-
она Внутренней службы.

Мая 19 дня 1864 года.
№ 189.

Канцелярия Коменданта С.-Петербургской крепости покорнейше просит таковую же С.-Петербургского батальона Внутренней стражи ускорить высылкой арестантских вещей для преступника Чернышевского, о доставлении которых в Комендантское Управление сообщено батальону Внутренней стражи 2 Департамента Управы Благочиния еще 19-го мая за № 10612.

Верно: секретарь *Емельянов*³.

Телеграмма

20 мая 1864 г., 1 ч. 10 м. по п.

В батальон внутренней стражи.

Немедленно доставить в Управление коменданта крепости арестантские вещи для преступника Чернышевского.

Секретарь *Денежкин*⁴.

М. В. Д.
Второй Департамент
С.-Петербургской
Управы Благочиния.

Получено 20 мая 1864 года.
Господину Коменданту
С.-Петербургской крепости.

Отделение
Следственное
Стол 2.

20 Мая 1864 года,
№ 10847.

2 Департамент Управы Благочиния в дополнение отношения своего от 19 сего Мая № 10781, имеет честь уведомить Ваше Превосхо-

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 303 и 303 об. (Копия).

² Там же, л. 304 (Копия).

³ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 305.

⁴ Там же, л. 322.

дительство, что для сопровождения преступника Николая Чернышевского. вместо рядового Горохова, назначен рядовой Александр Сироткин.

За председателя: (роспись)
Священник (роспись)
Начальник Отделения: (роспись)
И. д. Столоначальника: (роспись) ¹.

М. В. Д. Получено 20 мая 1864 года.
Второй Департамент Господину Коменданту
С-Петербургской С-Петербургской крепости.
Управы Благочиния.
Отделение
Следствен.
Стол 2.
20 Мая 1864 года
№ 10852.

В дополнение своего <письма> от 19 мая за № 10781, Второй Департамент Управы Благочиния имеет честь уведомить Ваше Превосходительство, что, вследствие распоряжения высшего начальства, для принятия бывшего Титулярного Советника Чернышевского, приказано явиться во вверенное Вам Управление С-Петербургского Жанлармского Дивизиона, старшему вахмистру Иону Ильину и рядовому Александру Сироткину не в 4 часа, а в 9 часов по полудни сего числа.

За председателя: (роспись)
Священник: (роспись)
Начальник Отделения: (роспись)
И. д. Столоначальника: (роспись) ².

М. В. Д. Получено 20 мая 1864 г. Срочное.
Санкт-Петербургского В Комендантское Управление
Губернского Правления С-Петербургской крепости.
Отделение 3.
Стол II.
20 мая 1864 года.
№ 5526.

Вследствие отношения Второго Департамента С-Петербургской Управы Благочиния от 20 мая за № 10846, Губернское Правление имеет честь препроводить при сем следующую по положению одежду для бывшего отставного Титулярного советника Николая Чернышевского.

За советника асессор: (роспись)
И. д. Столоначальника: (роспись) ³.

20 мая 1864 г. В С-Петербургское
№ 99. Губернское Правление.

Присланное при отношении губернского правления от сего числа за № 5526; арестантские вещи для преступника Чернышевского, именно халат суконный 1, рубаха 1, портов 1 пара, шапка суконная 1, ко-

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 310.

² Там же, л. 311.

³ Там же, л. 312.

тов 1 пара, онуч 1 пара и мешок 1, в Комендантское Управление получил.

Комендантское Управление уведомляет о сем, долгом считает присовокупить, что до сего времени, для отправления в Тобольский приказ о ссыльных преступников доставлялось рубах, подштанников и онуч не по одной, а по две смены, и кроме того рукавицы и зимние шаровары.

Подписал Плац-Майор Полковник *Кандауров*.

Верно: Секретарь *Емельянов*¹.

М. В. Д.
С-Петербургского
Губернского
Правления
Отделение 3.
20 Мая 1864 г.
№ 5555.

Получено 20 мая 1864 года.
В Комендантское Управление
С-Петербургской крепости.

В дополнение к отношению от сего числа за № 5526, Губернское Правление имеет честь препроводить при сем еще одну рубаху, одни подштанники и одну пару онуч, и кроме того рукавицы и зимние шаровары, прося о получении уведомить.

За Советника Ассессор (роспись).

И. д. Столоначальника: (роспись)².

21 мая 1864 г.
№ 106.

В С-Петербургское
Губернское Правление.

Присланные при отношении Губернского Правления от 20 сего мая за № 5555 дополнительные арестантские вещи на преступника Чернышевского, именно: одна рубашка, одни порты, одна пара суконных онуч и одна пара рукавиц с веригами в Управлении Коменданта С-Петербургской крепости получены.

Подписал: плац-майор, полковник *Кандауров*.

Верно: секретарь *Емельянов*³.

«Казенные арестантские вещи: шапку 1, рубахи 2, шаровары суконные 1, кафтан 1, котов 1 пару, портов 2, онуч 2 пары, рукавицы с веригами 1 пару и 1 мешок.

Далее на документе рукою Н. Г. Чернышевского.

«По сей записке вещи принял сполна.

Н. Чернышевский

20 Мая 1864 года»⁴.

20 Мая 1864 года.
№ 101.

В Тобольский. Приказ о ссыльных.

При отправлении 20-го сего мая в Тобольский приказ о ссыльных лишенного всех прав состояния преступника Николая Чернышевского, выданы ему казенные по сибирскому положению вещи, именно: шапка 1, рубах 2, шаровары суконные 1, кафтан 1, котов 1 пара, портов 2, одни сукон. и другие холщевые, онуч 2 пары, мешок 1 и рукавицы с веригами 1 пара.

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 313 и 313 об. (Копия).

² Там же, л. 314.

³ Там же, л. 315. Копия.

⁴ Там же, л. 320.

Кроме того с Чернышевским отправляются поименованные в прилагаемой при сем описи собственные его вещи в двух запечатанных чемоданах и одном открытом саквояже, а ровно деньги триста рублей серебром, которые сданы старшему вахмистру СПбского жандармского дивизиона Иону Ильину с тем, что он, по прибытии с Чернышевским на место, вещи и деньги сдал в Тобольский Приказ о ссыльных под надлежащую квитанцию.

Причем присовокупляю, что вахмистру Ильину разрешено производить из означенных денег расход на необходимые надобности по продовольствию преступника Чернышевского с тем, чтобы таковой расход был записанный в выданную ему тетрадь.

О получении вышеозначенных вещей и денег ожидается уведомление.

Подписал: Комендант, генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: секретарь *Емельянов*¹

Принадлежащая преступнику Чернышевскому казенные вещи: шапку, две рубахи, суконные шаровары, кафтан, коты, двое порток, две пары онуч, рукавицы с веригами, холщевый мешок, а также собственные его вещи в двух запечатанных чемоданах и саквояж, серебряные глухие часы и деньги триста рублей, получил

Вахмистр *Ион Ильин*.

Так равно получил и конверт в Тобольский Приказ о ссыльных за № 101.

Вахмистр *Ильин*.

20 мая 1864 г.²

Его Императорскому Величеству

Комендант С-Петербургской крепости

Р а п о р т

Содержащийся в С-Петербургской крепости Государственный преступник Николай Чернышевский по исполнении над ним Высочайше утвержденного Вашим Императорским Величеством мнения Государственного Совета сего числа с 10 часов по полудни отправлен в Тобольский Приказ о ссыльных с назначенными для сего жандармами.

Подписал: Генерал-Лейтенант *Сорокин*.

№ 102³ 20 мая 1864 года.

20 мая 1864 г.

№ 105.

Во 2-й Департамент С-Петербургской
Управы Благочиния.

Ответ на № 10781.

Государственный преступник Николай Чернышевский отправлен из крепости по назначению с командированными для сего жандармами 20 сего мая в 10 часов по полудни, в чем вместе с сим донесено СПбскому Военному Генерал-Губернатору.

Подписал: генерал-лейтенант *Сорокин*

Верно: Секретарь *Емельянов*⁴.

20 мая 1864 г.

№ 100.

Смотрителю Алексеевского рavelина.

Переведенного из Алексеевского рavelина на Главную Гауптвахту преступника Николая Чернышевского предписываю Вашему

¹ Там же, ф. 12280, оп. 5, ед. хр. 108, лл. 318 и 318 об., 319 (Копия).

² Там же, л. 321.

³ Там же, л. 317. (Копия).

⁴ Там же, л. 316 об. (Копия).

Высокоблагородию исключить из арестантских списков по рavelину и прекратить довольствие с 21 сего Мая.

Подписал: Комендант, генерал-лейтенант *Сорокин*.

Верно: Секретарь *Емельянов*¹.

Список арестантам, содержащимся в доме Алексеевского рavelина С-Петербургской крепости.

№ п/п	Звание, имя и фамилия	С которого времени содер.	Куда и когда убыли
1.	Коллежский секретарь Павел Ветошников	С 7 июля 1862 г.	Отправлен в СПб пере- сылную тюрьму 5 июня 1865 г.
2.	Титулярный советник Николай Чернышевский		Отправлен в Тобольский Приказ о ссыльных 20 мая 1864 г.
3.	Надворный советник Николай Серно-Соловьевич	С 14 июля 1862 г.	Отправлены в СПб пе- ресылную тюрьму 5 июня 1865 г.
4.	Почетный гражданин Николай Владимиров		С 16 июля 1862 г.
5.	Отставной штаб-капитан Николай Петровский	С 19 июля 1862 г.	Освобожден на поруки 5 июня 1864 г.
6.	Московский купец Иван Шебаев	С 22 июля 1862 г.	Отправлен в 3-е Отде- ление 1 августа 1862 г.
7.	Отставной инженер-капитан Михаил Авдеев	С 24 июля 1862 г.	Отправлен в 3-е Отде- ление 12 октября 1862 года.
8.	Репетитор Александровского кадетского корпуса Котля- ревский-Александр	С 27 июля 1862 г.	Отправлен к СПб обер- полицеймейстеру 13 мая 1865 г.
9.	Нахичеванский житель Михаил Налбандов	С 4 августа 1862 г.	Отдан на поручительство 12 марта 1863 года.
10.	Отставной штаб-капитан Олимпий Белозерский	С 7 августа 1862 г.	Умер 7 ноября 1863 г.
11.	Коллежский регистратор Андрей Нечипуренко	С 8 августа 1862 г.	Освобожден на поруки жены его 26 августа 1864 года.
12.	Коллежский ассессор маркиз Николай Де-Траверсе	С 20 августа 1862 г.	Освобожден на поруки 12 июня 1864 года.
13.	Коллежский регистратор Пимен Лялин	С 11 сентября 1862 г.	Переведены к С-Петербургскому обер- полицеймейстеру 31 декабря 1862 г. для отправления по назначению
14.	Учитель Полтавской гимназии Александр Стронин	С 12 сентября 1862 г.	Отдан на поручительство 12 марта 1863 года.
15.	Учитель Лубенского уездного училища Василий Шевич	С 11 октября 1862 г.	Отправлен в Динабург 3 мая 1863 г.
16.	Коллежский ассессор Николай Воронов	С 16 марта 1863 г.	
17.	Студент Медико-Хирургич- еской Академии Эдуард Шматович	С 15 апреля 1863 г.	Отправлен в Тобольский Приказ о ссыльных 7 декабря 1863 г.
18.	Мещанин Петр Алексеев Мартьянов		

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 108, л. 316 (Копия).

№№ п/п	Звание, имя фамилия	С которого времени содер.	Куда и когда убыли
19.	Отставной полковник Николай Васильев Шелгунов	С 15 апреля 1863 г.	Передан в С-Петер. Ордонанс-Гауз 24 ноября 1864 г.
20.	Штабс-капитан Охотского пехотного полка Наполеон Нваницкий	С 3 мая 1863 г.	Отправлены в г. Казань 4 июня.
21.	Студент Казанского Университета Жеманов	С 4 мая 1863 г.	
22.	Поручик 4-го Резервного батальона Охотского пехотного полка Александр Марчек.	С 10 мая 1863 г.	Отправлен в г. Казань 6 июня.
23.	Подпоручик 12 Артиллерийской бригады Кувязев		
24.	Бывший студент С-Петербургского Университета Михаил Вейде	С 14 мая 1863 г.	22 июня 1863 г. отправлен в Динабург
25.	Бывший студент Станислав Нздебский	С 18 мая 1863 г.	24 июня 1863 г. отправлен в Динабург
26.	Землемерный помощник Черниговской губернии Андрущенко Иван	С 2 апреля 1863 г.	Отправлен в 3 Отделение 4 декабря 1863 г.
27.	Оператор Черниговской врачебной управы Нос Степан	С 3 августа 1863 г.	Освобожден с отдачею под полицейский надзор 10 мая 1864 года ¹ .

¹ Там же, ф. 1280, оп. 5, ед. хр. 104, лл. 1 и 2.

ПИСЬМА И. А. ПИОТРОВСКОГО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Публикация и комментарии Б. Ф. Егорова, С. А. Рейсера

Игнатий Антонович Пиотровский (1842—1862)—демократический критик и публицист, сотрудник «Современника», участник студенческого революционного движения 1861 года. Чернышевский и Добролюбов оказали на него серьезное влияние. Пиотровскому принадлежит ценный в идейном и фактическом отношении некролог «Николай Александрович Добролюбов» («Иллюстрация», 1862, № 203, 18.1, стр. 33—34).

После двухмесячного заключения в тюрьме, куда Пиотровский был отправлен за участие в петербургской студенческой демонстрации 12 октября 1861 года, его материальное положение оказалось очень тяжелым: он задолжал разным лицам около 900 рублей. Не получив помощи от Литературного Фонда и редакции «Современника» (которой он уже был должен 500 руб.), Пиотровский застрелился 18 марта 1862 года.

До сих пор было дважды опубликовано лишь одно письмо Пиотровского к Чернышевскому от 8 ноября 1861 года, из тюрьмы («Каторга и ссылка», 1928, № 7(44), стр. 71; «Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие», т. III, М., 1930, стр. 664—665); но в рукописном отделе ИРЛИ хранится еще три письма Пиотровского 1861—1862 гг., в том числе предсмертное. В письмах содержатся важные сведения биографического и историко-журналистского характера.

Письма публикуются по подлинникам (ИРЛИ, ф. 8, ед. хр. 7).

1.

Июня 8 дня 1861 года.

Милостивый государь Николай Гаврилович.

Вчера я хотел зайти к Вам, но так как мне сказали, что Вы вчера и сегодня переезжаете¹, то я не решился беспокоить

Вас лично. Между тем лекции г. Спасовича² неволью принуждают меня поговорить с Вами. Прочитавши беседы Спасовича, я пришел к странному недоумению: мне решительно непонятны его идеи в уголовном праве, просто à la Ушинский или à la Панезица³. Вы говорили, что он любит народ, а он строит суды для него без народного представительства с *преобладающим* правительственным элементом; вооружается на русский народ, зачем он симпатизирует казнимым; едва ли не держится знаменитого кантового выражения: «наказание должно налагаться всегда, хотя бы с последним наказанным прекратился весь род человеческий»; ставит общественную пользу ниже отвлеченного понятия «правда» и т. д. — решительно трудно совместить все это с его именем. Я начал писать рецензию, *не стесняясь*, и желал бы знать Ваше мнение — хорошо ли это?⁴ Спасович, по-моему, вполне достоин самой едкой критики, как человек умный, авторитетный и одобряющий маленькие усовершенствования и постепенность. Не найдется ли у Вас, Николай Гаврилович, времени ответить мне на это письмо?

О еврейх — Берлина разбирать нечего, разве сделать маленькие выдержки⁵. Если у Вас есть книги, которые нужно разбирать, а Вы сами не будете их разбирать, известите меня, я постараюсь к Вам сейчас же явиться.

Вам всегда преданный И. Пиотровский.

Адрес мой: на В<асильевском> о<строве> по 5 линии между Большим и Средним, дом № 38, Зайцевой.

1. Это сообщение уточняет время переезда Чернышевского на новую квартиру, ранее относившееся к 20 мая (см. Н. М. Чернышевская, *Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского*, М., 1953, стр. 208).

2. Имеется в виду книга В. Д. Спасовича «О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством», СПб., 1861.

3. Имеется в виду книга «Западные европейцы и русские», доктора и ординарного профессора Панезица, М., 1860. Панезиц — псевдоним либерального профессора-медика и журналиста И. Я. Зацепина (ок. 1800 — 1865). На эту книгу «Современник» откликнулся рецензией М. А. Антоновича (1861, № 2, отд. II, стр. 281—290; без подписи).

4. В окончательном виде полемика со Спасовичем (почему-то без упоминания его имени; может быть, это сделал Чернышевский по тактическим соображениям?) была включена в текст статьи И. А. Пиотровского «Погоня за лучшим» («Современник», 1861, № 8, отд. II, стр. 259—260). Впоследствии в газете «Русский инвалид» Пиотровский критиковал Спасовича, уже прямо называя его (1862, № 8, 12.I, стр. 31).

5. Рецензия Пиотровского на книгу М. Берлина «Очерк этнографии еврейского народонаселения в России», СПб., 1861; опубликована: «Современник», 1861, № 8, отд. II, стр. 283—291.

2.

Многоуважаемый Николай Гаврилович. Положение мое весьма неутешительное: неприятностей выпало мне в это время не мало, нервы мои совершенно расстроены, я никуда

не выхожу, а в одиночестве они особенно пошаливают. Я удивляюсь еще, какими судьбами я еще не наделал огромных нелепостей... Мне во что бы то ни стало нужно или вырваться из этого состояния или пропасть. В таком состоянии я никуда не поеду. В голову лезет всякая дрянь и ни одной отрадной мысли. У меня нет теперь ни желаний трудиться, ни силы отогнать от себя разного рода безрассудные стремления, посреди которых я живу целые дни. Ужасно тяжело просить и просить, отвратительно даже, но все надеешься, что просишь не даром, что со временем отработаешь за эту помощь достойно. Что касается до денег, то об них я не забочусь: уехать бы мне только домой, я бы в три месяца успел воротить все теперь мною прожитое и не заработанное.

Представьте, пожалуйста, в комитет общества для вспоможения нуждающимся литераторам и ученым прилагаемое при сем письмо. Это единственное средство выйти мне из моего настоящего убийственного положения. Если бы вам понадобилось со мною поговорить по этому делу, вы меня можете застать ежедневно от 2—4 часов пополудни. Сам я не решусь к Вам ехать¹, потому что не помню, когда бы я с Вами у Вас на квартире был в состоянии поговорить толково.

Ваш истинно уважающий
И. Пиотровский.

Р. С. Для меня теперь каждая минута дорога: чем скорее можно мне узнать «да» или «нет», тем лучше. Нужно рубить сразу. Мучился я не мало.

1862 г. марта 6 дня.

1. По данным агентурных донесений Пиотровский был у Чернышевского в последний раз 1 января 1862 г. (См. А. А. Ш и л о в, Н. Г. Чернышевский в донесениях агентов III отделения. — «Красный архив», 1926, т. I (XIV), стр. 105).

3.

Марта 18 дня 1862 года. С.-Петербург.

Добрейший Николай Гаврилович.

Когда Вы получите это письмо, того, который так много надоедал Вам разными просьбами, не будет в живых. Не осуждайте и не жалеете. Годом раньше, годом позже, а я умер бы от негодности организма. Вся моя маленькая жизнь настроила меня на иной лад, чем настроила других. Идеал жизни меня преследовал повсюду. Я верил только в него, потому что более в ничто не мог верить в продолжение последних пяти лет моей жизни.

Людей я очень любил, но люди не подходили под то, чего я от них требовал. Моя болезнь и бессилие работать послужили мне горьким опытом разочарования. Я узнал, что лучшие и добрейшие представители современного движения помогают не от доброты, «а от неуменья отказать» (у меня есть

одно письмо, документ этих слов)¹. Искать нужно было много; звать нужно было на многое, а надеяться на успех было бы глупо и нелепо. Да, я убедился, что *все* мы любим

В роскошно убранной палате
Потолковать о бедном брате,
Погорячиться о добре....²

Прощайте; помните что Вас любил один человек, который робел в Вашем присутствии, не мог высказаться, которого и вы как будто чуждались, который любил вас от души. Прощайте, Николай Гаврилович.

Ваш И. Пиотровский

P. S. Одна последняя просьба. У меня, кроме известных Вам долгов, остаются еще другие. Нельзя ли издать мои статьи³ для покрытия их? Напишите об этом к моей тетке (ее высокородию Юлии Осиповне Каллиопиной в губ<ернский> гор<од> Могилев, в село Жуково). Может быть, совесть заставит ее хоть на этот раз быть благородною. Если же нет, не найдется ли издатель. Он должен будет заплатить мои долги. Неизвестных Вам вот сколько: хозяйке от 50 до 100 р.; Серно-Соловьевичу 100 р., В. Курочкину 25 р. Портному Нидермейеру 50 р. (оставшееся мое пальто может его удовлетворить вполне). В. Якушкину—77 р. Кухмистеру Сорокину 10 р. 52 к.; табашнику 2 р., итого от 264 р. до 373 р. сер<ебром>. Если хотите, возьмите мой серебряный—аплике револьвер, сказав, что я у Вас взял его пробовать его бой.

И. П.

P. P. S. Книги, подаренные мне Н. А. Добролюбовым, находятся у хозяйки. Возьмите их себе⁴.

Напишите к книге предисловие.

1. Пиотровский имеет в виду письмо Некрасова. (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. 10, М., 1952, стр. 467—468).

2. Цитата из стихотворения И. Аксакова «Добро б мечты» («Русская беседа», 1856, № 1 и анонимно в «Полярной звезде на 1859 г.», стр. 42—43. Пиотровский цитирует стихотворение по тексту «Полярной звезды»).

3. Издание не осуществилось.

4. Упоминание о книгах, которыми Добролюбов снабжал Пиотровского во время его заключения в крепости, см. в письме Пиотровского к Чернышевскому от 8.XI.1861 («Каторга и ссылка», 1928, № 7 (44), стр. 71).

С. А. РЕЙСЕР

НЕИЗДАННЫЙ ОТРЫВОК ВОСПОМИНАНИЙ А. А. СЛЕПЦОВА

1.

Фамилия провокатора, втершегося в доверие к Герцену и сообщившего III Отделению о выезде из Лондона в Россию в июле 1862 г. П. А. Ветошникова с письмами издателя «Колокола», долго оставалась неизвестной. Так называемый «процесс тридцати двух» был царскими властями хорошо законспирирован.

В 1923 г. во втором издании книги «Политические процессы в России 1860-х гг. (по архивным материалам)» М. К. Лемке в категорической форме написал: «Донес «гость» Герцена Г. Г. Перетц» (стр. 179).

Это утверждение никак не было обосновано, а существовавшее среди исследователей известное недоверие к методам работы Лемке помешало принять его сообщение.

Однако, еще за три года до того в оставшемся незамеченным примечании к «Полному собранию сочинений и писем» А. И. Герцена (т. XV, 1920, стр. 381) Лемке сообщил источник своих утверждений: «А. А. Слепцов—писал он—указал мне на позднейшие подозрения в отношении Перетца; это убеждение сложилось в 1866—67 гг., когда тот официально служил в 3-й экспедиции (разведочной и справочной) III Отделения, да и до того высказывалось многими, не исключая Герцена».

Последние слова Лемке неверны: у Герцена подозрения относительно Перетца если и возникали, то только для того, чтобы быть вскоре же отвергнутыми. 24 августа (5 сентября) 1862 г. он писал В. В. Стасову: «...наконец, я убедился, что перец чист <...>. В Петербурге Вы его непременно оправдайте» (А. И. Герцен. Собр. соч., т. XVII, кн. I, 1963, стр. 252).

Мы не знаем, кто именно помогал Герцену в «реабилитации» Перетца.

3(15) ноября В. И. Касаткин сообщал Герцену из Женевы:

«Из Петербурга пишут лаконически, что Перетц—шпион». («Литературное наследство», № 41—42, 1941, стр. 54). Но и этому сообщению Герцен не внял и не разоблачил негодяя.

2.

Биография предателя остается до сих пор не очень ясной. Разные ее стороны не сведены и даже не идентифицированы¹.

Сын декабриста Григория Абрамовича Перетца (1788 — 1855) и его первой жены—Марии Федоровны (урожд. баронессы Гревениц, ум. 1830)² Григорий Григорьевич Перетц родился 11 ноября 1823 г.³

В 1839 г. он окончил 2-ю Петербургскую гимназию⁴ и в 1840 г. поступил на 2-ое отделение философского (т. е. филологического) факультета Петербургского университета. Он оставил его на 3-м курсе (положение семьи было в это время очень тяжелое) и с августа 1843 г. служил в Комиссариатском департаменте военного министерства, но через год уволился: в «Адрес-календарях...» служба эта не отмечена.

С августа 1849 г. и до 28 февраля 1853 г. он учитель Главного инженерного училища. И эта служба в официальных справочниках не зафиксирована. В них значится, что в 1850, 1851 и 1852 гг. Перетц—тогда еще «неимеющий чина» преподаватель русского языка школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Затем—перерыв на несколько лет и в 1859, 1860 и 1861 гг. Перетц (уже коллежский асессор)—учитель строительного училища главного управления путей сообщения и публичных зданий, а в 1861, 1862 и 1863 гг.—надворный советник—учитель русского языка и литературы Мариинского института⁵.

¹ Ряд важных данных относительно предательской работы Перетца сообщен в недавней работе Н. Г. Розенблюма: «Г. Г. Перетц — агент III Отделения» («Литературное наследство», № 67, 1959, стр. 685—697).

² Вл. Н. и Л. Н. Перетц. Декабрист Григорий Абрамович Перетц. Биографический очерк. Документы. Л., 1926, стр. 17.

³ В «Петербургском некрополе» (т. III, стр. 385) указан 1812 г., это опечатка в книге или ошибка на могильном памятнике.

⁴ Здесь и далее использованы мои разыскания и данные статьи Б. Л. Модзалевского в «Русском биографическом словаре» (Том «Павел преподобный — Петр (Илейка)», СПб., 1902, стр. 521—522; эта статья основана, между прочим, на данных неизвестного ныне формулярного списка Г. Г. Перетца — список этот, однако, в важнейших пунктах явно фальсифицирован.

⁵ В статье Б. Л. Модзалевского данные несколько иные (1856—строительное училище, 1860 — 1862 — Мариинский институт, Школа подпрапорщиков и Технологический институт) — это дела не меняет. Ср. у А. Ф. Кони: «он был преподавателем русской словесности в институте и читал иногда бесцветно сентиментальные публичные лекции по литературе в зале нашей второй гимназии» («На жизненном пути», М., 1913, стр. 702). А. А. Шилов опубликовал донесение агента III Отделения, следившего за П. Л. Лавровым: по его словам, Перетц хотел в конце 1864 г. в «Комитете грамотности» читать публичную лекцию «О поэзии Некрасова по отношению к народности» («Материалы для биографии П. Л. Лаврова». Под ред. П. Витязева. Вып. I Изг., 1921, стр. 83 — 84).

С 1862 г. Перетц, по словам Б. Л. Модзалевского, «бросив службу, <...> отдался литературной деятельности, работая во многих тогдашних газетах и журналах, главным образом, по отделам библиографии и критики. Некоторое время заведовал внутренним отделом «Правительственного вестника», а затем сделался постоянным сотрудником «Голоса».

Все эти данные формально верны: подлинный смысл и второй план литературной деятельности Перетца оставался в начале XX в. прочно скрытым, а дочь Перетца А. Г. Бородинна (с ее слов отчасти написан очерк «Русского биографического словаря») не могла или не хотела раскрывать истинный характер работы своего отца.

На самом деле литературная работа Перетца началась гораздо раньше. В 1845 г. он под псевдонимом «Петр Штавер» издал в Петербурге небольшой (в 42 страницы) сборничек—«Стихотворения».

Перед нами — вялые эпигонско-романтические стишки, впрочем вполне грамотные, так сказать, на уровне рядовых сборников тех лет. Сборник вызвал сочувственный отклик (в шесть строк) в «Современнике» (1845, № 8) и отрицательный—в «Отечественных записках» (1845, № 7). «Все стихотворения г. Штавера—писал Белинский—довольно слабы, и если бы мы не предполагали их автора очень молодым, не стоило бы труда и говорить о них». Далее критик условно отмечал стихотворение «Желание».

Представляя теперь, кем стал Перетц,—трудно не обратить внимание на звучащее почти пророчески предупреждение Белинского: «Не покупайте любви людей изменою истине, уклончивостью и низостью...» Рецензент призывал Штавера стать если не поэтом, то человеком, «а это, право, стоит всякого поэта...»¹. Мы знаем, как осуществил Перетц этот искренний призыв великого критика! В 1902 г. можно было еще писать, что Перетц был «убежденным западником, ревностным поклонником Белинского и Герцена» (Б. Л. Модзалевский, назв. статья). В беседе с Кони в 1872 г. Перетц был откровеннее и четко формулировал свои взгляды—борьба с «заграничными негодаями», которых не следует щадить. (Кони, стр. 704).

Сборников стихов Перетц больше не выпускал, но в течение ряда лет сотрудничал в «Маяке», «Пантеоне», «Библиотеке для чтения» и других журналах стихами, статьями и переводами.

В качестве поэта и литератора, притом сына репрессированного правительством декабриста, Перетц легко смог проникнуть в 1862 г. в дом Герцена.

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IX, 1955, стр. 170—178: в примечаниях Ф. Я. Прийма, указал настоящую фамилию Штавера, но идентифицировать поэта с будущим агентом III Отделения не смог.

После 1862 г. след его служебной деятельности на некоторое время теряется.

Когда началась секретная служба Перетца,—сказать трудно. Н. Г. Розенблюм в названной выше статье опубликовал документы, из которых видно, что в второй половине 1863 г. Перетц пользовался уже полным доверием властей и был введен III Отделением, в качестве агента, в «Комитет грамотности» при «Вольном экономическом обществе» и играл там в течение ряда лет определенную роль¹. Надо полагать, что служба началась раньше: доверие надо было заслужить, особенно для работы за границей. Ведь основная его «специальность»—как сообщил в беседе с прокурором С.-Петербургского окружного суда А. Ф. Кони шеф жандармов П. А. Шувалов в конце 1872 г.—«заграничный агент по надзору за русской эмиграцией». «Мои главные занятия—за границей»—подтвердил Перетц через несколько дней в беседе с Кони («На жизненном пути», стр. 703—704).

П. А. Вадуев, со слов управляющего III Отделением А. Л. Потапова 2 мая 1862 г. записал в дневнике, что к Герцену отправлен секретный агент с разными статьями и условным знаком: «СБ» (сблизиться); вслед за П. А. Зайончковским мы считаем очень правдоподобным предположение, что это был именно Перетц². Право пароля—свидетельство степени доверия.

В порядке камуфляжа 23 августа 1862 г. он при возвращении в Россию по распоряжению III Отделения был в таможне обыскан (Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. XV, стр. 385).

Имя все возвышавшегося в чинах коллежского советника Перетца в «Адрес-календарях...» появляется лишь в 1870 г. В этом и следующих годах он значится сверхштатным чиновником особых поручений при министре внутренних дел—снова, конечно, форма прикрытия его подлинной работы. М. К. Лемке опубликовал документальные доказательства службы

¹ Указ. статья, стр. 691. Имя Перетца мелькает у Д. Д. Протопопова—«История С.-Петербургского комитета грамотности. 1861—1895», СПб., 1898. В книге рассказано, между прочим, как деятельность этого «Комитета...» вызвала пристальное и недоброжелательное отношение со стороны властей; становится понятным, что III Отделение поспешило обеспечить себе точную информацию о его делах. Из опубликованных Н. Г. Розенблюмом материалов видно, что в 1864 г. Перетц, по заданию властей, вошел в состав организовывавшегося, но так и не открытого «Общества женского труда» («Лит. наследство», стр. 694—696). Г. Г. Перетца не следует путать с его сводным братом, видным педагогом, тоже активным деятелем «Комитета грамотности» и «Общества дешевых квартир» Николаем Григорьевичем Перетцом (1846—1875), — человеком, ничем себя не запятнавшим.

² П. А. Вадуев. Дневник. Ред., введение биограф. очерк и комментарии П. А. Зайончковского. Т. Т. М., 1961, стр. 164, 384—385.

в это время Перетца именно в III Отделении (Герцен, т. XV, стр. 123).

Действительная служба Перетца впервые обозначена в 1876 г.—скрывать ее дальше было уже невозможно: в это время—он статский советник, чиновник III Отделения. В 1878 г. он—действительный статский советник, чиновник для особых поручений того же ведомства. Далее имя его исчезает: очевидно, он вышел в отставку после 33 лет «полезной деятельности»¹.

Умер Перетц 11 декабря 1883 г. («Петербургский некрополь», т. III, стр. 385). Смерть его прошла совершенно незамеченной—во всяком случае, ни в «С.-Петербургских ведомостях», ни в «Новом времени» ни в других изданиях не появилось ни некрологов, ни даже траурных объявлений, в то время почти обязательных.

3.

Известно, что Лемке настойчиво убеждал престарелого А. А. Слепцова писать мемуары. Часть Слепцов написал сам, некоторые записи, со слов мемуариста, принадлежат Лемке².

Недавно обнаруженный мною в архиве А. А. Слепцова в Гос. публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина документ позволяет внести кое-что новое в наши знания о Перетце и пополнить скудные фрагменты сохранившихся мемуаров бывшего землевольца.

Старческим, очень неразборчивым, почерком, может быть, незадолго до смерти (22 июня 1906 г.) Слепцов в привычной для него полукриптонимической манере набросал 14 строк воспоминаний.

Эти строки никогда бы не были полностью прочитаны, если бы не любезная помощь М. И. Маловой, Т. И. Бронь и других работников рукописного отдела ИРЛИ.

Воспроизводимая фотография дает представление о трудности чтения наброска.

Текст его таков:

¹ «Служба в министерстве, сопряженная с усиленными занятиями, вынудила Перетца выйти в отставку», сообщает Б. Л. Модзалевский в назв. выше статье.

² Попытка по возможности полно собрать и систематизировать сохранившиеся фрагменты сделана мною в статье: «Воспоминания А. А. Слепцова».—Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. 3. Изд-во Саратовского университета; 1962, стр. 249—282.

«Григорий Григорьевич Перетц—преподаватель у Ши<нрзб>го и <в> других учебных заведениях (по курсу рус<ской> сл<овесности>?). Когда играли в домашнем спектакле).

Вращался в кружке молодых людей, бывших со-трудников в Общ<естве> дешевых квартир А. П. Философовой. А. А. Рихтер уехал после 19 фев<ра-ля 18>61 г.).

Б<ыл> слух будто имеет сношения с III Отделе-нием, след<овательно> отшатнулись от него.

Прошло несколько лет. Коб<еко> управлял канц<еляри-ей> м<инистерства> ф<инансов>. У меня были дела о сбыт-чиках и подделывателях кредитных билетов за границей. По-надобилось доверенное лицо. Обратились к жандармерии, является Перетц уже официальным помощником стар<шего> чиновника III Отделения». (Фонд № 701, ед. хр. № 1)».

Прокомментируем некоторые места этого примечательно-го документа:

Домашний спектакль в зале Пассажа был сыгран 14 апреля 1860 г.—вот о каком времени говорит Слепцов в записи. Очевидно, у него возникли какие-то ассоциации в этой связи с Перетцом, вращавшимся в кругу литераторов и ученых—трудно сказать—по собственному интересу или уже по «по-ручению» властей: второе кажется более вероятным.

«Общество доставления дешевых квартир и других посо-бий нуждающимся жителям С.-Петербурга» было официаль-но утверждено 3 февраля 1861 г., но фактически начало функционировать несколько раньше¹.

Будущий государственный деятель и финансист, член об-щества «Земля и воля» Александр Александрович Рихтер (1837—1908), согласно данным Л. Ф. Пантелеева, с осени 1861 и по конец 1862 г. был мировым посредником в Самар-ской губернии; «вернулся он в Петербург, должно быть, в самом конце 1862». (Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. 1958, стр. 341). Конечно, именно этот отъезд и имеет в виду Слеп-цов. Сделанная в скобках запись имела для Слепцова значе-ние хронологического ориентира. Как видим, память ему не изменила.

Слова «Был слух...» и т. д. подтверждаются приведенны-ми выше строками из письма В. Касаткина Герцену.

Товарищ и соученик Слепцова по Александровскому ли-цею Дмитрий Фомич Кобеко (1837—1918) управлял канце-

¹ Очень редкий экземпляр устава общества сохранился в фондах Гос. публичной библиотеки. Ср.: А. П. Тыркова. Анна Павловна Философо-ва и ее время.— В «Сборнике памяти Анны Павловны Философовой», т. I, Пг., 1915, стр. 122—125.

лярией министерства финансов с 1 января 1865 и по 2 марта 1879 г. («Министерство финансов. 1802—1902», т. II, СПб., 1902, стр. 662). Эта справка разъясняет слова Слепцова — «прошло несколько лет» и поясняет, откуда в приведенной выше цитате из Лемке появилась дата—1866—1867.

Возвратившись из эмиграции, А. А. Слейцов возобновил государственную службу с 1868 г.

Имя его впервые появляется в «Адрес-календаре...» за 1870 г. (данные 1869 г.). Здесь он в чине коллежского асессора значится причисленным к государственной канцелярии. Эта должность остается за ним на многие годы, во всяком случае, на годы службы Кобеко в канцелярии министра финансов.

Очень соблазнительно отнести встречу Слепцова с Кобеко к делу, разбиравшемуся в 1869 г.,—о нем упоминает Кони (стр. 703). Это предположение подкрепляется рассказом Кони, что для беседы с ним (по аналогичному, но более позднему делу) из жандармского ведомства был командирован снова Перетц. Очевидно, он был признанным «специалистом» по делам, связанным с подделками ассигнаций, в частности, с тянувшимися за границу нитями. Вероятно, со слов дочери Перетца—А. Г. Бородиной—Б. Л. Модзалевский сообщает, что Перетц «несколько раз был командирован за границу для изучения вопроса о подделывании наших ассигнаций» (цит. выше статья, стр. 522). Можно не сомневаться, что цели поездок этим не ограничивались.

И. В. ПОРОХ

ИЗ ЦЕНЗУРНОЙ ИСТОРИИ «ВОСПОМИНАНИЙ» П. Ф. НИКОЛАЕВА О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ

В мемуарной литературе о Чернышевском воспоминаниям П. Ф. Николаева принадлежит видное место. Автор их — человек незаурядных способностей и исключительной наблюдательности, 22-летним юношей был осужден за причастность к делу Каракозова на 8 лет каторги и ссылки. Почти пять лет (с 22 апреля 1867—по 7 декабря 1871 г.) провел П. Ф. Николаев бок о бок с Чернышевским на Александровском заводе. Его личные впечатления и легли в основу «Воспоминаний о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге».

Впервые «Воспоминания» П. Ф. Николаева увидели свет в 1906 г., когда революционная борьба в стране несколько ослабила цензурные притеснения. Вышли они отдельным изданием в Москве под названием «Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского на каторге»¹. Однако имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют установить, что «Воспоминания» были написаны, видимо, в самом начале 1890 г. и явились таким образом своеобразным откликом на смерть Чернышевского. Поскольку творческая и цензурная история мемуаров П. Ф. Николаева до сих пор не известна, значительный интерес представляет найденный нами в Ленинградском государственном архиве доклад цензора П. Матвеева, проливающий свет на нее. Приведем целиком этот любопытный документ.

«Доклад цензора Матвеева о рукописи Д. М. «Воспоминания о Н. Г. Чернышевском».

Издатель-редактор «Русской старины» Семевский представил для предварительного цензурного рассмотрения вы-

¹ См.: Г. Ф. Самосюк. Вводная статья к «Воспоминаниям» в сборнике «Чернышевский в воспоминаниях современников», Саратов, т. II, 1959, стр. 151—152.

шеозначенную рукопись, предназначенную им для напечатания в одной из книжек этого журнала.

Автор этих «Воспоминаний» политический ссыльный, прошедший 5 лет (с 1867 по 1872 г.) с Чернышевским в Сибирском остроге, Нерчинского округа, изображает личность, идеи и взгляды последнего в тоне восторженного поклонения, выставляя его в качестве не только в высшей степени симпатичного человека и мученика за убеждения, но и вождя русской молодежи и мысли, неотразимо привлекавшего к себе чистые сердца, не исключая самых простых людей, с которыми его сводил случай во время ссылки. Эпиграф к этим воспоминаниям гласит:

«Кто знал его, забыть не может;
Тоска по нём грызет и гложет,
И часто мысль туда летит,
Где гордый мученик зарыт»¹.

В заключение своих воспоминаний автор говорит: «Н. Г. (Николай Гаврилович Чернышевский) оставил в нашей литературе достаточно глубокий след, но только немногие близко знавшие его люди, могли знать, какой след он мог бы оставить и какое сердце билось в его груди. Они до седых волос, до могилы помнят будут

Какой светильник разума угас,
Какое сердце биться перестало!»

Все эти воспоминания от начала до конца представляют восторженный дифирамб как личности, так и учения Чернышевского без всякой критики вредных сторон его учения. Чернышевский был истинный демократ, проповедник правды, истины, света просвещения, настоящей науки, почти пророк и т. д., говорит автор. Последний горячий почитатель и поклонник известных идей, отраженных в романе «Что делать?» Он рассказывает, что Чернышевский, пользуясь невольным досугом острога, с большим талантом проводил те же идеи в самых разнообразных формах, и передает содержание никогда не появлявшейся в печати драмы под заглавием «Другим нельзя»², в которой проводится доктрина свободной внебрачной любви, возможной и законной для высших представителей интеллигенции, людей, одаренных возвышенным гражданским чувством.

Содержание повести Чернышевского «Тихий глас»³, написанной на ту же тему, то есть с тенденцией отрицания обяза-

¹ Эпиграф взят из поэмы Некрасова «Несчастные».

² Опубликовано впервые в 1906 г. в X томе Полного собрания сочинения Н. Г. Чернышевского под названием «Драма без развязки».

³ Впервые напечатана в том же томе названного издания под заглавием «Тихий глас». В настоящее время известна под названием «История одной девушки». См.: Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XIII, М., 1949.

тельности брака ради пропаганды новых условий семейной жизни, указанных в романе «Что делать?», вызывает восторженный поклон автора «воспоминаний», очевидно их разделяющего.

В виду вышеизложенного содержания и направления настоящей рукописи, я нахожу ее безусловно не удобной для печати с цензурной точки зрения и притом в виду общего ее духа и направления полагаю, что «Воспоминания» эти даже оцензурены быть не могут, ибо исключение некоторых мест из них не может обезвредить идей и несовместна с нашими законами о печати пропаганда учения Чернышевского, осужденного правительственной властью. Посему я полагаю, что предлагаемая рукопись подлежит безусловному запрещению. Цензор П. Матвеев».

Нельзя сказать, чтобы литературно отзыв П. Матвеева был написан безупречно. Но автор его верно уловил политическую направленность «Воспоминаний». Ценность отзыва П. Матвеева как исторического документа состоит в признании опасности для царизма пропаганды идей Чернышевского. Даже мертвый автор «Что делать?» пугал цензуру своим революционным воздействием, могучей проповедью борьбы и социалистических преобразований, раздающейся со страниц его произведений.

Видимо, П. Ф. Николаев, опасаясь, что под своим именем ему не удастся напечатать «Воспоминания», поскольку он находился под полицейским надзором, скрылся за криптонимами «Д. М.». Но и это не помогло. 30 мая 1890 г. Цензурный комитет принял решение: «Признать «Воспоминания» безусловно подлежащими запрещению¹. Так на 16 лет была задержана публикация «Воспоминаний» П. Ф. Николаева о Чернышевском.

¹ ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, ед. хр. 65, часть II, лл. 7, 7 об. и 8.

Н. М. ЧЕРНЫШЕВСКАЯ

У ИСТОКОВ

(К истории создания Дома-музея Н. Г. Чернышевского)

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла с собой не только ломку вековых устоев капиталистического строя, но и духовное обновление многомиллионных масс. Достижения лучших умов человечества стали достоянием народа.

Дом-музей Н. Г. Чернышевского—одно из первых детищ Великой Октябрьской социалистической революции. Он был создан и укреплен по слову В. И. Ленина, который с юных лет читал Чернышевского.

«До знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова главное, подавляющее влияние имел на меня только Чернышевский, и началось оно с «Что делать?»,—рассказывал В. И. Ленин¹.

Дом-музей существует уже почти 46 лет. У нас имеются исследования культурной жизни города Саратова. Но до сих пор оставались под спудом многие неизданные архивные материалы по истории музея Н. Г. Чернышевского. На основании этих неизданных и забытых материалов, сохраняющихся частично в архивах города и музея, частично в личной переписке семьи Чернышевского, автор данного очерка, как первый научный сотрудник музея, вошедший в его штаты, утвержденный при В. И. Ленине в 1921 году, а затем работающий в музее по настоящее время, счел необходимым внести свой посильный вклад и в саратовское краеведение, и в историю культурного строительства нашей Родины.

Настоящая статья является извлечением из очерка охватывающего первое семилетие существования Дома-музея с 1918 по 1924 гг., то есть период, когда музей создавался и развивался при жизни В. И. Ленина; когда его основателем,

¹ «Вопросы литературы», 1957. № 8, стр. 134.

организатором и первым заведующим был младший сын Н. Г. Чернышевского Михаил Николаевич, скончавшийся в 1924 г.

В марте 1918 года М. Н. Чернышевский передал в народное достояние дом своего отца. В докладной записке Наркомпо по просвещению А. В. Луначарскому было сказано:

«Говорить о значении Чернышевского в деле проаганды идей о свободе народа не приходится—это громкое славное имя достаточно известно, как своими литературными трудами, так и своей злосчастной судьбой. Неумолимая месть царского произвола не только разбила жизнь великого писателя в зените его славы, но и принимала все меры к тому, чтобы даже само имя Чернышевского было стертó со скрижалей литературы. Сорок с лишним лет имя Чернышевского было запрещено в печати, и только за последние 10—12 лет можно было приступить к полному выяснению личности этого глубокого мыслителя, стоящего в первых рядах борцов за свободу народа. Заслуги его перед народом громадны, и долг народа отплатить ему добром за добро. Память его должна быть увековечена.

В таких случаях принято ставить достойным людям памятники и сохранять в назидание благородному потомству все его реликвии, все принадлежащие ему при жизни вещи, все его достояние. К числу такого достояния принадлежит небольшой дом, в котором он родился и жил в молодости. Этот дом находится на его родине в Саратове, где отец его был священником. Предки Чернышевского крестьянского происхождения и родом из села Чернышева Пензенской губ. От имени этого села произошла и самая фамилия Чернышевских.

Дом Чернышевского в Саратове (на углу Б. Сергиевской и Гимназической ул.) представляет небольшое одноэтажное здание с мезонином, всего лишь из пяти комнат внизу и одной комнаты наверху в мезонине. Эта последняя комната, с балкончиком, выходящим на Волгу (дом стоит на высоком берегу Волги), и была комнатой Чернышевского. В настоящее время этот домик принадлежит сыну Чернышевского, издателю его сочинений, человеку, свято чтущему память своего великого отца и посвятившему всю свою жизнь на соби́рание и хранение всех материалов, имеющих отношение к жизни Чернышевского. Конечно, в числе реликвий Чернышевского должен быть сохранен во всей своей неприкосновенности и этот до

м. При этом необходимо иметь в виду следующие обстоятельства. Дом этот деревянный и оштукатуренный и был выстроен около ста лет тому назад. За последние 10—15 лет несколько раз поднимался вопрос о капитальном ремонте этого дома для поддержания возможности сохранить его

на будущее время. Осматривавшие дом архитекторы приходили к выводу, что без перемены основных балок и вообще крупного ремонта обойтись невозможно, и что на это придется затратить (даже в то время) не менее 6000 руб. Обремененному большой семьей сыну Чернышевского такой расход был не по средствам, и капитальный ремонт дома все откладывался, а дом приходил все в большее запустение. Если его оставить в таком виде и дальше, то через несколько лет ему будет грозить полное разрушение.

Таким образом, первую заботу об этом доме должен быть вопрос о средствах для самого полного серьезного ремонта, при помощи которого можно было бы быть уверенным в сохранности этой реликвии для потомства.

По приведении дома в полную исправность, было бы уместным и желательным использовать его для какой-нибудь просветительной цели—для народного образования. Небольшие размеры дома не дают возможности поместить в нем более или менее обширное учреждение, а потому наиболее подходящим является устройство в нем, например, небольшой народной читальни-музея имени Чернышевского, в котором были бы собраны разные портреты, книги и вещи как самого Чернышевского, так и имеющие к нему отношение¹.

Признавая за домом Чернышевского, как исторической ценностью, общегосударственное значение, сын Чернышевского Михаил Николаевич Чернышевский передает этот дом и все дворовое место со всеми постройками в руки народного правительства с тем, что кроме отпуска денежных средств, необходимых для приведения дома в полный порядок, две комнаты и дворовый флигель будут предоставлены в пожизненное пользование для тех членов семьи Чернышевского, которые возьмут на себя присмотр и управление передаваемым народом имуществом.

¹ Всего Михаилом Николаевичем было подарено вместе с домом 11 картонок; 40 папок и несколько ящиков, куда вошли семейные документы начиная с конца 18-го века, детские ученические рукописи Н. Г. Чернышевского 1835—1842 гг., его семинарские работы 1842—1845, университетские лекции, дневники, письма, подлинные портреты (дагерротипы и фотографии) как Чернышевского, так и его семейного и общественного окружения, мебель, вещи-реликвии Н. Г., О. С. и Г. И. Чернышевских, книги из личной библиотеки писателя, обширное собрание журнальных статей и газетных вырезок за 1854—1923, рукопись библиографического указателя, составленного М. Н. Чернышевским по 1923 год, папки с высококачественными негативами его работы и материалы по изданию полного собрания сочинений 1906 г., в том числе личный экземпляр М. Н. Чернышевского с нанесенными его рукой вставками для будущего советского издания. (См. Архив М. Н. Чернышевского, ОФ Дома-музея, ед. хр. 523 и 527 и отчет с 1 июля 1920 г. № 2, ед. хр. 497). К этому собранию прибавились работы М. Н. Чернышевского по расшифровке дневников и подготовке к печати новооткрытых произведений отца из тайников Петропавловской крепости. См. примечание на стр. 257.

Кроме того, М. Н. Чернышевский желал бы принять непосредственное участие в вопросе о ремонте дома и в устройстве читальни-музея.

Мих. Чернышевский. 26/III-1918 г.»¹.

Советское правительство сейчас же отозвалось на записку сына Чернышевского. Он был приглашен к А. В. Луначарскому и имел с ним несколько бесед, во время которых рассказал все: и о своей поездке мальчиком к отцу в Кадаю, и о сбережении им рукописей, корректур, писем и личных книг Чернышевского, и о своей работе по сохранению всего этого наследия в то время, когда имя отца было запрещено в царской России. Михаил Николаевич рассказал и о несчастье с полным собранием сочинений Чернышевского, предпринятым в 1905 году в долг и павшим тяжелым бременем на семью. В. И. Ленину уже было известно в это время от В. Д. Бонч-Бруевича, как тормозилось дело с распространением полного собрания сочинений Николая Гавриловича: еще с 1914 года большевики помогали сыну Чернышевского распродавать это издание через книжный склад «Жизнь и знание», организованный В. Д. Бонч-Бруевичем по прямому указанию В. И. Ленина.

Подробно ознакомившись с работой М. Н. Чернышевского, посвященной и хранению, и собиранию, и изданию сочинений Н. Г. Чернышевского, В. И. Ленин поручил наградить его за все и поддержать материально в условиях жестокого петроградского голода.

26 марта 1918 г. от Народного Комиссара по заведованию Дворцами и Музеями Республики было выдано удостоверение на оплату М. Н. Чернышевскому «научно-литературного труда по капитальному изданию трудов его отца» пять тысяч рублей золотом за подписью Луначарского².

Советским правительством было национализировано полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского, изданное М. Н. Чернышевским в 1906 г. После этого титульный лист этого издания вообще и VII тома в отдельности был заменен с указанием издания Народным Комиссариатом Просвещения. Некоторые библиографы и историки Н. Г. Чернышевского приняли этот факт как новое издание его сочинений.

Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского в издании Михаила Николаевича после Октябрьской революции стояло, по словам Надежды Константиновны Крупской «в Кремле, в кабинете Владимира Ильича, в числе тех авторов,

¹ Сб. «Звенья» № 8, 1950, стр. 591—592. Текст записки приводится нами целиком с публикации, сделанной по копии-автографу, хранившемуся в Доме-музее Н. Г. Чернышевского до 1941 г., Подлинник находится в ЦГАОР, ф. 2606 Наркомпроса, оп. № 2, л. 167.

² Подлинник этого документа хранится в ЦГАЛИ., ф. № 1, оп. № 2. ед. хр. 683.

которых он хотел иметь постоянно под руками, наряду с Марксом, Энгельсом и Плехановым»¹.

Передача дома Чернышевского народу для устройства музея состоялась в пору, когда целый ряд мероприятий Советского государства был направлен к изъятию из забвения его имени и увековечению его памяти.

Декрет Совета Народных Комиссаров «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции» от 15 апреля 1918 года предписывал создание особой комиссии из Народных комиссаров просвещения и имуществ Республики и Заведующего отделом изобразительных искусств при Наркомпросе. Совместно с художественной коллегией Москвы и Ленинграда комиссии было поручено определить, какие именно памятники подлежат снятию, а затем организовать широкий конкурс по выработке проектов памятников для ознаменования Российской социалистической революции. Было предложено, чтобы в день 1 мая были уже сняты «наиболее уродливые истуканы» и было подготовлено украшение города, включая переименование улиц, замену гербов и т. п. новыми, отражающими идеи и чувства революционной трудовой России².

Этот декрет имел ближайшее отношение к замене на родине Чернышевского памятника Александру II первым памятником великому саратовцу.

30 июля 1918 г. Совет Народных Комиссаров рассмотрел проект списка памятников великих деятелей социализма и революции, составленный Наркомпросом. Список был утвержден с некоторыми исправлениями и опубликован 2 августа. В числе 66 имен мы встречаем здесь имя Чернышевского³.

В воскресенье 17 ноября 1918 г. в 12 часов дня в Петрограде на Сенатской площади состоялось торжественное открытие первого памятника Н. Г. Чернышевскому работы Залкалнса. На торжество были приглашены Комиссары союза коммун северной области, члены Петроградского Совета, представители районных и рабочих, профессиональных и культурно-просветительных организаций, а также делегации от ученых и учебных учреждений и обществ. С речью должен был выступить А. В. Луначарский. Почетные караулы Крас-

¹ Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. Гослитиздат 1931, стр. 180—186. Цит. по книге: «В. И. Ленин о литературе и искусстве». Гослитиздат, М., 1957, стр. 559.

² Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. № 31, 15 (2) апреля 1918 г., стр. 391. Цит. по: «Приложения» к сборн. «В. И. Ленин о литературе и искусстве». Гослитиздат, М., 1957, стр. 517. Список с именем Чернышевского, стр. 521.

³ «Известия», 1918, 2 августа.

ного флота и Красной Армии со знаменами и оркестрами украшали площадь¹.

24 ноября 1918 г. было опубликовано за подписью народного комиссара А. Луначарского и правительственного комиссара литературно-издательского отдела П. И. Лебедева-Полянского постановление государственной комиссии по народному просвещению о монополизации на 5 лет изданий сочинений русских писателей, в том числе Н. Г. Чернышевского. Это постановление явилось результатом большой подготовительной работы, выдвинутой на очередь декретом о Государственном издательстве Центрального Исполнительного комитета Советов Рабочих Солдатских и Крестьянских Депутатов 20 декабря 1917 года².

Вот почему к М. Н. Чернышевскому обратились из Наркомпроса—П. И. Лебедев-Полянский, из Архива Революции—П. Е. Щеголев, из Пушкинского Дома—проф. Н. А. Котляревский, и образовалось как бы организационное ядро по подготовке новооткрытых и прежних текстов Чернышевского к печати. Это дело претерпело несколько стадий своего развития и закончилось под руководством П. И. Лебедева-Полянского изданием нового полного собрания сочинений великого писателя-революционера (1939—1953 гг.) в 16 томах уже после смерти М. Н. Чернышевского.

«В первые годы после Октябрьской революции по поводу подобного издания я несколько раз говорил с Михаилом Николаевичем,—писал П. И. Лебедев-Полянский в 1935 г., — но всякие обстоятельства не дали возможности приступить к этому большому делу издания сочинений Чернышевского. Теперь эту задачу мы должны разрешить не только хорошо, но по возможности в короткий срок, конечно относительно короткий...»³.

9 июля 1918 г. Михаил Николаевич записывает в своем дневнике: «Сейчас получил от Нестора Александровича⁴ целую кипу (фунтов около 20) рукописей Чернышевского. Это те работы, которыми он занимался в крепости (1863) и посылал на имя Некрасова. Сорокин⁵ направлял их в III Отделение, а то запрашивало отзыв Цензуры и затем оставляло у себя и рукописи и отзывы. Эти рукописи составляют приложение к тому делу III отделения, которое я уже переписал. Сегодня за недосугом я лишь бегло перелистал рукописи и заметил там начало «Что делать?» (вероятно первоначальный черновик), Алферьев, Повести в Повести, несколько

¹ Объявления о предстоящем открытии — «Красная газета», 1918. № 248, 16 ноября; «Северная Коммуна», 1918, 17 ноября.

² «Известия», 1918, 24 ноября. № 33.

³ Письмо к Н. М. Чернышевской от 23 сентября 1935 г. из редакции русских классиков Гослитиздата.

⁴ Директора Пушкинского Дома проф. Н. А. Котляревского.

⁵ Комендант Петропавловской крепости.

мелких рассказов, переводы и проч. Думаю, что в мелких рассказах должно быть не мало автобиографического. Часть рукописей написана тем же скорописным способом, как и дневники, придется дошифровать. Не знаю, успею ли. Кроме рукописей имеются две объемистые записки (одна цензуры, другая III Отделения) ...Записка «Литературные тенденции Г-на Чернышевского» представляют собою тот неофициальный и не оглашенный нигде, как секретный документ, обвинительный акт, на основании которого Чернышевский был осужден. Подложное письмо Вс. Костомарова было лишь формальной уликою, а настоящим, несомненно самым существенным поводом к обвинению была эта записка, составленная, как видно из пометки Потапова, тем же Всеволодом Костомаровым.

«Эта записка—ядро всего дела Чернышевского, самый важный документ из всего дела, сохранявшийся в самой стражайшей тайне»,—пишет М. Н. Чернышевский¹.

К концу 1918 года Михаилом Николаевичем были сняты копии с новых материалов о Н. Г. Чернышевском, разобранных им в 1917—1918 годах. Из его записей видно, что сюда вошло Дело III Отделения 1862—1880 гг., донесения агентов III отделения, письма задержанные III отделением («дополнительный 4-й том к Сибирской переписке»—так пишет о нем Михаил Николаевич), Автобиография, «Повести в Повести», несколько вариантов предисловия к этому роману и многое другое. По подсчету Михаила Николаевича, это составляло 70 печатных листов. 23 декабря 1918 года он пишет, что ему осталось переписать «Повести в Повести», это требовало около месяца работы².

С 1918 по 1924 гг. Михаил Николаевич держал постоянную связь с П. Е. Щеголевым, назначенным после революции директором Историко-революционного Архива в Петро-

¹ Дневники М. Н. Чернышевского. Архив Дома-музея, фонд М. Н. Чернышевского, ед. хр. 529/2, л. 10, 10 об.

² Дневник М. Н. Чернышевского, 1918. Архив Дома-музея, ОФ, ед. хр. 529/2, л. 11. Из подготовленных к печати рукописных работ М. Н. Чернышевского (материалов об отце, скопированных и прокомментированных), в основном фонде Дома-музея хранятся: «Дело департамента полиции о Н. Г. Чернышевском 1862—1881» на 253 лл., ед. хр. 546; «Шпионская слежка за Н. Г. Чернышевским перед его арестом в 1862 г.» на 180 лл., ед. хр. 545; копии писем Н. Г. Чернышевского из Сибири (12 писем, задержанных III Отделением) 1875—1878 на 255 лл., ед. хр. 554; копии писем Н. Г. Чернышевского из Сибири 1865—1883 гг. на 1060 лл., ед. хр. 557—569; переписка Н. Г. Чернышевского с родными 1883—1889 гг. на 1147 лл., ед. хр. 570—576; «К материалам для биографии Н. Г. Чернышевского. 1862—1864». Выписки из писем Е. Н., П. Н., А. Н. и С. Н. Пыпиных... на 31 лл., ед. хр. 548; Мелкие рассказы Н. Г. Чернышевского. На 134 лл., ед. хр. 585; две редакции и «Автобиографии» Н. Г. Чернышевского на 236 и 155 лл., ед. хр. 550—551 и др. См. также отчет № 2 о деятельности Музея памяти Н. Г. Чернышевского с 1 июля 1920 г. Архив Дома-музея, ОФ, ед. хр. 497 на 2 лл.

граде (в здании Сената). Начинаясь подготовка нового полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского под редакцией Щеголева. Последний информировал Михаила Николаевича о положении дела и договорился с ним о расшифровке еще неизданных дневников Н. Г. Чернышевского. Эту работу М. Н. Чернышевский проводил в саратовском музее при свете мигалки в самых неблагоприятных условиях, но довел ее до конца¹.

Постановление 24 ноября 1918 г. также привлекло внимание к строительству Дома-музея Н. Г. Чернышевского в Саратове, как хранилища его ценного наследия, и сразу открыло все двери основателю музея в Наркомпросе, а оттуда—в Совет Народных Комиссаров.

В. И. Ленин проявил большой интерес к делу создания музея Н. Г. Чернышевского, Об этом свидетельствует прежде всего беседа Владимира Ильича с заместителем А. В. Луначарского П. И. Лебедевым-Полянским в конце 1918 года. Они говорили об издании русских классиков. Когда зашла речь о Чернышевском, Ленин сказал:

— А вы, знаете, Михаил Николаевич, сын Чернышевского, организует в Саратове музей, где будут собраны рукописи, фотографии и т. п. Хорошее дело, надо всячески помогать. Скажите Луначарскому².

Прежде, чем описывать историю создания Дома-музея в Саратове, следует сказать о человеке, с которым больше всего пришлось иметь дело Михаилу Николаевичу Чернышевскому как с представителем государственной власти по делам музея. Я имею в виду Анатолия Васильевича Луначарского. Из записей Михаила Николаевича видно, что между ними состоялось несколько встреч в Петрограде в восемнадцатом году, когда А. В. Луначарский принимал посетителей у себя на квартире в Манежном переулке недалеко от Литейного, в Зимнем дворце и Комиссариате Просвещения, а затем—в Москве. По меткому определению К. И. Чуковского, восемнадцатый год—это «гражданская война, контрреволюционные заговоры, интервенция иностранных держав, изнемогающий от лютого голода Питер и злостный саботаж так называемых мастеров и подмастерьев!—культуры»³.

¹ В архиве Дома-музея сохраняются рукописи М. Н. Чернышевского, являющиеся оригиналами расшифрованных им дневников отца за 1848, 1849, 1850—1851 и 1853 гг. на 1248 лл., ед. хр. 535, 536, 538, 539—540. К ним присоединены заметки, выписки и фото страниц, писанных стенограммой. Дневники в расшифровке М. Н. Чернышевского впервые были опубликованы после его смерти в I томе «Литературного наследия» (М., 1928), за исключением 1853 г., появившегося в издании сочинений 1906 г.

² См.: Б. Яковлев. Критик-боец (О П. И. Лебедеве-Полянском). Госполитиздат, М., 1960, с. 14—15.

³ Корней Чуковский. Современники... М., 1962, стр. 419.

К. И. Чуковский, вспоминая о саботаже чиновников всех ведомств в 1918 году, продолжает:

«Поэтому Анатолий Васильевич с величайшей радостью, шумно и дружелюбно встречал тех интеллигентов, очень редких в ту раннюю пору, которые считали своим долгом трудиться при новом режиме. В этом заключалась одна из главных политических задач Луначарского: в кратчайший срок привлечь наиболее жизнеспособные силы старой интеллигенции, чтобы она, преодолев кастовые свои предрассудки, стала служить новому строю не за страх, а за совесть. Анатолий Васильевич был словно создан для блистательного выполнения этой задачи, ибо он хорошо понимал, что построение новой культуры возможно лишь на фундаменте старой, и сам тысячью нитей был связан с этой старой культурой, знал и благоговейно любил бессмертные ее достижения»¹.

У Луначарского К. И. Чуковский встречался с Михаилом Николаевичем Чернышевским².

Сказать, что А. В. Луначарский принял из рук сына Чернышевского докладную записку о создании Музея Чернышевского как официальное лицо, стоявшее во главе культурного строительства нашей станы,—слишком мало. А. В. Луначарский тщательно и глубоко изучал Чернышевского еще с молодых лет по первому полному собранию его сочинений, изданному М. Н. Чернышевским в 1906 г. В 1921 году он читал лекции по истории литературы в Московском Военно-Педагогическом институте. В это время там учился будущий выдающийся писатель Татарии Кави Наджми. В библиотеке института слушатели А. В. Луначарского нашли 10 томов полного собрания сочинений 1906 г., о котором А. В. Луначарский рассказывал: это издание увидело свет лишь благодаря революции 1905 года. «Эти десять томов ходили из рук в руки,—пишет Кави Наджми,—все слушатели горели желанием быстрее прочитать их. Кто-то внес предложение организовать по вечерам громкую читку романов «Что делать?» и «Пролог»³.

Лекции Луначарского навсегда поселили в душах слушателей горячую любовь к памяти Чернышевского и изучению его литературного наследия. «...Нам, собравшимся сюда с разных концов великой страны Советов, с оружием в руках защищавшим свободу и независимость своих народов от нападений извне и внутренней контрреволюции, особенно близки и дороги были образы Рахметова, Кирсанова, Лопухова, Веры Павловны из романа «Что делать?»—пишет Кави Над-

¹ Корней Чуковский, *Современники...* М., 1962, стр. 420.

² Письмо к Н. М. Чернышевской от 18 декабря 1959.

³ Письмо к Н. М. Чернышевской от 7 июня 1953 г.

жми.—На долю нашего поколения выпала честь претворять в жизнь лучшие их идеалы и надежды»¹.

Надежда Константиновна Крупская вспоминает, что огнем своего энтузиазма А. В. Луначарский умел зажигать людей. Он воодушевлял всех работников Наркомата, «потому что работать в боевой обстановке, в какой приходилось тогда работать, можно было только тогда, когда чувствовали, что в Наркомате есть человек, который воодушевляет, который ведет, который знает, куда надо идти... За все время работы Анатолия Васильевича заседания коллегии были чрезвычайно интересны... Приходилось работать среди самых разнообразных слоев населения: не только среди рабочих и учителей, приходилось иметь дело с учеными, художниками, писателями. Тут опять-таки нужен был талант Анатолия Васильевича, его широкий кругозор, его умение к каждому человеку как-то по-особенному подойти»².

Не один раз Н. К. Крупской приходилось беседовать с А. В. Луначарским об отношении В. И. Ленина к Н. Г. Чернышевскому, и эти высказывания переданы в работах Луначарского о романах Чернышевского. Анализ этих романов составил классическую часть советского литературоведения.

Особенно ярко и горячо А. В. Луначарский высказался о Чернышевском в докладе, посвященном 100-летию со дня его рождения, на торжественном заседании в Коммунистической Академии.

«Да, дорогой учитель,—сказал нарком, обращаясь к портрету Чернышевского,—мы за тебя отомстили достаточно сурово, а вместе с тобою и за десятки или сотни талантливых людей и за тысячи людей, о талантливости которых мы не знаем, жизнь которых была сгублена так же, как сгублена была твоя жизнь. Но этого мало. Мы не мстители только — мы творцы, лицо наше обращено не назад, а вперед... Чернышевского мы должны воскресить... и этот живой товарищ, наш товарищ Николай Чернышевский будет еще долго маршировать в наших рядах, как в высшей степени могучий, преданный нашему делу передовой боец за социалистические идеалы»³.

Читая эти строки, мы можем представить себе выступление Луначарского у памятника 1918 г., его лекции, с такой любовью запомнившиеся писателем Кави Наджми, и его личные беседы о Чернышевском с партийными друзьями. Все они воспитались на Чернышевском, все любили его горячей, действенной, творческой любовью.

¹ Письмо к Н. М. Чернышевской от 7 июня 1953 г.

² Н. К. Крупская. Педагогические сочинения в 10 томах, т. II, М., 1958, стр. 656.

³ Н. Г. Чернышевский как писатель.—В кн.: А. В. Луначарский. Статьи о Чернышевском. Гослитиздат 1958, стр. 185.

Когда в юбилейные дни Чернышевского Н. К. Крупская узнала, что Луначарский занят подготовкой доклада о Чернышевском, она сказала: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил, как он любил Чернышевского...» И потом, подумав минуту, сказала: «Я думаю, что между Чернышевским и Владимиром Ильичем было очень много общего»¹.

Вот почему поездки М. Н. Чернышевского из Саратова в Наркомпрос и его встречи с А. В. Луначарским уже в Москве представляют большой интерес. Сын Чернышевского смог ознакомить наркома со всеми перипетиями жизненной драмы самого Чернышевского и его семьи, а нарком-ученый не жалел своих сил и возможностей для того, чтобы как можно лучше и шире поставить дело пропаганды идей великого революционного демократа. Благотворную для музея роль играл в этих поездках М. Н. Чернышевского секретарь А. В. Луначарского Д. И. Лещенко, много помогавший Михаилу Николаевичу и устроить прием, и получить материальную помощь в дни, когда командировки были сопряжены с разрухой в области общественного продовольствия.

Первое, что сделал А. В. Луначарский по организации музея,—это выдача М. Н. Чернышевскому охранной грамоты на саратовский дом. Интересно отметить, что этот первый документ датирован 26 марта 1918 г. Значит, он был выдан сейчас же по получении письма М. Н. Чернышевского о передаче дома для устройства музея. Письмо было подано в тот же день. Охранная грамота гласила:

«Дом великого русского писателя Николая Гавриловича Чернышевского, находящийся в городе Саратове, уг<ол> Б<ольшой> Сергиевской и Гимназической, как представляющий громадный исторический интерес, находится под покровительством Рабочего и Крестьянского Правительства и не подлежит никаким занятиям и реквизициям и не может быть перестраиваем без особого на то разрешения Совета Народных Комиссаров. Народный Комиссар А. Луначарский. Секретарь Дм. Лещенко»².

Охранная грамота очень помогла музею в трудный период его начальной организации, когда это дело было еще совсем новым и неожиданным на родине Чернышевского.

Для облегчения первых шагов по устройству музея 18 июля 1918 года было выслано телеграфное распоряжение А. В. Луначарского Саратовскому Совету рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В нем было сказано:

¹ А. В. Луначарский. Статьи о Чернышевском. Гослитиздат, М., 1958, стр. 1928.

² Машинописный подлинник, подписанный собственноручно А. В. Луначарским, хранится в Гос. Дом-музее Н. Г. Чернышевского в Саратове (ОФ № 2038). Впервые опубликовано в сб. «Звенья» № 8, М., 1950, стр. 592.

«Сын знаменитого писателя Чернышевского предоставил в народное достояние дом, в котором родился и жил в молодости его отец. Этот дом находится в Саратове на углу Б. Сергиевской и Гимназической. Дар свой сын Чернышевского обусловил устройством в этом доме музея имени Чернышевского и, если окажется возможным, народной читальни, причем, тем из семьи Чернышевского, которые возьмут на себя заботу о музее и читальне, предоставляется пожизненное бесплатное проживание в доме и дворовом флигеле.

По своей ветхости дом требует капитального ремонта, а потому прошу озаботиться составлением сметы и сообщить размер суммы, потребной для такого ремонта, как дома, так и флигеля, считая в этом ремонте и внутреннее убранство, относительно которого надлежит войти в соглашение с сыном Чернышевского Михаилом Николаевичем, дочь которого в настоящее время находится в Саратове и даст все указания.

Народный Комиссар по Просвещению А. Луначарский.
Секретарь: Дм. Лещенко¹.

В связи с этим распоряжением Саратовскому Совету рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов было переведено 50 тысяч рублей на работы по ремонту дома Н. Г. Чернышевского и на превращение его в музей².

27 июля 1918 г. состоялось заседание Малой Коллегии внешкольного отдела Саратовского Губернского отдела Народного образования и было поручено заведующему секцией по организации школ для взрослых тов. Лапину произвести «обследование дома Чернышевского для устройства в нем Музея»³.

Этот документ, до сих пор неизвестный, обнаружен в Государственном Архиве Саратовской области (ГАСО) в 1959 г. автором этих строк. Он чрезвычайно интересен потому, что свидетельствует о быстроте действий тогдашнего саратовского советского аппарата в приволжском городе, являвшемся ареной исторических битв за социализм. При отсутствии людей, в условиях, когда лучшие силы во всей стране были отозваны на фронты гражданской войны, при обременении военными заботами, делу политического просвещения масс было уделено надлежащее внимание.

Два раза А. В. Луначарский приезжал в Саратов: один раз при жизни М. Н. Чернышевского в 1921 г. Приезд наркома был таким торжественным событием в жизни города и привлек такую толпу народа, что пробиться к нему было

¹ Сб. «Звенья», 1950, № 8, стр. 593.

² «Известия» Саратовского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1918, 29 октября, № 227.

³ ГАСО, ф. сар. ГубОНО, внешкольный п/отдел 1918, л. 645, л. 148.

невозможно, и М. Н. Чернышевского он не имел времени посетить. Однако Михаилу Николаевичу удалось передать ему памятную записку с планом предварительных работ по капитальному ремонту и реставрации дома-музея в целях ускорения его открытия для приема посетителей и организации научного труда по разборке богатых материалов, собранных и привезенных в Саратов. Это было 4 февраля 1921 года. Просьбу М. Н. Чернышевского поддержал проф. Н. К. Пиксанов, написавший на обороте записки: «Хорошо зная Музей, удостоверяю, что в нем хранятся высоко ценные материалы как по Чернышевскому, так и по его эпохе».

Нарком не оставил без внимания этой просьбы. Он наложил собственноручную резолюцию на записке: «Очень прошу губотнароб обратить внимание на музей имени Чернышевского и по возможности удовлетворить изложенные здесь просьбы. Нарком А. В. Луначарский. 9. II»¹.

Второй раз А. В. Луначарский приезжал в Саратов (после смерти М. Н. Чернышевского) в 1927 г., побывал в Доме-музее и обещал оказать ему всяческую помощь к 100-летию юбилею Чернышевского, когда музей нуждался и в продолжение капитального ремонта, и на очереди стояло издание сочинений писателя. Это посещение отмечено в информационной заметке «Саратовских известий». А. В. Луначарский был принят в музее, познакомился с его первой экспозицией, размещавшейся уже не в одной комнате, а в четырех залах музея. Лицо его сохраняло выражение глубокой задумчивости. Музею была оказана большая поддержка и в 1928 г. и после. А затем до самого своего ухода из жизни А. В. Луначарский был связан с музеем литературной работой по редактированию V тома избранных сочинений и однотомника ГИХЛ'а (М., 1934).

Чернышевский, по словам Луначарского, — «одна из прекраснейших по своей законченности и широте человеческих натур, которая когда-либо жила на свете. И на всем его мирозерцании, как и на всей его жизни, лежит отпечаток силы, красоты и поэтичности»². Не случайно первая подготовка в музее для публикации текста диссертации Н. Г. Чернышевского об искусстве проходила в творческом общении с А. В. Луначарским, согласившимся с соображениями относительно подачи этого текста.

Работу по однотомнику, вышедшему в 1934 г., А. В. Луначарский так и не закончил, хотя материал по этой книге дол-

¹ Этот документ недавно поступил в Дом-музей Н. Г. Чернышевского от А. М. Старкмета, которому в 1921 году был передан из ГубОНО на заключение как заведующему строительной-технической секцией. А. М. Старкмет оказывал большое содействие строительству музея в то время.

² А. В. Луначарский. Статьи о Чернышевском. М., 1958, стр. 21.

жен был посылаться ему в Испанию дипломатической почтой. Об этом сообщил Н. В. Богословский¹.

Так до самой кончины служил памяти Чернышевского большой государственный деятель и ученый Советского Союза.

В Саратове с большим интересом и сочувствием отнесся к делу устройства Дома-музея первый председатель Саратовского Совета Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих депутатов Губернского Исполнительного Комитета Владимир Павлович Антонов-Саратовский. Он приветливо принял М. Н. Чернышевского, получил от него в подарок трехтомник сибирских писем Николая Гавриловича с дружественной надписью и совместно со своими ближайшими заместителями М. И. Васильевым-Южиным и П. А. Лебедевым организовал совещание по вопросам ремонта музейного здания. Под председательством В. П. Антонова-Саратовского было вынесено постановление о снятии памятника Александру II и замене его памятником Н. Г. Чернышевскому. Вся переписка с Москвой конца 1918 года об увековечении памяти великого саратовца прошла через руки этого преданного ленинца, защищавшего завоевания Октября в условиях обостренной классовой борьбы, когда Волга стала ареной крупных битв за укрепление молодой Республики Советов. В. П. Антонов-Саратовский приложил все силы к тому, чтобы провести в жизнь указание А. В. Луначарского: «Перевести телеграфом Саратовскому Совету 50.000 р. на превращение к 25 октября дома великого социалиста Н. Г. Чернышевского в музей его имени и немедленно довести об этом до сведения А. В. Луначарского и Саратовского Совета»².

В. П. Антонов-Саратовский не только дал ход мероприятиям, указанным А. В. Луначарским относительно ассигнований на организацию музея, но лично посетил усадьбу Чернышевских, ознакомился с ее нуждами и беседовал на месте о приведении в порядок и будущем благоустройстве полуразрушенных зданий. Много любви было вложено в эту заботу молодого партийного руководителя о сохранении дома Н. Г. Чернышевского на его родине.

«С юношеских лет я привык относиться к<...> великому мыслителю и несгибаемому революционеру Николаю Гавриловичу Чернышевскому — с глубочайшим уважением, как к учителю жизни,— писал В. П. Антонов-Саратовский: — с каким волнением, еще мальчиком я жадно читал и перечитывал

¹ Письмо к Н. М. Чернышевской от 25 августа 1933 г.

² Эти сведения сообщены В. П. Антоновым-Саратовским в письме к Н. М. Чернышевской от 3 декабря 1959 г.; см. также «Известия Саратовского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1918, 29 октября № 227.

книжки с 3—5 «Современника» за 1863 год, где впервые был напечатан его замечательный роман «Что делать?». Впоследствии я не раз обращался к его трудам и постоянно находил в них новое. Николай Гаврилович... как бы расчищал перед моей мыслью путь к революционному марксизму, а затем к марксизму-ленинизму <...> И не только я воспринимал так влияние Николая Гавриловича, но все мое поколение (я родился в 1884 г.). Поэтому совершенно естественно, что когда ко мне обратилась <...> женщина и сообщила о смерти Ольги Сократовны, я тотчас же поставил в президиуме Губисполкома предложение принять похороны на государственный счет. Президиум, конечно, полностью согласился со мною»¹.

Жена Н. Г. Чернышевского Ольга Сократовна скончалась на 86-м году жизни 11 июля 1918 г. Советская и партийная общественность почтила в ее лице память великого саратовца.

Похороны Ольги Сократовны прошли торжественно. Печать отметила смерть жены Чернышевского, посвятив ей ряд некрологов и статей². Траурные объявления были помещены от имени Исполнительного Комитета Саратовского Совдепа, от редакций газеты «Известия Саратовского Совдепа» и «Инициативной литературской коллегии журнала «Горнило»³.

На протяжении почти полувека со дня Октябрьской революции В. П. Антонов-Саратовский чтит память Н. Г. Чернышевского: «Я думаю, что если бы был жив» Николай Гаврилович, «он бы порадовался вместе с нами и гордился бы с нами росту молодежи, которому он отдал всю свою жизнь. Из прошлого он шел вместе с другими великими умами человечества, шел в первой их боевой линии»⁴.

В 1920 году оставалось еще много нерешенных вопросов, которые можно было разрешить только в Москве. В конце лета М. Н. Чернышевский предпринял поездку в центр. Эта поездка имела решающее значение в жизни музея. Судьба его как одного из важнейших очагов социалистической культуры была решена в Кремле.

Михаил Николаевич был «очень приветливо» принят А. В. Луначарским (в Потешном дворце) 6 августа. Он подал наркомому докладную записку и проект Положения о музее. Луначарский «сейчас же продиктовал бумагу в Наркомпрос и Совнарком о причислении музея к Отделу Музеев, об ассиг-

¹ Письмо к Н. М. Чернышевской от 3 декабря 1959 г.

² «Новый век» 1918, 14 июля; «Петроградский голос» 1918, 14 июля и 16 июля; Известия Саратовского Совета..., 1918, 14 июля; «Эра» 1918, 16 июля; «Вечерний час» 1918, 15 июля; «Известия Саратовского Совета рабочих и солдатских депутатов», 1918, № 139, 14 июля и др.

³ Отметим, что в числе сотрудников этого журнала находился проф И. В. Липаев, лично знавший Н. Г. Чернышевского.

⁴ Письмо к Н. М. Чернышевской от 12 ноября 1963 г.

новании на нужды музея до конца года впредь до представления общей сметы, 1 миллиона рублей на ремонт (рамы и электричество) и дрова. Назначил мне персональный оклад в 15 тысяч и дал бумажку в саратовский Губпродком о выдаче мне усиленного (академического) пайка¹.

Узнав, что все ходатайства о музее поступили в секретариат Наркомпроса и оттуда будут внесены в Коллегию Наркомпроса, последнее заседание которой с участием Луначарского состоится перед его отъездом, М. Н. Чернышевский передал в Отдел Музеев смету по музею на 1920 год и уехал в Петроград, где ему предстояло преодолеть еще одну большую трудность: погрузить в вагон на Саратов имущество музея—мебель, книги, портреты, документы и т. п. Все это находилось в трех местах: часть материалов хранилась в рукописном отделении Библиотеки Академии Наук, другая часть—в Зимнем дворце и, наконец, книжные полки с литературой—в мастерской художественных картин В. А. Пыпиной на Васильевском острове². В это время (24 августа) состоялась встреча с М. Горьким, который обещал поддержать семью Н. Г. Чернышевского, направил к Л. А. Фотиевой и потом сам говорил об этом с В. И. Лениным³.

В Петрограде М. Н. Чернышевский неумоимо проводил собирательскую работу. В Пушкинском Доме ему обещали подобрать экземпляр некрасовского «Современника», книги, портреты. К этому времени Михаилом Николаевичем была полностью снята копия с дела Н. Г. Чернышевского и оригинал возвращен директору Н. А. Котляревскому. В Сенате помощник П. Е. Щеголева А. А. Шилов подбирал для музея журналы со статьями о Чернышевском. П. Е. Щеголев был настолько внимателен, что поручил выдать Михаилу Николаевичу для просмотра и ознакомления «все дела, где упоминается наша фамилия», по словам М. Н., и эти документы были просмотрены⁴.

Организовав погрузку музейных материалов из Петрограда в Саратов (что потребовало немалого напряжения сил и преодоления разных трудностей и осложнений, подробно описанных на страницах дневника), Михаил Николаевич вернулся в Москву.

Здесь его ждало разочарование. А. В. Луначарский уехал на юг, а в его отсутствие его заместитель М. Н. Покровский

¹ Дневник М. Н. Чернышевского 1920 г. от 6 августа. Архив Дома-музея, ОФ, ед. хр. № 529, л. 43 об. Из докладной записки М. Н. Чернышевского видно, что вопрос о назначении ему персонального оклада был незадолго перед тем поставлен перед Наркомпросом со стороны Губернского отдела Народного образования как основателю и организатору музея.

² Документы по перевозке музейных вещей из Петрограда в Саратов. Архив Дома-музея, ф. М. Н. Чернышевского, ед. хр. 496, на 21 лл.

³ Дневник 1920 г., л. 52 об.

⁴ Там же, лл. 51 об., 52 об., 53 об., 55 об.

прикрепил музей Н. Г. Чернышевского не к Отделу Музеев, а к Научному сектору Наркомпроса. Между тем все уже было оформлено в Отделе музеев: и смета, и докладная записка, и другие основные документы. Не было дано хода ни одному вопросу, касающемуся музея. Все осталось лежать до возвращения А. В. Луначарского.

Сведения об отправке из Москвы вагона с музейными материалами тоже были неутешительны. Маршрут был изменен, и вагон пропал из поля зрения Михаила Николаевича. Две недели подряд (с 5 по 18 сентября) он ходил пешком на товарную станцию Павелецкого вокзала в поисках вагона, ходил и утром, и вечером, не спал ночи и в конце концов подвергся такому сильному главному припадку, что чуть не ослеп. Наконец, узнал, что вагон приближается к Саратову. Все окончилось благополучно, но тревога была большая¹.

17-го сентября А. В. Луначарский через Д. И. Лещенко сообщил Михаилу Николаевичу, что примет его через неделю, т. е. 23 числа, но прием не состоялся².

От неудач, тревог и разбитых ожиданий у Михаила Николаевича рождается мысль уехать обратно в Саратов. При встрече с Н. К. Пиксановым он делится с ним своим «горем».

А на другой день в Наркомпросе Михаила Николаевича ждала радость, да еще какая! Машковцев спрашивает: «Читали декрет сегодня?»

— Какой декрет?

— Да о Музее Чернышевского.

Принесли, показали «Известия». Там был опубликован декрет за подписью В. И. Ленина. В декрете говорилось:

«Постановление Совета Народных Комиссаров.

Совет Народных Комиссаров постановил:

Находящийся в Саратове музей имени Чернышевского объявляется национальным достоянием и передается в ведение Народного Комиссариата Просвещения.

Одновременно с этим до конца текущего года сверхсметно ассигнуется последнему на предмет оборудования охраны этого музея один миллион рублей (1.000.000 р.) с тем, чтобы в дальнейшем музей содержался по нормальной смете Н(ародного) К(омиссариата) Просвещения.

Председатель Совета Народных Комиссаров:

В. Ульянов (Ленин)»³.

¹ См. Дневник 1920 г., лл. 45—68 об.

² См. Дневник 1920, лл. 67 об. 68, 69 об.

³ «Известия» 1920, 25 сентября, № 213. Опубликовано в «Собрании узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства». 27 сентября 1920 г., № 80, стр. 401. Перепеч. в сборн. «Звенья» № 8, 1950, стр. 593. См. также: Дневник М. Н. Чернышевского 1920, лл. 70—70 об.

Таким образом, в то время когда М. Н. Чернышевский пришел к выводу, что его преследуют одни неудачи, в своем Кремлевском кабинете великий вождь пролетариата уже познакомился со всеми материалами о музее Чернышевского, с его нуждами, чаяниями и запросами. Любящей рукой, которая еще в молодости переворачивала страницы «Современника» с работами Чернышевского, был подписан такой документ, который является основополагающим во всей дальнейшей жизни и судьбе музея. В декрете, подписанном В. И. Лениным, музей Чернышевского в далеком приволжском городе признавался всенародной ценностью, которую следует охранять и строить дальше.

В течение долгих лет считалось, что декрет был подписан 25 сентября 1920 г., т. е. в тот день, когда его опубликовали. В настоящее время выяснено документально, что В. И. Ленин поставил свою подпись под текстом, подготовленным А. В. Луначарским совместно с М. Н. Чернышевским не 25, а 17 сентября 1920 г.¹

25 сентября в Отделе Музеев состоялось заседание, перед которым попросили Михаила Николаевича доставить смету и штатное расписание на оставшиеся месяцы 1920 года. На заседании утвердили распределение 1 миллиона рублей по представленной смете на отопление, освещение, хозяйственные и канцелярские расходы, пополнение библиотеки и коллекций, приобретение шкафов и витрин, расходы по командировке и по ремонту текущему и капитальному. Штатное расписание сотрудников музея было внесено в Коллегию Отдела Музеев на утверждение.

После отъезда М. Н. Чернышевского из Москвы состоялось еще одно заседание Совета Народных комиссаров 25 октября 1920 г., на котором было вынесено следующее постановление:

1. Назначить сыну Николая Гавриловича Чернышевского Михаилу Николаевичу Чернышевскому пожизненную пенсию в размере 20 000 р. в месяц и три продовольственных пайка в размере красноармейских тыловых.

2. Предложить Саратовскому губисполкому произвести срочный ремонт дома Чернышевского, в коем помещается музей имени Н. Г. Чернышевского и квартира его сына, М. Н. Чернышевского, и принять меры к охране его и поддержанию в полной исправности.

В. Ульянов (Ленин)»².

¹ См. «Декрет Совета Народных Комиссаров об объявлении Музея имени Чернышевского в Саратове национальным достоянием и передаче его в ведение Народного Комиссариата Просвещения» в Приложении к книге: «В. И. Ленин о литературе и искусстве». Госиздат. М., 1957, стр. 535—536. Кроме управляющего делами Совета Народных Комиссаров Влад. Бонч-Бруевича в этой публикации документа стоит еще подпись: «Секретарь Л. Фотиева».

² XXXVI Ленинский сборник, стр. 136—137. В этом декрете отражена

3 сентября 1921 г. было утверждено Положение о Музее в коллегии Главмузея. Михаил Николаевич подготовил нужный материал и с часу дня до 5 вечера ждал, когда начнется заседание. «Сижу и жду, час, другой, третий, начинает брать сомнение, состоится ли заседание. Справляюсь несколько раз. Уверяют, что будет. Наконец часов в 5 пришел Машковцев, и началось заседание, но меня все не зовут. Я уж подумал, что меня забыли и сел писать записку Машковцеву, но в это время меня позвали. Случилось то, что я и предполагал: предложили мне самому докладывать дело, а я все свои экземпляры Положения роздал, и у меня не осталось ничего, а они сами не потрудились приготовить, т. е. просто подложить к бумагам заседания Положение о Музее. Машковцев побежал в свой кабинет отыскивать Положение, а между тем Татьяна Алексеевна (секретарь) уже давным давно ушла и все бумаги у нее в запортом столе. Насилу отыскали прошлогодний экземпляр и по этому экземпляру я стал докладывать. Пришлось порядочно поисправлять редакцию, в конце концов со сделанными исправлениями Положение было утверждено в 6 ч. Взял его с собою, чтобы исправить редакцию и в понедельник снесу уже в чистом виде. Ну, слава богу, хоть это дело сделано»¹.

5 сентября, в понедельник, М. Н. Чернышевский сдал переписанное в новой редакции Положение о Музее в Главмузей². Вот его содержание.

Положение о музее Н. Г. Чернышевского в городе Саратове

1. Для увековечения памяти великого проповедника социальных идей Николая Гавриловича Чернышевского учреждается в гор. Саратове Музей, которому присваивается наименование «Дом-музей Н. Г. Чернышевского», причем основателем и организатором Музея является сын Н. Г. Чернышевского—М. Н. Чернышевский.

2. Объявленный согласно опубликованному 25-го сентября 1920 г. постановлению Совета Народных Комиссаров национальным достоянием, Музей этот находится в ведении Главмузея и содержится на его средства, а непосредственное наблюдение лежит на обязанности Саратовского Губотнароба по Губмузею.

забота А. М. Горького, ведавшего поддержкой научных работников по поручению В. И. Ленина. См. дневник М. Н. Чернышевского от 24 августа 1920 г.

¹ Дневник М. Н. Чернышевского 1921 г. от 3 сентября. Архив Дома музея, ОФ, № 529, лл. 100 об.—101.

² Там же, л. 101 об.

3. Музей помещается в родовом доме Чернышевских на углу улиц Чернышевского (б. Бол. Сергиевская) и Гимназической и состоит из одноэтажного с мезонином деревянного, обложенного кирпичом и оштукатуренного здания, в котором 7 комнат, передняя и кухня. К дому относятся также и надворные постройки—флигеля и сарай с конюшнями.

4. Дом этот сам по себе представляет исторический памятник (в нем родился и жил в молодости Н. Г. Чернышевский) и никаким занятиям и реквизициям, со всем находящимся в нем имуществом, не подлежит.

5. Означенный дом, как исторический памятник, подлежит со всеми постройками капитальному ремонту и реставрации, согласно с имеющимися у М. Н. Чернышевского планами, причем семье Н. Г. Чернышевского предоставляется пожизненное бесплатное проживание в свободных от Музея помещениях с отоплением, освещением и водопроводом.

6. Музей имеет характер историко-литературно-общественный и представляет собою собрание предметов, имеющих как непосредственное отношение к самому Н. Г. Чернышевскому по преимуществу, так и к эпохе 60-х годов, в частности, как-то: рукописей, писем, книг, портретов, рисунков и разных вещей.

7. Музей имеет право самостоятельно издавать все имеющиеся в нем рукописные материалы, при соблюдении общих на сей предмет правил.

8. В музее устраивается библиотека-читальня для лиц, желающих изучать творения Н. Г. Чернышевского и эпоху 60-х годов и получать необходимые справки.

9. Первоначальный штат служащих Музея состоит из: 1) заведующего Музеем, 2) его заместителя и хранителя, 3) библиотекаря, 4) научного сотрудника и 5 и 6) двух служителей, из которых один исполняет обязанности дворника.

10. Пожизненным заведующим Музеем состоит сын Н. Г. Чернышевского—М. Н. Чернышевский.

11. Музей имеет свою печать с надписью: «Народный Комиссариат по Просвещению—Главмузей—Дом-музей Н. Г. Чернышевского».

Печать:

Народный Комиссариат
по Просвещению — Главный
Комитет по делам Музеев
и охране памятников искусства,
старины и природы.

Секретарь: П. Макаров.

Настоящее положение утверждается Советом Главмузея 3-го сентября 1921 года¹.

В октябре 1921 г. М. Н. Чернышевский добился перевода Губотнаробу на нужды музея около 4 милл. руб. и Горсельстрою 2 милл. Но зимние холода задержали ремонт. Все же было сделано неотложное: починен развалившийся забор, крыша над балконом, изготовлена дверь со двора на входную лестницу и вставлены стекла в некоторые окна.

Горсельстрою был открыт кредит в 52 млн., но он не успел израсходовать их и ремонт пришлось отложить до весны².

«А вследствие этого, — писал М. Н. Чернышевский, — остается по-прежнему открытым вопрос о развертывании музея, расположенного пока в двух комнатах, причем по-прежнему большинство материалов приходится хранить не в витринах, а в шкафах и ящиках и выставлять их лишь временно в назначенный для обхода день³.

С 1921 г. научная работа музея приобрела более организованный характер. «Назначение в штат музея научного сотрудника дало возможность приступить к более подробному и систематическому разбору под моим руководством бумаг как самого Чернышевского, так и других материалов, имеющих к нему отношение», — докладывал М. Н. Чернышевский⁴.

В этом году на родине Чернышевского произошло событие большого культурного значения. «19 декабря, в день торжественного празднования 12 годовщины открытия саратовского государственного университета было внесено предложение фракции РКП В(ысших) У(чебных) З(аведений), единогласно принятое, назвать Саратовский Государственный университет именем Н. Г. Чернышевского»⁵.

Указывая, что университет первоначально был назван именем Николая Кровавого, саратовские большевики с отвращением стерли это имя с лица университетских стен и с любовью заменили его именем другого Николая — «который участвовал в гигантской борьбе за освобождение человечества...». Он связан с Саратовом, так как здесь он родился, и имя Н. Г. Чернышевского дорого каждому революционеру.

¹ См. Отчет о деятельности музея Н. Г. Чернышевского в Саратове с 1 октября 1922 по 1 октября 1923 г., составленный М. Н. Чернышевским. — Архив Дома-музея, ОФ, ед. хр. 525, л. 40. Проект положения о Музее, сост. М. Н. Чернышевским (рукопись-автограф) хранится в Архиве Дома-музея, ОФ, ед. хр. 515.

² Отчет по Дому-музею за октябрь—декабрь 1921 г., сост. М. Н. Чернышевским. — Архив Дома-музея ОФ, ед. хр. 525, л. 11.

³ Там же, л. 11 об.

⁴ Там же.

⁵ «Известия Саратовского Совета рабочих депутатов», 1921, 23 декабря, № 291.

Пусть это имя служит символом единения науки с трудящимися». Так было мотивировано это историческое переименование¹. После этого длительное научное содружество связало Дом-музей с различными кафедрами университета. М. Н. Чернышевский неоднократно выступал с большим успехом в его аудиториях в дни памятных годовщин.

В конце 1921 г. музей помещался в двух комнатах, где происходил прием посетителей по предварительной договоренности с директором. Никакого оборудования в музее еще не было. К приходу экскурсий и отдельных лиц на письменном столе Н. Г. Чернышевского выкладывались рукописные материалы, а на маленьком столике—личные вещи писателя. Много времени тратилось как на приготовление этих экспонатов, так и на уборку их обратно в книжный шкаф Н. Г. Чернышевского. На стенах были развешены портреты и фотографии работы М. Н. Чернышевского. Экскурсии, пока еще редкие, проходили в необычной обстановке, которая скрашивалась интересной лекцией, соединенной с личными воспоминаниями основателя музея о поездке его в Сибирь—к отцу на каторгу.

Саратовская общественность все больше и больше проявляла внимания к рождающемуся музею, старалась помочь ему. Так, курсанты 3-й школы железнодорожных техников, прослушав беседу М. Н. Чернышевского, на другой же день взяли на себя проведение электросвета в доме писателя.

Культурно-просветительная работа музея шла непрерывно, выходя за пределы дома. В течение нескольких лет Михаил Николаевич выступал с пропагандой идейного наследия своего отца в самых разнообразных аудиториях. Его слушали рабочие, красноармейцы, работники кооперации, научные деятели, учителя, студенты, школьники.

Вместе с тем велась и научно-исследовательская работа². Изучались новооткрытые архивные материалы о процессе и ссылке Н. Г. Чернышевского после вскрытия жандармских тайников в Москве и Ленинграде. Источником изучения саратовских периодов жизни Н. Г. Чернышевского и его памятных мест оказались беседы с последней оставшейся в живых из поколения Н. Г. Чернышевского его двоюродной сестрой Екатериной Николаевной Пыпиной, много лет заведовавшей домами Чернышевских и Пыпиных и хранившей у себя в дворовом флигеле ценнейшие письма, документы и старинные вещи. Екатериной Николаевной была оказана

¹ «Известия Саратовского Совета рабочих депутатов», 1921, 23 декабря № 291.

² В архиве Дома-музея сохраняются рукописи М. Н. Чернышевского «Дом-музей Н. Г. Чернышевского. Очерк». 1923, на 7 лл., ед. хр. 521; Лекция о музее (1923) на 4 лл., ед. хр. 522; «Конспективные заметки по работе с посетителями музея» (1924) на 7 лл., ед. хр. 528; статья для «Путеводителя по музею» на 5 лл.; ед. хр. 524 (1924) и др.

большая помощь музею в деле его реставрации и пополнения фондов. Из бесед выяснилось большое значение усадьбы Пыпиных с ее двухэтажным каменным домом, приобретенным в 1804 году дедом Н. Г. Чернышевского — Г. И. Голубевым. Здесь родилась его дочь Евгения, ставшая впоследствии матерью великого революционного демократа. Сюда, по рассказам Ек. Ник. Пыпиной, почти ежедневно приходил Н. Г. Чернышевский по возвращении из Астрахани за четыре месяца до смерти. Дом Чернышевских в это время был занят жильцами, и дом Пыпиных был для Николая Гавриловича самым близким родным убежищем, где он отдыхал душой после 20-летней сибирской ссылки. Ек. Ник. Пыпина в то время жила в этом доме.

После революции дом был муниципализирован и занят квартирантами. М. Н. Чернышевский имел постоянное общение с партийным и советским руководством города. На музейный участок и в дом Чернышевского часто приезжали представители комиссий, организованных для поддержки музея. Михаил Николаевич знакомил их с ходом дальнейшего развития и планами устройства музея¹. Вместе с наследниками Пыпина, жившими в Петрограде и занимавшимися изучением семейной старины и эпохи 60-х годов, был согласован вопрос о возбуждении ходатайства относительно передачи и дома Пыпиных в ведение Дома-музея Н. Г. Чернышевского. Этот замысел был поддержан и проведен в жизнь незамедлительно.

В конце 1922 года в Горсовете был поставлен вопрос об изготовлении нового, расширенного проекта ремонта и реставрации. Инженеру Плетневу было поручено ознакомиться на месте со смежными участками Чернышевских и Пыпиных в целях объединения обеих усадеб в одно целое, как было в старину при жизни Николая Гавриловича Чернышевского. Плетнев составил «эскиз соединения участков с разбивкою сада»².

В начале 1923 года разные комиссии осматривали эти участки, а 6 апреля «приехал Президиум Саргубисполкома (Ерасов, Осипов, Менде) и, осмотрев самолично все, сделал распоряжение Захарову (зав. Коммуноотделом) так и делать»³.

1 февраля М. Н. Чернышевский выступил в Совете Народных Комиссаров с докладом об отпуске средств на осуществление этого проекта. «Около часу был вызван в заседа-

¹ См. в архиве Дома-музея такие планы его основателя, как «Материалы по организации Дома-музея (1922—1923)», «Предполагаемое распределение комнат в Доме-музее» (1923), «Примерный список книг для библиотеки...» (1922), «Статья для путеводителя» (1924) и много др.

² Запись М. Н. Чернышевского от 28 ноября 1922 г. Дневник 1922, л. 113.

³ Дневник М. Н. Чернышевского 1923 г. Архив Дома-музея, ОФ, ед. хр. 529, л. 132 об.

ние, доложил вопрос и в 5 минут все дело было кончено — отпустить в распоряжение Президиума Саргубисполкома впредь до представления разработанного плана работ по ремонту Музея Н. Г. Чернышевского аванс в 300 тысяч рублей»¹.

По этому же вопросу Саргубисполком поручил М. Н. Чернышевскому как своему полномочному представителю (так указано в командировочном удостоверении) представить сметы и планы в Совет Народных Комиссаров РСФСР. Михаил Николаевич выехал в Москву и выступил в Совнарком 9 августа 1923 г. На осуществление ремонта музея и его зданий было отпущено 10 тысяч рублей золотом².

На эти средства было приступлено к выполнению общего плана работ, т. е. к соединению обоих смежных участков Чернышевских и Пыпиных, к сносу ветхих построек, к капитальному ремонту остающихся и к разбивке сквера с фонтаном, двумя павильонами и двумя небольшими памятниками — Чернышевскому и его двоюродному брату крупному историку академику А. Н. Пыпину.

Однако не все удалось осуществить из этого плана. Были освобождены от посторонних жильцов дом Пыпиных и два флигеля — О. С. Чернышевской и Е. Н. Пыпиной; построены новые службы и начат ремонт Пыпинского дома. Из-за вздорожания рабочих рук потребовались новые расходы на ремонт в 1924 г.³.

Весной 1924 года состоялась последняя поездка М. Н. Чернышевского в Москву. Он поехал хлопотать от имени Саратовского Губисполкома об ассигновании средств на продолжение и окончание ремонтных и реставрационных работ, распределив их планирование на ближайшие 4 года до 100-летнего юбилея Н. Г. Чернышевского. По приглашению президента Академии Художественных Наук П. С. Когана он собирался выступить в Академии с критическим докладом по поводу книги В. А. Пыпиной «Любовь в жизни Чернышевского». С Государственным издательством Михаил Николаевич имел в виду договориться об издании неопубликованных произведений Н. Г. Чернышевского.

Этим планам в то время не суждено было осуществиться. 3 мая оборвалась жизнь М. Н. Чернышевского в Москве. Прах его был перевезен в Саратов и предан погребению рядом с могилой его отца. «М. Н. Чернышевский не будет забыт Республикой, как преданный заветам своего отца и не-

¹ Дневник 1923 г. ОФ, ед. хр. 529, л. 41 об. См. также Отчет о деятельности Музея Н. Г. Чернышевского в Саратове с 1 октября 1922 по 1 октября 1923 г., сост. М. Н. Чернышевским. Архив Дома-музея, ОФ, ед. хр. 525, л. 40. Опубл. в «Известиях ВЦИК, 1923, 7 февраля.

² Дневник 1923 г., Архив Дома-музея, ОФ, ед. хр. 529, л. 145 об—146. Опубл. в «Известиях ВЦИК» 1923, 17 августа.

³ См.: Отношение Саратовского Губисполкома в Совет Народных Комиссаров (копия) от 22 мая 1924 г. — Архив Дома-музея, ОФ, ед. хр. 492.

устанный собиратель музея его имени, слава которого была в значительной мере поддержана в темные дни царизма изданием сочинений знаменитого Саратовца»,—говорилось в одном из многочисленных откликов на смерть М. Н. Чернышевского¹.

После смерти М. Н. Чернышевского дом Пыпиных был заселен посторонними жильцами, но к 50-летию со дня смерти Н. Г. Чернышевского Саратовский Горсовет передал это историческое здание Дому-музею и в настоящее время оказал большое содействие в устройстве в нем рабочих кабинетов, библиотеки и фондохранилища.

Планы строительства Дома-музея, выработанные при жизни его основателя, получили осуществление при поддержке партии и правительства в последующие годы; музей, созданный по слову великого Ленина и обвеянный народной любовью, вырос как один из значительных культурных центров нашей Родины. Сейчас музей готовится достойно встретить 50-летие Великого Октября.

¹ Письмо на имя семьи М. Н. Чернышевского от Президиума Саратовского Губисполкома и Саратов. губ. отдела народного образования от 6 мая 1924 г., № 5853.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Авдеев М. В.* 5, 14, 16, 85, 88, 89, 97, 237.
Адлерберг А. А. 78
Аксаков И. С. 242
Александр II, 178, 200, 258, 268
Алексеев Л. (Паночини Л. А.) 133
Альбертини Н. 99
Андрушенко И. 238.
Анисимов 219, 222.
Анненков И. В. 232
Анненков П. В. 10—20, 66
Антонов-Саратовский В. П. 268
Антонович М. А. 119, 172, 173, 227
Аристов Н. Я. 170, 173, 174, 175, 177, 180
Аристотель 69, 154, 163, 165
Аристофан 148
Арсеньев К. К. 132
Багрицкий Э. Г. 166
Базилевский В. 133
Байрон Джордж-Гордон 115
Бакунин М. А. 73
Барбье Огюст 115
Бардина С. И. 115
Барцевич В. П. 203
Бауэр Б. 72
Бахметьев П. 191
Безобразов П. В. (Григорьев) 105, 106
Бекетовы А. Н. и Н. Н. 42, 44, 45
Бекетов 206
Белецкий А. И. 125
Белинский В. Г. 10, 15, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31—39, 41, 54, 68, 71, 73—76, 78, 83, 85—87, 90, 110, 114, 155—158, 160, 166, 167, 181, 183, 245
Белов Е. А. 198
Белозерский О. 237
Белокопский И. П. 141
Бельчиков Н. Ф. 30, 128
Берви-Флеровский В. В. 44, 45
Берг Н. 141
Березина В. Г. 25
Берков П. Н. 42
Берлин М. 240
Билль-Белоцерковский В. Н. 166
Благовещенский Н. А. 175
Благовещенский Н. М. 44
Благой Д. Д. 37
Блан Луи 50
Богословский Н. В. 268
Бокль Генри Томас 69
Боков П. И. 226.
Бондарев Т. М. 140, 141
Бонч-Бруевич В. Д. 257, 271
Борев Ю. 147, 158, 159, 162, 165, 166
Бородин А. Г. 245, 250
Борщевский С. 153
Боткин В. П. 21, 24, 63, 91, 97
Бочаров С. Г. 160
Бродский Н. Л. 57
Бронь Т. И. 247
Бугаенко П. А. 198
Булгарин Ф. В. 113
Булич Н. Н. 189, 192, 193, 196
Бунин С. В. 143
Бурсов Б. И. 7, 30, 37, 40, 41, 83, 89
Бутаевич см. Петрашевский М. В.
Буткевич А. А. 116
Буш В. В. 135
Бушканец Е. Г. 41, 44, 189, 206
Бушмин А. С. 149, 164
Бэкон Френсис 69
Бюхнер Людвиг-Карл 72
Валуев П. А. 246
Варенцов В. Г. 198
Васильев-Южин М. И. 268
Введенский С. А. 49
Вебер Георг 131
Вейде М. 238

* Указатель составлен В. В. Прозоровым и А. Г. Татаринцевым.

- Венгеров С. А. 45, 54, 119, 126
 Вердеревская Н. А. 93
 Ветошников П. 204, 208, 237, 243
 Витязев П. 244
 Владимиров Е. И. 140
 Владимиров Н. 237
 Волков Ф. П. 191
 Волконский М. С. 110
 Волосатов Н. 198
 Вольтер Франсуа Мари 148
 Воронов М. А. 192, 198
 Воронов Н. 237
 Вяземский П. П. 169, 178, 179
 Гагарин П. П. 76
 Гаевский В. П. 20, 23
 Ганелин Ш. И. 189, 197, 198
 Гаркави А. М. 104, 109
 Гассенди 69
 Гегель 75
 Гербель Н. В. 83, 84
 Гернет М. Н. 203
 Герцен А. И. 41, 68, 73, 74, 75,
 149, 158, 160, 174, 175, 176,
 177, 178, 179, 180, 181, 243,
 245, 246, 249
 Гете Иоганн-Вольфганг, 72, 123
 Гин М. 31
 Гоголь Н. В. 18—22, 26, 31, 32,
 35, 38, 39, 42, 45, 65, 71, 72,
 74, 76, 78, 85, 86, 100, 114, 123,
 148, 155, 157, 158, 161, 166,
 168, 176, 182.
 Голицын А. Ф. 203, 213, 217, 218
 Голубев Г. И. 276
 Гольцев В. А. 144
 Гокчаров И. А. 123, 149, 160
 Горнфельд А. Г. 125
 Горохов Т. 232, 234
 Горячкина М. С. 161
 Горький А. М. 120, 160, 161, 269,
 271
 Грановский Т. Н. 74, 130, 183
 Гревениц М. Ф. 244
 Грибоедов А. С. 149, 155
 Григорович Д. М. 14
 Григорьев А. А. 29, 30, 79, 85,
 86
 Григорьев см. Безобразов В. П.
 Громека С. С. 100
 Гудошников М. 170
 Гукасов А. Г. 27
 Гусев Н. Н. 45
 Гуральник У. А. 156
 Данилевский Н. Я. 49
 Дебу И. М. 49
 Дементьева Н. А. 120
 Демченко А. А. 83
 Державин Г. Р. 178
 Де-Траверсе Н. 234
 Дзеверин И. 155, 156
 Димитров Г. М. 70, 71
 Добин Е. 124, 125
 Добролюбов Н. А. 14, 17, 38, 39,
 77, 78, 83, 99, 100, 102, 110,
 111, 119, 158, 161, 171, 172,
 173, 198, 239, 242
 Долгоруков В. А. 77, 208,
 Достоевский М. М. 44
 Достоевский Ф. М. 16, 40, 42, 44,
 45, 51, 149, 150, 153, 160.
 Дружинин А. В. 15, 18—24, 28—
 30, 33—36, 64, 83—91
 Дубельт Л. В. 114
 Дуденкова А. И. 173
 Духовников Ф. В. 186
 Евгеньев-Максимов В. Е. 14, 40,
 83, 90, 104, 119
 Евнина Е. М. 151
 Европеус А. И. 46
 Егоров Б. Ф. 17, 239
 Екатерина II 173, 177
 Елисеев Г. З. 227
 Емельянов 209—217, 228, 229, 231,
 233, 235—237
 Ермилов В. В. 147, 158
 Ершов Л. 153
 Ефремов А. Ф. 54
 Ефремов П. А. 105, 116
 Жеманов 235
 Жуковский В. А. 184
 Журавлев К. Н. 77
 Жюль-Жанен 90
 Зайончковский П. А. 246
 Зайцевский П. 198
 Замятин В. Н. 134
 Зарубин 218
 Зацепин И. Я. (Панезиц) 240
 Зеленецкий К. 18
 Зельдович М. Г. 5, 14, 86
 Зильберфарб И. 42
 Златовратский Н. Н. 126, 139,
 145
 Иванов В. В. 166
 Иванчин-Писарев Н. Д. 70, 71
 Ильин И. 232, 234, 236
 Ильин О. И. 153
 Кабанов П. 170
 Каян М. С. 147, 154, 155
 Каллиоппина Ю. О. 242
 Кандауров 235
 Кантемир А. Д. 155
 Каракозов Д. И. 251
 Карамзин Н. М. 184
 Касаткин В. И. 243, 249
 Каченовский М. Т. 79
 Кванцицкий Н. 238
 Кирилов Н. 41, 114
 Кирпотин В. Я. 148, 158
 Клочков В. М. 131
 Кляус С. 198

- Кобеко Д. Ф. 249
 Ковалев А. Г. 125
 Коган П. С. 277
 Козлов И. 74
 Козьмин Б. П. 176
 Козьмин Н. Н. 170
 Кольцов А. В. 43, 45, 49, 205
 Кон И. С. 131
 Кони А. Ф. 244, 245, 246, 250
 Консидеран Виктор 50
 Короленко В. Г. 128
 Коропчевский Д. А. 119, 143
 Корсаков 200
 Корш Ф. Е. 97
 Костин В. Г. 27
 Костомаров В. Д. 67, 78, 94
 Костомаров Н. И. 113
 Котляревский А. 237
 Котляревский Н. А. 259, 269
 Кошанский Н. Ф. 191
 Краевский А. А. 114
 Крамской И. Н. 105, 116
 Крупская Н. К. 257, 258, 263, 264
 Крылов И. А. 155, 168
 Кувязев 238
 Курганов В. Н. 203, 204, 205
 Курочкин В. С. 100, 101, 242
 Курочкин Н. С. 101, 119
 Лавренев Б. А. 166
 Лаврецкий А. 15, 30, 31, 83, 89, 147, 166, 167
 Лавров П. Л. 115, 244
 Лазерсон Б. И. 61
 Ларра Марьяно Хосе де 115
 Лебедев А. А. 189
 Лебедев П. А. 268
 Лебедев-Полянский П. И. 259, 261
 Левита Р. 130
 Лемке М. К. 67, 78, 113, 114, 117, 180, 206, 243, 246, 247
 Ленин В. И. 27, 117, 131, 253, 254, 257, 258, 261, 263, 264, 269, 270, 271
 Ленобль Г. 124
 Леонов Л. М. 160
 Лермонтов М. Ю. 51, 79, 88, 121, 148, 158, 161, 164, 169, 205
 Лесков Н. С. 161
 Лещенко Д. И. 264, 265, 270
 Либедицкий Ю. 166
 Лизогуб Д. А. 107, 112
 Липаев И. В. 268
 Липранди И. П. 114
 Ломоносов М. В. 181, 183
 Лонгинов М. Н. 84, 171
 Лопатин Г. А. 175
 Луначарский А. В. 160, 255, 258, 259, 261—268, 271
 Лучак А. А. 108, 111
 Лучинский Г. А. 170
 Лялин П. 237
 Ляцкий Е. А. 83, 106, 108, 189
 Макаров П. 273
 Макашин С. А. 44
 Максимов Д. 119
 Малеев А. И. 42
 Малова М. И. 247
 Мандельштам Р. 169
 Манн Ю. 27
 Маркс Карл 48, 113, 132, 134, 142, 175, 254, 258
 Марченко А. 238
 Мартынов П. А. 219, 237
 Масанов И. Ф. 119
 Матвеев П. 251, 253
 Маяковский В. В. 166
 Медведев А. П. 50
 Медведев П. Н. 125
 Мейер Д. И. 195, 196, 197, 198
 Мейлах Б. С. 122, 125
 Менцель Вольфганг 72
 Миклухо-Маклай Н. Н. 142—144
 Миловидов И. Т. 198
 Милютин В. А. 44, 45, 49
 Минаев Д. Д. 164
 Минокин 141
 Михаелис 227
 Михайлов М. И. 85, 89, 117
 Михайловский Н. К. 139, 141
 Михалевский В. Г. 198
 Модзалевский Б. Л. 244, 245, 247, 250
 Мокшанцев В. 198
 Мошешотт Якоб 72
 Мордовченко Н. И. 135
 Мосолов Ю. М. 198
 Надеждин Н. И. 23, 26, 27, 28, 29, 32, 74, 79
 Наджми Кави 262, 263
 Назаров Н. С. 16-17
 Налбанов М. 237
 Нахимов П. С. 18
 Некрасов Н. А. 21, 31, 33, 90, 91, 98, 99, 101, 102, 104, —117, 118, 120, 121, 148, 161, 164, 227, 242, 244, 252
 Нечаева В. С. 29
 Нечипуренко А. И. 180, 237
 Нечкина М. В. 170, 178, 179
 Нздебский С. 238
 Никитенко А. В. 113
 Николаев Д. 162, 165
 Николаев М. П. 96
 Николаев П. Ф. 251
 Николай I 16, 18
 Новиков Н. И. 169, 175, 182
 Нольман М. 200
 Норов А. С. 198

- Нос-Степной 238
 Оболенский Л. Е. 126
 Овсяннико-Куликовский Д. Н.
 125, 160
 Овчинников З. 198
 Озарев Н. П. 68, 71, 164
 Окель 210, 211
 Оксман Ю. Г. 39, 113
 Олсевич 219, 222, 223
 Ольминский М. С. 148
 Орлов А. Ф. 76
 Островский А. Н. 16, 71, 85, 86,
 160, 161
 Павленков Ф. 144/
 Панаев И. И. 90
 Панезиц см. Зацепин И. Я.
 Панин В. Н. 77
 Паночини Л. А. см. Алексеев Л.
 Пекарский П. П. 44
 Перетц Вл. Н. и Л. Н. 244
 Перетц Г. А. 244
 Перетц Г. Г. 243—250
 Переяславцев А. Ф. 209
 Перовский А. А. (Погорельский)
 5, 90
 Песков П. 198
 Пестель П. И. 177
 Петрашевский М. В. (Буташе-
 вич) 44, 49, 50, 52, 114, 177
 Петровский Н. 237
 Петрушков В. 108, 111.
 Пиксанов Н. К. 267, 270
 Пиотровский И. А. 239, 240
 Пирожков М. В. 114
 Писарев Д. И. 34, 117
 Писемский А. Ф. 64, 85
 Платон 154
 Плетнев П. А. 157
 Плеханов Г. В. 23, 24, 84, 131,
 134, 155, 254, 258
 Плещеев А. Н. 44, 49, 119
 Погодин М. П. 18
 Погорельский А. см. Перов-
 ский А. А.
 Покровский М. Н. 170
 Покусаев Е. И. 5, 118, 120, 135,
 149, 151, 152, 160, 163
 Полевой Н. А. 23, 24, 25, 26—29,
 32, 72, 74
 Полевой П. Н. 169
 Полисадов В. П. 229
 Полонский Я. П. 31.
 Пономарев С. И. 106, 115, 116
 Попельницкий А. 115
 Попов В. П. 198
 Порох И. В. 251
 Поталов А. А. 203, 208
 Прийма Ф. Я. 245
 Прозоров В. В. 118
 Протопопов Д. Д. 246.
- Прудон Пьер Жозеф 50
 Пруцков Н. И. 147
 Пугачев, Емельян 177
 Пушкин А. С. 5—9, 16—19, 21—
 39, 74, 121, 123, 124, 149, 160,
 161, 169, 171, 172, 184, 193
 Пыпин А. Н. 93, 94, 126, 127, 137,
 206, 210
 Пыпина В. А. 269, 277
 Пыпина Е. Н. 224, 275, 276,
 Пыпины 260
 Пьяных М. 200
 Рабле Франсуа 148, 151
 Радищев А. Н. 169—173, 175—185
 Радищев П. А. 172
 Разин, Степан 179
 Ратовский Н. В. 44
 Ратъинский Н. А. 114
 Рахманинов 206
 Ревякин А. И. 124
 Рейнгардт Н. В. 129, 137, 142,
 143
 Рейсер С. А. 109, 174, 239, 243
 Реуэль А. Л. 136
 Рихтер А. А. 247, 249
 Рихтер Жан-Поль 154
 Розенблюм Н. Г. 244, 246
 Романов И. М. 137
 Рубинштейн Н. 170
 Рыжов А. И. 17
 Рылеев К. Ф. 148, 176, 179
 Руссо Жан Жак 47
 Салтыков-Щедрин М. Е. 44, 45,
 80, 81, 114, 118, 123, 129, 135,
 138, 139, 140, 146, 148—151,
 157, 158, 161—164, 168.
 Самосюк Г. Ф. 251
 Светлов М. А. 166
 Свифт Джонатан 148
 Селифонтов Н. Н. 200, 201
 Сен-Симон Анри Клод 42, 46
 Серафимович А. С. 166
 Серно-Соловьевич Н. А. 204, 208,
 209, 237
 Сидоров Н. П. 57
 Синайский И. Ф. 191
 Сироткин А. 234
 Скабичевский А. М. 120, 143, 145
 Скафтымов А. П. 86, 97
 Сквозников В. 124
 Скориков Н. Ф. 137, 138, 139
 Скорино Н. 29
 Сладкевич Н. 133
 Слепцов А. А. 243, 247, 249, 250
 Смирнов П. Н. 195
 Смирнов В. Б. 126
 Смирнова З. В. 83
 Соколов Н. И. 132
 Соколова М. А. 120
 Сорокин А. Ф. 203, 208—217, 220—

- 224, 227—229, 231, 233, 236,
237
- Спасович В. Д. 240
Спасский П. 226
Спиридонов С. 40
Сретенский Н. Н. 154
Станкевич Н. В. 41, 68, 75
Старкмет А. М. 267
Старчевский А. В. 19
Стасов В. В. 243
Стасюлевич М. М. 126
Стеклов Ю. М. 117, 200
Степняк-Кравчинский С. М. 107,
112
Строкин А. 237
Студитский А. Е. 70, 71
Стурдза А. С. 70, 71
Суворов А. А. 203, 219—223, 225,
226, 228, 229, 232
Сумароков А. П. 155, 183
Татаринцев А. Г. 169
Тенгоборгский Л. В. 63
Терсинский И. Г. 211, 227
Тимашев А. Е. 77
Тимофеев Л. И. 158, 162, 163
Тимощенков И. 143, 144
Токарский А. А. 138, 139
Токвиль Алексис 99
Толстой Л. Н. 7, 11, 12, 14, 40
41, 43, 44, 98, 102, 138—143,
148, 159, 160, 161, 162
Тотубалин Н. И. 16, 86.
Тренев К. А. 166
Тур, Евг. 5, 14
Тургенев И. С. 11, 12, 21, 41, 87,
97, 99, 101, 102, 120, 149, 160
Турчанинов Н. 198
Тыркова А. П. 249
Удом А. П. 203, 208—210, 212,
228
Умнов И. 198
Усакина Т. И. 40
Успенский Г. И. 107, 108, 119,
126—145, 149
Фадеев А. А. 166
Фейербах Людвиг Андреас 42,
49, 50, 51, 72, 73, 75, 97, 131
Филиппов Т. И. 71
Философова А. П. 249
Флобер Гюстав 123, 124
Фойгт К. К. 194
Фонвизин Д. И. 155, 183
Фотиева Л. А. 269, 271
Фохт Карл 72
Фурманов Д. И. 166
Фурье Шарль 42, 46, 50
Ханьков А. В. 49
Харламов 219, 222, 223
- Храпченко М. Б. 159
Чебыкин П. В. 229, 231
Чернов С. Н. 189, 193
Чернышев Е. 170, 178
Чернышевская Н. М. 50, 189, 191,
200, 240, 254, 259, 262, 263,
268
Чернышевская О. С. 202, 204, 256,
268, 277
Чернышевский А. Н. 137
Чернышевский Г. И. 211, 256
Чернышевский М. Н. 255—257,
259—262, 267—277
Четыркин И. 219, 221, 222, 223,
226—229
Чехов А. П. 149, 160, 161
Чешихин-Ветринский В. Е. 106,
107, 108, 109, 112
Чичерин Б. Н. 64
Чуковский К. И. 107, 109, 113,
116, 260, 261
Чуприна И. В. 49
Шатилов Н. 198.
Шашков С. С. 169
Небаев И. 237
Шевич В. 237
Шевченко Т. Г. 115, 120
Шевырев С. П. 70, 71.
Шекспир Вильям 123
Шелгунов Н. В. 218, 238
Шестаков 197, 198
Шилов А. А. 109, 207, 244, 269
Шифман А. И. 40
Шлоссер Ф. К. 172, 173
Шматович Э. 237
Шопенгауэр Артур 72
Штирнер М. 72
Штандман Р. Р. 42, 44
Шувалов П. А. 200, 201, 246
Шулепов 219
Щапов А. П. 115, 169, 170, 172—
174, 176—185
Щеглов Д. 225
Щеглов М. 158—159
Щеголев П. Е. 259, 260, 269
Щербатов А. А. 178, 183
Эвентов И. С. 161.
Эйхенбаум Б. М. 14, 40, 41
Эллиид М. 116
Эльсберг Я. Е. 147, 158, 160, 162,
166.
Энгельс Фридрих 48, 113, 131,
132, 134, 142, 254, 258
Юркевич П. Д. 69
Яковлев Б. 260.
Яковлев Б. 261
Ясинский И. И. 119—125.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I. Исследования и статьи

М. Г. Зельдович. Статьи Н. Г. Чернышевского о Пушкине в общественно-литературной борьбе 50-х годов	5
Т. И. Усакина. К истории статей Чернышевского о Толстом	40
А. Ф. Ефремов. Речевые средства построения образа «особенного человека» в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?»	54
Б. И. Лазерсон. Эзоповская речь в публицистике Чернышевского	61
А. А. Демченко. Из истории полемики Н. Г. Чернышевского с А. В. Дружининым	83
Н. А. Вердеревская. Роман Н. Г. Чернышевского «Повести в повести» и журнальная полемика 1861—1862 годов	93
А. М. Гаркави. К спорам о стихотворении Некрасова «Н. Г. Чернышевский»	104
В. В. Прозоров. Эпизод из пропаганды эстетических идей Чернышевского	118
В. Б. Смирнов. Н. Г. Чернышевский и крестьянские очерки Глеба Успенского	126
В. А. Мысляков. К теории сатиры (в свете положений революционно-демократической эстетики)	146
А. Г. Татаринцев. Радищев в сценке шестидесятников	169

II. Материалы и сообщения

Е. Г. Бушканец. Н. Г. Чернышевский—учитель Саратовской гимназии. (По новым архивным материалам)	187
М. Нольман, М. Пьяных. Проект резолюции по делу Чернышевского	200
В. П. Барцевич, В. Н. Курганов. Чернышевский в Петропавловской крепости (новые документы)	203
Б. Ф. Егоров и С. А. Рейсер. Письма И. А. Пиотровского к Н. Г. Чернышевскому	239
С. А. Рейсер. Неизданный отрывок воспоминаний А. А. Слепцова	243
И. В. Порох. Из цензурной истории «Воспоминаний» П. Ф. Николаева о Н. Г. Чернышевском	251
Н. М. Чернышевская. У истоков (К истории создания Дома-музея Н. Г. Чернышевского)	254
Указатель имен	279